Неподдающийся
Иосиф Прут

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Иосиф Прут не собирался писать мемуары, говоря: «Это удел стариков, а я еще способен сочинять пьесы и сценарии».

Но все-таки книга получилась — книга яркая, дерзкая, иногда откровенно эпатажная! Читатель найдет в ней в полном смысле слова «портрет века» — со всеми его достоинствами и недостатками, встретится на ее страницах со множеством интереснейших личностей (а среди них Лев Толстой, Владимир Маяковский, Юрий Олеша, Семен Буденный, Федор Шаляпин, Леонид Утесов, Любовь Орлова, Юрий Завадский, Пабло Пикассо), а кроме того, не раз от души рассмеется — ведь Иосиф Прут недаром считался одним из самых остроумных людей своего времени!

Дизайн серии Е. Вельчинского.
Художник Н. Вельчинская.
Подготовка текста Е. Е. Черняк.

- Иосиф Прут
  - Вместо предисловия
  - Я — ростовчанин: «хорошенькое» начало…
  - Моя родословная
  - Деды
  - Второе рождение
  - Первый приезд в Россию
  - Лидия Русланова
  - Вновь на родине
  - Максим Горький
  - Накануне войны 1914 года
  - Эколь Нувэль
  - Перед возвращением на родину
  - Еду в Россию
  - Двадцатые годы
  - Я прихожу в кино
  - Юрий Завадский
  - Мой театр
  - Алексей Попов
  - Анатолий Васильевич Луначарский
  - Старики
  - Николай Охлопков
  - Исаак Бабель
  - О двух Соловьевых и Борисе Корнилове
  - Эрдманы

- Сергей Герасимов
- Исаак Дунаевский
- Маленькие истории
- Великая Отечественная
- После войны
- Иван Козловский
- Сергей Михалков
- Эммануил Казакевич
- Александр Фадеев
- Константин Симонов,
- Встречи со школьными друзьями
- Константин Гратцос
- Дядя Лёля Леонидов,
- И еще о других
- Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Иосиф Прут
НЕПОДДАЮЩИЙСЯ
О многих других и кое-что о себе

Моей дорогой жене Леночке посвящается

Вместо предисловия

Упомяну о выступлении на своем девяностолетии в Центральном Доме литераторов в Москве:

— Дорогие товарищи! Так как в зале большинство из присутствующих — самые близкие мои друзья, прошу не ждать от меня выспренной, сугубо официальной, торжественной речи. Я буду говорить с вами, как обычно, просто и кратко.

Итак: я должен быть занесен в Книгу рекордов Гиннесса! Почему? Да потому, что три фильма, поставленные по моим сценариям, получили Сталинскую, извините, Государственную премию, а я — автор — не получил…

В энциклопедическом словаре 1980 года я — в отличие от многих из вас — упомянут дважды: первый раз, как левый приток Дуная, второй, как учебное судно Черноморского флота, поддержавшее взбунтовавшийся броненосец «Потемкин». Но вы не волнуйтесь: на «Пруте» восстание было подавлено.

Таким образом, в энциклопедическом словаре 1980 года нет фамилии драматурга Прута. Правда, там, скажем, нет и слова «красота», имеющего прямое отношение к моей внешности, равно как нет и слов «честность», «порядочность», которые хотя, быть может, в небольшом количестве, но все-таки имеются в моей биографии.

Не удостоен я и звания Героя Советского Союза (за слишком острый язык), хотя отметить это обязательное, по их мнению, событие уже готовились однополчане — свидетели моего (не буду скромным) подвига. Правда, получил я, считаю, не менее почетную медаль «За боевые заслуги»…

К слову, предупреждаю: сегодня банкета не ждите! И не потому, что у меня на него нет денег: специально отложил для такого мероприятия персональную пенсию — сто сорок рэ. Просто — передумал!

Спросите: почему? Отвечу: когда мне стукнуло восемьдесят, я устроил для всех вас чудесный ужин в ЦДРИ и в ЦДЛ. Сделано это было потому, что я точно знал: после такой выпивки и закуски вы обязательно припретесь на мое девяностолетие! Как видите: не ошибся! Вы все — здесь!

А нынче прием для вас устраивать нет никакого смысла, потому что, когда я буду отмечать свои сто лет, в этом зале из присутствующих, пожалуй, никого не будет… Так зачем мне кормить вас сегодня?! Обойдетесь![1]

Начну же с приезда в Москву представителя швейцарской прессы корреспондента «Газетт де Лозанн» — Шарля Анри Фавро и моей встречи с ним. И нашего обеда в ресторане Центрального Дома литераторов, куда я его пригласил. И моих рассказов о детстве, отрочестве, юности, проведенных на юге Гельветической республики — в романской ее части. О моей тамошней родне, моих школьных товарищах, в общем — о моей жизни. Я не знал, что Фавро все так подробно записал, возможно, уже тогда у него был портативный магнитофон, которого я не заметил…

В результате после возвращения Фавро в Швейцарию, «Газетт де Лозанн» поместила ряд его очерков, посвященных пребыванию в Москве, — о посещениях театров, музеев, о встречах и других впечатлениях в нашей столице. Большое место было уделено и разговорам со мной. Шарль Анри прислал мне вырезки, а затем пришло письмо от моего дорогого друга Фернана Трамбле. Оно начиналось словами:

Да, я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что весной 1915 года мой соученик и ровесник, четырнадцатилетний хулиган из России по имени Жозеф, а по фамилии Прут разбил мне нос, держа в кулаке какой-то металлический предмет, оказавшийся впоследствии карманными часами. Этот грубый поступок, однако, не нарушил нашу крепкую дружбу, потому что сначала я трахнул Прута по затылку, и уже после этого он стукнул меня. Поэтому я счастлив, узнав из газет, что мой школьный товарищ жив и здоров, и буду еще более счастлив, если смогу его обнять — либо на швейцарской земле, либо на территории СССР.

Не помню точно, в разговоре ли с Фавро в его первый приезд в Москву, либо в интервью кому-то из Швейцарии я рассказал о случае на фронте, когда швейцарская песенка спасла мне жизнь…

Дело было ночью. Надо было узнать, что происходит в стане фашистов. Еще днем я наметил себе путь: на возвышенности стоял стог сена. «Вот, — думаю, — ползком в темноте доберусь до этого стога и за ним увижу, что творится у немцев».

Добавлю: происходило это в последние месяцы войны на немецкой территории.

Наступила темная ночь. *Я* благополучно добрался до стога сена, встал во весь рост… и вдруг слышу: «Верда?!» («Кто идет?!»). В это мгновение в голове пронеслась мысль: «Провоевать всю четырехлетнюю войну, остаться живым и так нелепо в конце этой войны погибнуть!..» Бог, а я верю в его существование, меня

спас. *Я* словно услышал его приказ: «Пой по-немецки!»

И я запел: «Майн фатер ист оф ан Аппензелер, ан Аппензелер, ан Аппензелер!»

Немец, услышав тирольскую песню и подумав, что перед ним — пьяный, проворчал: «Гей ду шлафен, ду, ду мехайен…» («Иди спать, ты — дурак…»)

Я тихо-тихо попятился и вернулся к своим.

Эту историю я и рассказал кому-то из корреспондентов, тот опубликовал ее в швейцарской газете.

Вскоре в Союз писателей пришел толстый пакет, который мне вручили. Адрес был такой: «Россия, Москва, писателю Иосифу Пруту». Представьте себе, дошло!..

Когда я вскрыл пакет, вначале ничего не понял: там находились листы, испещренные подписями. Потом я заметил вверху одного из листов слова: *«Мы счастливы, господин Иосиф Прут, что наша национальная песня спасла вам жизнь, потому что наши отцы тоже из Аппензеля!»* Далее следовали подписи жителей этого района Швейцарии.

В том, что Бог есть, я убеждался неоднократно. Он был со мной! Недаром, становясь суеверными на войне, мои подопечные и разведчики сопредельной части старались находиться поближе ко мне.

Не стану распространяться о многократных случаях, имевших место в разные периоды моей жизни. Приведу лишь еще пример из Великой Отечественной.

Во время затяжных боев местного значения, в момент затишья между артобстрелами я прилег вздремнуть. На стене землянки висели ходики. Возле двери сидел вестовой Рамазан.

Сплю и вижу совершенно явственно, что дверь открывается и входит моя мама, о которой я ничего не знал более тридцати лет!

Мама поманила меня рукой… и вышла. Часы показывали пять вечера.

Я открыл глаза, понимая, что видел сон. Но на часах было ровно пять!..

Сел на топчане, оглядел землянку и, осознавая, что могу показаться сошедшим с ума, спрашиваю Рамазана:

— Кто сейчас входил?

— Начальник! Кто может войти, если я тут сижу и вы спите?!

— Моя мама… Она только что открывала дверь!

— Да Господь с вами! Раз я тут — мышь не пробежит! И мама ваша далеко, как вы рассказывали. Не волнуйтесь! На войне всякое может привидеться… — стал уговаривать меня солдат, полагая, что я немного «тронулся».

Понимая совершенную абсурдность своих действий, я тем не

менее надеваю сапоги, набрасываю на плечи шинель и говорю Рамазану:

— Пойдем со мной!

Тот посмотрел на меня как на больного, спорить не стал, и мы оба вышли из землянки.

Я направился к большому дереву, словно оно меня притягивало. За деревом послышался хруст веток.

Сознавая, что схожу с ума, иду вперед, огибаю дерево, убежденный, что сейчас увижу маму…

И тут раздается резкий свист летящего снаряда. Взрыв…

Когда рассеялся дым, мы с Рамазаном увидели на том месте землянки, где несколько минут назад покоилась моя голова, огромную воронку.

Как после этого не верить в Бога или иную, с другим названием, сверхъестественную силу?! Причем случаю этому был живой свидетель!

Вот почему солдаты меня не только любили, хотя я и не давал им поблажки, был строгим начальником. Они считали меня своим талисманом!

Кроме Вити Шорникова, я всех привел домой живыми…

Много лет тому назад в газете «Вечерняя Москва» выступал мой коллега — писатель Георгий Гулиа.

Он создал в этом печатном органе рубрику, которую назвал «Рассказы моих друзей», где, ссылаясь на истинных авторов, пересказывал услышанные им забавные «Интересные истории».

Не последнее место в этих «рассказах со слов очевидцев» было отведено моей скромной персоне.

Позже некоторые из моих советских коллег стали пользоваться эпизодами *моей* жизни, желая познакомить читателя с «интересной историей». Не обходилось и без курьезов, когда интерпретатор путал события, имена, да подчас умудрялся приписывать авторство самому себе.

Мои же швейцарские коллеги поступили со мной куда гуманнее. Они задали мне вопрос: «Почему не пишешь мемуары?» И, чтобы подтолкнуть меня на этот смелый шаг, подарили мне диктофон.

Первый такой агрегат преподнес Жан-Пьер Лаубшер — от Общества писателей Женевы, членом-корреспондентом которого я состою.

Через пару лет, убедившись в том, что Иосиф Прут остается «неподдающимся», сделал повторную попытку известный журналист Рожэ Д'Иверная. Он к тому времени написал обо мне в своей книге и в ряде газетных статей, многое знал из моей

биографии, а также неоднократно слышал мое утверждение о том, что «писание мемуаров — удел стариков, а я еще способен сочинять пьесы и сценарии!»

Несмотря на это, Рожэ все-таки подарил мне диктофон — портативный и удобный, в надежде пробудить этой механической игрушкой мое монотворчество.

Надо знать, что к технике я не питаю приязни: по сей день пишу простым карандашом (чем, естественно, раздражаю и машинистку, и мою жену, которым приходится разбирать эти каракули!).

Но некоторое время спустя еще кто-то из моих швейцарцев снова настойчиво презентовал мне очередной диктофон (на сей раз уже карманный) с категорической просьбой, когда я начну что-либо рассказывать, только нажать кнопку. Однако и это не сдвинуло меня с места по части писания мемуаров.

Тогда моя жена — Елена Черняк — журналистка и драматург, взялась излагать (действительно не совсем ординарные) события моей жизни в письмах к нашему дорогому другу — Рожэ Д'Ивернуа. Она тайком включала диктофон и, задавая разные вопросы, слушала мои рассказы. Должен честно сказать, Елена добилась многого (я имею в виду не качество, а количество: перепечатка с диктофонных лент составила более 200 страниц).

Когда жена показала мне огромную кипу бумаг и я разобрался в этом материале, то решил, что он может представить интерес для моих швейцарских друзей тоже и что все-таки стоит перевести его на французский язык.

Я это сделал и дал почитать мой опус доброму знакомому — известному женевскому издателю Леону Нажелю. От него получил следующий ответ:

Очень, Иосиф, любопытно, но… полный меланж! Вряд ли кто-либо сможет, прочитав это, разобраться в вашей биографии! Если вы приведете весь материал в нормальный вид, разобьете его на главы — одно название которых станет вызывать интерес; на последовательность событий — по годам, то получится рукопись большой и увлекательной книги, которую я с удовольствием выпущу в жизнь!

Такие теплые слова крупнейшего специалиста издательского дела и побудили меня наконец сдаться и уже не рассказывать жене, а самому взяться за перо… Однако излагать все хронологически мне показалось скучным…

Итак, я занялся мемуарами. При этом — отдаю дань мудрости моей жены, ее благородному терпению в нашей

совместной жизни, ибо я — не конфета!

Я — ростовчанин: «хорошенькое» начало…

Знаменательное событие моего рождения произошло 5 ноября 1900 года по старому стилю, то есть за пятьдесят шесть дней до окончания XIX века.

Мои родители жили в Ростове-на-Дону, но повезли меня рождаться в соседний Таганрог: там жила и работала знаменитая акушерка, некая Фрума. Она принимала детей у всех женщин моей семьи и круга наших близких знакомых. Только она одна твердо знала, когда и кому надо рожать. Всякие споры по этому поводу, попытки доказать несвоевременность столь значительного события были абсолютно бесполезны: женщины рожали тогда, когда назначала Фрума. Как сие ни парадоксально, она ни разу не ошиблась!

Так, на 5 ноября в Таганрог была вызвана и моя дорогая мама. А ей в ту пору исполнилось всего восемнадцать лет.

На торжество появления нового члена семьи, первого внука или внучки, выехали оба деда, одна бабушка: дед Прут был вдовцом, тетя Аня — его двоюродная сестра, старая дева, богатая особа, жившая в Одессе. Она тогда переживала очередную жизненную неудачу: оперный бас, некий Сангурский, обещавший на ней жениться, слово не сдержал! Но тетя Аня — хорошая пианистка, — верная своему чувству, усиленно занималась изучением оперных клавиров, и в тот знаменательный момент как раз «сидела» на «Пиковой даме».

Она громогласно заявила, что, если моя мать родит мальчика — его должны назвать Германом! Коли появится девочка — Лизой!

Подкрепила тетя Аня свою просьбу обещанием: в случае выполнения ее условий внести на счет новорожденного ребенка тысячу рублей (деньги по тем временам огромные: корова стоила десять рублей!).

Начались роды. Я шел ногами. Так как они были предельно тонкими, Фрума безапелляционно заявила:

— Девочка!

После чего тетя Аня закричала:

— Лиза!

Но когда я, выходя, дошел до середины, Фрума, присмотревшись, поняла, что ошиблась. И уже более спокойно, но совершенно уверенно произнесла:

— Смотрите! Оказывается, мальчик.

— Герман! — воскликнула тетя Аня.

— Осип! — рявкнул дед Прут. — Так звали моего отца, так

будут звать и моего внука.

— А Осипом зовут, между прочим, и моего дворника! — закричала тетя Аня. — Вот ему что, а не тысяча!

И при этом она мне, не совсем вышедшему из моей мамы, сунула большую полновесную дулю.

Таким образом, несмотря на то, что моя голова еще не покинула материнского чрева, я уже успел потерять одну тысячу рублей. Поэтому всю последующую жизнь стоически несу, терплю и мужественно переношу материальные потери. Спасибо тете Ане за своевременный урок!

Моя родословная

Совсем недавно, в перерыве работы над сценарием о Лефорте, который пишу вместе с моей Леночкой, я — составил свое генеалогическое древо.

У каждого человека имеются мать и отец, две бабушки и два дедушки, четыре прабабушки и четыре прадедушки, восемь прапрабабушек и восемь прапрадедушек… и так далее — до незапамятных времен. Исключением, вероятно, были первые люди, их, кажется, звали Адамом и Евой.

Из всей «вышестоящей» родни я отлично помню двух своих прабабушек: Анастасию Соломоновну Прут (урожденную Безчинскую) — бабку моего отца и Анну Лазаревну Итину (урожденную Собсович) — бабушку моей матери. Конечно же деда — Соломона Прута, бабушку Веру, деда Леона Аптекмана и мою дорогую маму — Франю (так звали ее в семье).

Бабушку Лизу — мать моего отца и его самого не мог знать, потому что бабушка Лиза умерла за семь лет до моего рождения, а папа скончался, когда мне было шесть месяцев и семь дней.

Далее прапрадедов я не дошел по той простой причине, что об остальных «пра-пра» ничего не знаю и рассказов о них не помню.

Знаю только, что все они — горцы. Около двух веков назад — на севере тогдашних Терских аванпостов — в предгорье Кавказа жило племя, которое в современных этнографических справочниках почему-то называется «горскими евреями». Хотя там были мусульмане, христиане и почитатели прочих религий. Все зависело от верования проникавших в селения этой горной глуши миссионеров…

Мои «пра-пра» были родом из аула Даргкох. Он и сейчас существует. На карте искать его надо на Северном Кавказе, где-то между теперешними городами Владикавказом, Бесланом и Нальчиком.

Ни одной из восьми моих прапрабабушек я не знал. Известно мне только имя Азы, которая родила мою прабабушку — Аню, будучи женой моего прапрадеда Собсо.

Из восьми прапрадедов — слышал о троих. Причем парадокс заключается в том, что эти трое родились ровно за сто лет до моего появления на свет.

Одного из моих старцев звали Лазаром, другого — Сулейманом, третьего — Асланом.

Что я знаю о первом? Его дочь — Ануш — мою прабабушку — мать моей бабушки по материнской линии, впоследствии

называли Анной Лазаревной.

Ее я застал в живых — обожал! И она меня очень любила.

Умерла эта бабушка в 1921 году в возрасте восьмидесяти трех лет. От нее я и узнал нижеследующее.

Ее отец — мой прапрадед — Лазар был из воинственного горского рода Собсо. Когда Даргкох стал русским владением, всем жителям давали новые имена и фамилии. Таким образом, Лазар Собсо — стал Лазаром Собсовичем.

Его дочь Ануш после переезда семьи во Владикавказ была отдана в пансион, обучение в котором и закончила в 1856 году.

Мать Ануш — Аза — моя прапрабабушка умерла, когда Ане было десять лет.

Во Владикавказе жили люди множества национальностей.

В красавицу Аню влюбился потомок выходцев из Далмации — молодой человек Аро Ити́н. Его предки, пришедшие в Россию в 1735 году, звались Ити́ни.

Вскоре состоялась свадьба. От этого брака родилось пять детей: сначала две дочери — Прасковья и Вера, а затем — три сына: Вениамин, Лазар и Симеон. Коснусь только Веры, ибо она имеет ко мне прямое отношение.

Родилась моя бабушка Вера в 1862 году. С отличием окончила женскую гимназию. На радостях поехала со своим отцом поклониться могилам предков на родину — в аул Даргкох.

Посетили близких, знакомых и в их числе древнего мудрого Лаза́ра Туто — старейшину еще недавних воинов.

Лазар и его жена Мара попросили передать их сыну Лону, жившему в городе, посылку. При этом Лазар сказал:

— Там у вас пристав — из немцев! Так он всем дает прозвища на свой лад. Когда мой Лон спустился с гор во Владикавказ, он снял комнату у аптекаря. Поэтому пристав выдал ему паспорт, где записано, что наш сын Лон, проживающий у аптекаря, будет теперь Аптекман Леон Лазаревич! Работает Лон в хлебной конторе, успел хорошо послужить России в Кавказскую войну. Имеет даже Георгиевский крест. И хотя весь мой род прожил с оружием в руках, таким сыном я особенно горжусь!

Прадед Аро выполнил поручение. После чего Лева Аптекман стал ходить в его дом. Кончилось все это вот чем:

Вера, несмотря на то, что Лева был старше ее на двадцать два года, стала его женой. Произошло это в 1880 году.

От этого брака родились две дочери и два сына: Флора, Анна, Лазарь и Иосиф.

Флора — старшая — моя мать. Появилась она на свет 5 декабря 1882 года. Училась в Екатерининской гимназии города Ростова-на-Дону, куда из Владикавказа переехали Аптекманы.

Здесь, на праздновании Нового, 1900 года. Флора (в семье и гимназии ее звали Франей) познакомилась с Леонидом Прутом — моим отцом.

И в ту далекую пору существовала любовь с первого взгляда! Ибо через месяц состоялась свадьба, а 18 ноября 1900 года, то есть ровно через девять месяцев, как это полагается во всякой приличной семье, родился я.

Теперь самое время рассказать о моем втором прапрадеде — Сулеймане. Появился на свет он ровно за век до меня, в 1800-м, и был однолеткой с прапрадедом Лазаром.

Рано остался сиротой. Считался единственным грамотным в ауле: читал и писал по-русски, говорил на трех кавказских языках. Поэтому сразу был взят на службу и представлен лично в распоряжение князя Барятинского Александра Ивановича (его сиятельство родился в 1815 году в Петербурге. Умер князь в 1879 году в Женеве).

Барятинский был командующим русскими войсками на Кавказе.

В течение двадцати (!) лет Сулейман служил при нем переводчиком, парламентером и советчиком во время переговоров со старейшинами разноплеменных горных аулов.

После пленения Шамиля и окончания Кавказской войны Сулейман — так как в армии он был без чина — получил по приказу лично Барятинского фамилию Безчинский. Имя его было сменено на Соломон. Что же касается отчества, то князь дал ему свое.

Прапрадед Сулейман теперь стал Соломоном Александровичем Безчинским. Обосновался он во Владикавказе. К тому времени прапрадед был женат, имел двух дочерей и сына. Их назвали Марией, Анастасией и Давидом.

В доме напротив Безчинских поселился Аслан — бывший житель чеченского аула Бестуджи. Человек этот был худобы необыкновенной, похожий на срезанную ветку. Из-за его тощей фигуры и необыкновенно высокого роста околоточный надзиратель того квартала — русский — дал своему подопечному русскую фамилию: Прут.

Сына Аслана звали Юсуфом, а посему записан он был при получении паспорта Иосифом.

Иосиф Асланович Прут — такой же тонкий, почти саженной высоты — и стал в дальнейшем моим прадедом, ибо женился на Анастасии Соломоновне Безчинской.

У него и его красавицы жены (пусть те, кто знает меня, не удивляются, но в нашем роду женщины действительно были очень красивыми… Я же внешне, увы, в отца!) родился сын — мой

будущий дед — Соломон. А затем и дочь — Роза.

В десять лет мальчик Соломон поступил в торговую школу, окончив которую стал помощником своего отца по хлебному делу.

В 1871 году Соломон Прут был призван в армию. Служил на персидской границе, где его в одной переделке сильно «поцарапал» неприятельский штык. Однако Соломон строй не покинул, за что был награжден Георгиевским крестом и по ранению отпущен домой. Вообще о молодости своего деда, как это ни странно, мне мало что известно, ибо он не любил рассказывать о себе и почти никогда ничего не сообщал о своем детстве и юности.

Что я знаю достоверно, так это то, что по возвращении на родину из армии с ним произошло событие невероятное: он влюбился в свою двоюродную сестру Рахиль — дочь его тетки Марии — и предложил Рахили стать его женой.

По закону гор, да еще тех горцев, которые считали своим пророком не Магомета, а Моисея — такое было недопустимо! Это было противозаконно, против веры, считалось грехом кровосмешения. Брак не состоялся.

Рахиль не осталась старой девой. Она вскоре вышла замуж за моего двоюродного деда, жившего в квартале, где пристав был из немцев-прибалтов, — Мишу Розенталя. Читателю станет понятно происхождение фамилии: отец Миши разводил розы…

Не прошло и года, как у Рахили и Миши родился первенец. На праздничном ужине главной персоной был пристав. Он предложил назвать нового человечка Леонардом. Произошло это событие в 1874 году.

А мой дед — Соломон Прут, — будучи по делам своего отца в Харькове, познакомился там с Лизочкой Берман.

Лизочка была доброй миловидной девушкой, отличной рукодельницей. Началась переписка. Она закончилась тем, что свадьбу этих молодых людей сыграли в Харькове, куда, естественно, приехали родители жениха — мои «пра».

Это было в 1875 году. Вскоре в этой молодой семье появился ребенок: родился мой отец.

Не знаю почему: то ли старое чувство к Рахили еще тревожило моего деда, то ли это был чисто дружеский порыв, — но в честь сына Розенталей — Леонарда, моего отца нарекли Леонидом.

Бабушка Лиза умерла от туберкулеза в 1886 году. Ее болезнь по наследству передалась любимому сыну. Поэтому, когда моему отцу исполнилось 13 лет, врачи настояли на том, чтобы он был отправлен в Швейцарию — единственную страну, где в ту пору

успешно лечили туберкулез.

Дед Соломон отвез моего отца в альпийский санаторий. Папа прожил за границей, девять лет, там он учился и лечился от страшного недуга.

Считаю нужным сделать некоторое отступление и рассказать о более дальней родне.

Мой дед Прут, оставшись вдовцом, через год после смерти бабушки Лизы собрался поехать «посмотреть мир». Конечным пунктом своего первого маршрута он избрал Париж.

Узнав о намерении Соломона Прута, его двоюродная сестра — Рахиль Розенталь — обратилась к нему с просьбой взять с собой ее сына Леонардика.

Мальчик не проявлял интереса к школьным наукам. Его страстью была техника: все свое время он отдавал сборке и разборке часов самых различных систем и марок.

Деду Пруту ставилась задача пристроить Леонарда для обучения какому-нибудь толковому делу в другой стране. Желательно — к часовщику.

Просьба Рахили моим дедом была удовлетворена: Леонард тронулся с ним в путь.

В Париже дед устроил мальчика к опытному мастеру, у которого Леонард и прошел курс обучения: он теперь смог бы работать самостоятельно, зарабатывая себе на жизнь.

Вспоминаю дедушкины рассказы о том, что его поразило в Париже. «Понимаешь, там все говорят по-французски! Мальчишка чистит мне башмаки на улице и… говорит по-французски!»

Через семнадцать лет Леонард Розенталь сделался довольно известен во Франции, но не в часовом деле, а на ювелирном поприще. Его новой специальностью стал жемчуг: выращивание, окраска и изменение формы жемчужин. Женитьба на дочери банкира еще больше укрепила положение Леонарда в деловых кругах Парижа. Бестселлером той поры явилась его книга: «Как я стал богатым».

В 1906 году родился его первый сын — Жан. Затем второй — Пьер и, наконец, дочь — Люсиль.

Я познакомился с Розенталями в 1908 году. К этому времени вся их семья была в сборе: Леонард выписал из России свою родню.

За столом сидели гости: мой дед, я, а также дедушка Миша и бабушка Рахиль, тетя Полина (сестра Леонарда), а на горшке — в уголочке — маленький двухлетний Жан.

Потом, живя в Швейцарии, я часто посещал эту чудесную семью, и продолжалось сие до 1919 года — до моего отъезда из

Европы домой, в Россию.

Личная связь между нами была прервана до 1966 года!

Правда, однажды мне все-таки удалось дать Розенталям знать о себе. В 1929 году Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров и Эдуард Тиссэ получили разрешение выехать за границу: снимать Мексику, историю ее революции, ее великих сынов.

Путь советских кинематографистов должен был лежать через Париж, и я дал моим трем дружкам рекомендательное письмо к дяде Леонарду.

Он принял их весьма радушно, обеспечил всем необходимым для жизни в столице Франции. А чтобы ребята получили средства для продолжения путешествия за океан, поручил им снять небольшой фильм о своей новой молодой жене-пианистке (Леонард разошелся с матерью своих троих детей и женился на дочери эмигранта из России).

Мои «мальчики» быстро сняли двухчастевку «Белый рояль». Фильм имел успех в артистических кругах Франции, а троица кинематографистов получила дополнительные средства для предстоящего путешествия.

…Самюэль Ласки — хозяин студии «Парамаунт», узнав, что Эйзенштейн в Париже, сейчас же примчался из США. Он был до революции компаньоном Сережиной мамы и относился к мальчику как к сыну.

— Сценариев не хватает! — пожаловался он. — Напишите заявку, я вам подброшу денег!

— Знаешь, дядя, что надо ставить? «Полудеву» Поля и Виктора Маргеритов! Книгу раскупили в трех миллионах экземпляров.

Ласки немедленно покупает у авторов книги права, заказывает сценарий Эйзенштейну и вызывает помощника, чтобы тот выплатил Сергею аванс.

— Хозяин! Что вы делаете?! Такой фильм не может быть поставлен в Америке. Нынешняя американская мораль этого не позволяет!

— Почему?

— Да вы знаете, кто главная героиня? Лесбиянка!

— Ну и что? — говорит Ласки. — Так сделайте из нее итальянку. (Старик явно не разбирался в вопросах половых меньшинств…)

Но вернемся к Розенталям. К моему приезду в Париж в 1966 году из детей Леонарда от первого брака в живых были лишь Жан

и Люсиль. Пьер погиб в 1944-м на алжирской земле, героически защищая — во главе своей роты — небольшое укрепление против двух батальонов десантных войск генерала Роммеля.

Остался сын Пьера, тогда только родившийся, Дидье. Его воспитала Люсиль. Впоследствии он стал главным врачом самой крупной французской авиакомпании «Эр Франс», самолеты которой постоянно циркулировали между нашими странами.

У Жана[2] чудесная жена Лилиан и двое сыновей: Жак и Юбер. Сын Юбера — Кирилл — продолжает дело прадеда, деда, отца и дяди. На далеком атолле в Тихом океане этот молодой Человек разводит искусственный жемчуг, добиваясь разных его окрасок.

Жан Розенталь — кавалер ордена Почетного легиона — был правой рукой генерала де Голля. Во время Второй мировой войны, освобождая от фашистов Париж, парашютисты Жана Розенталя «накрыли» город и тем самым спасли жизни многих парижан и не допустили разрушения фашистами французской столицы.

Прежде чем продолжить свое повествование, позволю себе небольшую ремарку.

Когда человек прожил долгую жизнь и вступает в *десятый* десяток этой жизни, иногда соглашаешься с женой и друзьями, что, пожалуй, следует поделиться рядом фактов, которые, быть может, ушли от глаз моих современников, для того чтобы это осталось в памяти ныне живущих, тех, кто станет читать возможные мемуары.

Возникает вопрос: надо ли писать обо всем, что было прожито и пережито, следуя страницам календаря моей жизни? Ведь это бы составило, во всяком случае, если не Большую, то Малую советскую энциклопедию наверняка!

Как ни покажется странным, но почти не было дня, о котором ни следовало бы рассказать!

Связано это с уроками моего деда Прута: он учил меня тому, что ежедневно надо делать добро!

Конечно, в бытность мою ребенком, добрые дела заключались в том, чтобы сказать правду, хотя можно было бы и солгать или не взять пятак из кармана дедушки, твердо зная, что он и не заметит пропажи.

Впоследствии, когда я стал совсем пожилым человеком, понял: если не удается сделать людям добро в течение дня, можно, выйдя вечером на прогулку, либо перевести старушку через проезжую часть улицы, либо попытаться уговорить пьяного мужа не бить свою жену (такое еще встречалось в нашем

«престижном» районе Москвы).

Вероятно, оттого каждый прожитый мною день сопряжен с каким-то пусть маленьким, но событием. Поэтому мне не хочется писать «календарные» мемуары, то, что называется «день за днем».

Попытаюсь отметить наиболее значительные этапы своей биографии, а она связана со всем происходившим в XX веке! Не сочтите за хвастовство, но это факт. И я счастлив тем, что жизнь прошла так и судьба, которую я называю Богом, не дала мне повода и возможности совершить подлость ни по отношению к близким, ни к людям малознакомым. За это я благодарю Всевышнего!

Может быть, обстоятельства складывались так, что подлости не требовалось. Не хочу вдаваться в анализ. Констатирую факт — совесть моя спокойна.

То, чему меня учил дед, я пронес через всю свою жизнь. А учил он меня верности! Верности делу, которому я служил всю жизнь, верности своей Родине. И единственному праву человека, рожденного на нашей Земле: если суждено (а я был участником почти всех войн моей страны) — умереть за Родину с достоинством.

Вот, собственно говоря, преамбула к тому, что я хотел бы вам сказать.

Целый ряд фактов, о которых стану писать, известны мне лично, о ряде других — слышал из первых уст!

К примеру, совершенно естественно, что сам я не мог бы точно воспроизвести картину своего рождения, поскольку еще находился в утробе матери. Но с ее слов и по рассказам ближайших родственников, присутствовавших в столь знаменательный, можно сказать исторический, момент, эту картину удалось восстановить, что я уже и сделал на предыдущих страницах.

Деды

Возвращаюсь к людям более близким мне по родству.

Мой дед по материнской линии — Леон Лазаревич Аптекман — служил на Кавказе. События развивались в 1861 году. Полк с Кавказа был переведен в Туркестан. И в ряде экспедиций против хивинцев и бухарцев участвовал дед Аптекман. Он был человеком необычайной храбрости и решительности. За годы военной службы он четырежды (!) был награжден орденом Святого Георгия. Солдатским орденом. Стало быть, в конце военной службы, когда он демобилизовался, Леон Лазаревич Аптекман был полным Георгиевским кавалером.

Ну что такое был полный Георгиевский кавалер в старое время, надо знать! Это было очень почетно!

Когда, уже живя в городе Ростове-на-Дону, где он открыл хлебно-комиссионную контору, дед Аптекман входил в офицерское собрание 136-го Таганрогского полка, располагавшегося в Ростове, все присутствовавшие офицеры вставали, чтобы его приветствовать.

Леон Лазаревич был человеком мудрым, силы физической необычайной и удивительной честности. О своем деле он говорил: «Наше дело — копеечное!»

Хлебно-комиссионная контора получала прибыли копейку с пуда собранного зерна и копейку в месяц за прокат мешка. И при всем этом — дело было огромное, потому что пудов были тысячи! А мешок — новый — стоил 50 копеек. Таким образом, прокат его оборачивался. Он возвращал свою стоимость за четыре года. А затем служил уже чистой прибылью. Если мешок портился, его чинили и вновь пускали в дело. Хлеб привозился в ростовский порт в мешках. Иногда уходил в мешках, а иногда тут же ссыпался в специальный бункер, а то и прямо на корабли, которые увозили зерно в далекую Францию.

Дед Прут, как и дед Аптекман, тоже имел хлебно-комиссионную контору. Работали они оба на французскую фирму «Луи Дрейфус», которая кормила Францию, Бельгию, Швейцарию, северную Италию и северную Испанию.

Много лет спустя — в 1919-м, — возвращаясь на Родину, в марсельском порту я увидел мешок из-под хлеба со своей фамилией…

Конторы у дедов были отдельными. Об их работе, вернее, о дедах, расскажу чуть позже. А пока хочу сделать небольшое отступление и поведать о своем двоюродном прадеде — личности, с моей точки зрения, весьма примечательной!

Значит, у моего деда Прута был дядя: брат моего прадеда Иосифа, в честь которого я назван.

Жил брат прадеда Иосифа — Яков — в Азове. Он был посессором: арендовал у городских властей участок земли и разводил на нем индюков. Индюков этих прадед Яков поставлял на стол наказного атамана Всевеликого войска Донского в город Новочеркасск.

Индюки были — огромные, но и цена на них — по тогдашним временам — очень высокая: оптом тридцать пять копеек штука.

Хоть прапрадед Яков и считался евреем, в синагогу не ходил. Его синагога не принимала, потому что он ругался матом. Причем в матерщину свою еще вкрапливал имя Бога.

К тому же жил Яков с русской женщиной, которая была у него в услужении, да еще и курил по субботам.

Кроме всего, он был отцом знаменитой тети Ани, жившей в Одессе. Но так как отец и дочь являлись людьми особого характера, они встречались довольно редко. В 1912 году я приехал в Россию летом. Дед Яков в это время гостил у нас.

Он приехал за день до меня. Поэтому о многом поговорить со своим племянником (моим дедушкой) не успел.

Был поздний вечер. Я уже лежал в постели, а в соседней комнате — гостиной — сидели дядя с племянником. Дед Прут спросил у Якова:

— Что там за история вышла у вас, дядя, в Азове?

На вопрос племянника дед Яков ответил не сразу. Он, очевидно, покосился на дверь моей комнаты и кивнул головой. На что дед Прут ответил (имея в виду меня):

— Он уже давно спит. Рассказывайте!

И старший в нашем роду начал:

— В Азове я не хожу в синагогу. И вообще нигде не хожу! Коли надо поговорить с Богом, так я с ним не при людях разговариваю. А местные меня за это дражнють. То и слышу: «Какой вы наш?! Молиться не молитесь, — живете с русской женщиной, ругаетесь в бога-мать, курите по субботам и плюваете на всех и на все!..»

Вдруг… я заболел. Ходила за мной моя Маруська, но что-то прихватило сердце, и встать не могу! Думая, что мне уже идеть конец, Маруська их позвала. Пришли эти умники с книгами и начали мене отпевать, читая громко молитвы. Будешь, Соломон, смеяться, но мне стало легче, а тут еще одна история… В общем, выздоровел я… Вышел и сижу на лавочке у себя в саду. Эти старые пердуны являются, и один из них мне говорит:

«— Ну, Яков, где ж твои выражения насчет Бога? Вся твоя грубость? И твоя Маруська с папиросами?

— А что такое? — спрашиваю я.

— Значит, Бог есть, если он тебя спас?!

— А почему вы думаете, что это его работа? — задаю я им вопрос.

— Ну, Яков, вы нахал! Мы сидели около вас и читали молитвы, в тот момент, когда я провозгласил: “Господи, опусти твой взгляд на грешника и спаси его!”, вы, старый хулиган, открыли глаза, повернули голову — посмотрели на священные книги, что мы держали в руках. И на вашем лице появилась улыбка. Улыбка счастья, что Бог вам помог!

— Та глупости все это! — сказал я им. — Когда я посмотрел на ваши книги, то подумал о другом. С месяц назад я ехал полем на возу с сеном для моих кормильцев. На обочине стояла девка и говорит: “Дядя, подвези!” Я ей: “Садись”. Она влезла на воз, и я полез на нее. Но у меня ничего не получилось!

— Почему? — заинтересовался дед Прут.

— Да потому что я пихаю, а она уходит в сено! “Так вот, — говорю этим старикам. — Кабы тогда ей под зад ваши книги!.. Потому — когда я их увидел — я и улыбнулся: вспомнил!”»

Однако всему приходит конец. Пришел конец и ухарству деда Якова. Когда он вновь приехал в Ростов и пожаловался своему племяннику — моему деду, что его не пускают в синагогу, в Ростове происходили большие религиозные события: из Вильнюса прибыл Великий раввин Ашкенази.

Мой дед взял с собой Якова в синагогу, чтобы тот смог помолиться.

Великий раввин читал проповедь. Синагога сияла огнями. Она была переполнена верующими. Женщины, как полагается, сидели наверху отдельно. Мужчины — внизу. Казенный раввин Гольденберг переводил с древнееврейского на идиш то, что говорил Великий раввин.

Когда тот закончил молитву, мой дед с ужасом увидел, что перед Великим раввином вырос дядя Яков.

Мой двоюродный прадед закричал:

— Я молиться хочу! Дарм вил их! А они — в Азове — не пускают меня, еб их мать! — При этом он бил себя кулаком, и Георгиевский крест трепетал на его груди. — Не пускают, суки, из-за этого креста!

Великий раввин ничего не понял из русской речи моего прадеда, но обратился к Гольденбергу:

— Я не знаю, что говорит этот человек, но мне кажется, что он говорит правильно. Почему он показал на свой крест?

Гольденберг объяснил раввину суть дела. Тогда Великий

раввин сказал:

— Этот крест — не крест черной сотни, которая мучает наш народ. Такую награду человек получил потому, что героически сражался за свою великую Родину — Россию — нашу мать, мать всех народов, населяющих ее огромные пространства. И его крест является символом величия и храбрости, а не порабощения! Пусть этот человек ходит в синагогу, как все. Передайте в Азов, чтобы ему там разрешили молиться.

Побывал в синагоге раз и я (десять золотых, обещанные дедами, стоили того!). Помню, как оба старика — Прут и Аптекман — между молитвами переговаривались: «Наш внучек с головой! Я заглянул в его задачник: ничего не понял! Из одного бассейна переливали воду в другой, а поезд ехал с такой-то скоростью… Вопрос: сколько было воды в бассейне? Наш (тут последовал жест в мою сторону) шмырк-шмырк карандашиком… И ответ, точно как в задачнике!» Оба с любовью и гордостью погладили меня по голове.

Иногда деды брали меня на ссыпку: место, где из мешков хлеб пересыпали в бункера или в трюмы кораблей, которые его увозили за море.

Для разминки старики боролись на поясах. По кубатуре они были одинаковыми. Дед Аптекман — пониже ростом, но шире в плечах. А дед Прут — повыше, но в плечах уже. Силы они тоже были одинаковой и никак не могли опрокинуть один другого.

Помню это зрелище: они, как быки, зарывались ногами в прибрежный песок, но победить один другого не могли, из-за чего всегда огорчались. Выручал старший рабочий деда Прута — Александр Максимович Поддубный — брат знаменитого впоследствии русского борца. Он спрашивал:

— Чего расстроен, хозяин?

Дед отвечал:

— Не можем опрокинуть друг друга…

— Так давайте я вас покидаю обоих!

К удовольствию дедов, Александр Максимович схватывал их за пояса и через секунду, взметнув обоих в воздух, клал на лопатки. После этого каждый из дедов вручал победителю по полтиннику.

Буйный характер отличал не только дядю Якова. Оба деда, как по отцовской, так и материнской линии, были тоже нрава крутого, ибо род наш происходит из горного аула Даргкох. И во мне временами проявляются некие странности, присущие, может

быть, только моим далеким предкам.

Мои деды — купцы первой гильдии — были членами Правления Коммерческого клуба, где по вечерам шла карточная игра. Зимой клуб располагался в здании, летом часто играли в чудесном саду, в конце города, по Садовой улице.

Игры — неазартные: в основном преферанс или винт. Дед Прут играл в преферанс. Его партнерами обычно были: казенный раввин Хаитович; часто — градоначальник Ростова генерал-майор Зварыкин, он же командир стоявшего в Ростове 136-го Таганрогского полка; Станислав Иванович Свентицкий — интендант этого полка. Ну, если о генерал-майоре в ту пору нечего было сказать особенного, то Свентицкий значился всем известным вором. Так, на солдат отпускалось 5 копеек в день, из коих Свентицкий воровал минимум ¼ копейки. А четверть копейки, при том что в полку служило около 1200 человек, давала сумму 300 копеек в день, то есть 3 рубля, или 90 рублей в месяц. Это являлось той минимальной суммой, которую он зарабатывал только на питании солдат, об обмундировании и прочем говорить нечего. Все это Свентицкий «зарабатывал» помимо своего основного жалованья. Короче, он был богатым человеком.

Значит, играли летом при открытых окнах в помещении клуба и при лампионах. Это были почти шарообразные осветительные приборы, в которые вставлялись свечи.

Пульку записывали только ее движением, а висты оплачивались сразу. Когда играли по копейке, то, расплачиваясь, передавали друг другу мелочь.

Совершенно естественно, если падал какой-нибудь гривенник или пятак, либо другая мелкая монета, никто не наклонялся, чтобы ее поднять: утром приходил персонал подметать помещение, и это всегда оставалось в его пользу.

Я присутствовал дважды при игре в преферанс. Помню, как дедушка кинул Свентицкому полтинник и полтинник… упал.

Свентицкий — тучный человек с апоплексическим затылком, — кряхтя, полез искать этот полтинник. Так как дело было вечером, под столом, естественно, темно.

Дед Прут, раздраженный задержкой в игре, достал пятидесятирублевый кредитный билет, зажег его от свечки и посветил Свентицкому, чтобы тот смог найти злосчастный полтинник.

Вы себе представляете, какой эффект произвел такой поступок на ростовскую коммерческую общественность?! На следующий день город гудел о том, как Прут «умыл»

Свентицкого, не пожалев 50 рублей. Все были в восторге… Один казенный раввин Хаитович оставался спокойным, что даже вывело из терпения меня — мальчишку в ту пору 12-ти лет. Я сказал ему:

— Илья Матвеевич, почему вы не удивляетесь тому, что сделал мой дедушка?!

Илья Матвеевич ответил:

— Я слишком хорошо знаю твоего деда! Когда он зажигал бумажку, то наверняка зажал в руке номер и на следующий день обожженную купюру предъявил в Государственный банк, чтобы получить обратно свои пятьдесят рублей.

Второй случай, запечатлевшийся в моей памяти, такой: я подошел к деду, когда он играл в преферанс. Посмотрел его карты и увидел, что у него минимум семь взяток. А назначил дед всего шесть. Я наклонился и спросил дедушку на ухо:

— У тебя же минимум семь взяток. Почему такое грустное выражение лица?!

Дед — также на ухо — ответил, кивнув на партнеров:

— Мне их жалко!

Тогда я понял, что партнеры остаются минимум без одной взятки и будут платить штраф. Таким был мой дед в игре. Вероятно, я унаследовал его черты.

В Ростове всякий раз, когда я проходил мимо кафе «Чашка чая», то через окно видел там своего деда Прута. И всегда он сидел с дамой. Чаще всего с мадам Адлер, владелицей конторы по продаже и прокату роялей. Ее внуки впоследствии стали оркестрантами в джазе Леонида Утесова.

Но хотя дамы были разными, на столе неизменно находилось одно и то же: по стакану чая и по пирожному на тарелочке. Ничего большего дед себе не позволял. Это меня крайне удивляло: в общем-то дед Прут был человек широкий.

Однажды я спросил:

— Дедушка, почему, когда ты сидишь с дамой в кафе, на столе только чай и пирожное?

Дед мне ответил:

— Мальчик мой! Если женщина нравится, для меня двадцать копеек — не деньги!

Каждый из моих дедов был домовладельцем. Дом деда Аптекмана находился на Старопочтовой улице. Был он двухэтажный с полуподвальным помещением квартирного типа: окна находились на уровне тротуара. Здесь жила греческая семья Кристиди, младший сын которых был моим другом. Звали его

Костей.

Первый этаж снимал страховой агент с женой и младенцем. На втором располагался сам дедушка Аптекман с бабушкой Верой. Там же жили моя мама и оба дедушкиных сына: мои дяди Лазарь и Иосиф (Ланя и Ося).

Естественно, имелось два балкона: один, выходивший на улицу, — парадный, где по воскресеньям домовладелец с супругой пили чай; другой, на котором летом все обедали, выходил во двор.

Двор был небольшой: там находилась конюшня для двух лошадей и каретник. Под этим сооружением был погреб. Ворота двора выходили на соседнюю со Старопочтовой улицу.

Рядом стоял дом Кушнарева. Разделялись участки сравнительно невысоким забором. Впрочем, по тогдашним правилам жизни и это не было нужно: никто с чужого двора в твой двор не заходил.

В садике бабушка разводила цветы.

Однажды при сильном ветре часть забора повалилась, и… в доме раздался крик. Взволнованная бабушка кричала:

— Лева! Кушнаревская лошадь зашла во двор и топчет мои цветы!!!

Дедушка что-то сказал сыновьям. Я успел выйти на балкон и увидел удивительную картину: дядя Ланя и дядя Ося взяли эту небольшую лошаденку и перебросили через забор на ту сторону…

Они были сильными — мои дядья. Дед их держал в ежовых рукавицах и никаких карманных денег не давал, говоря, что зарабатывать пора самим! И у них деньжата водились… Когда я стал уже взрослым, то узнал тайну происхождения этих денег. До этого времени я наивно думал, что им подбрасывала бабушка. Но, оказывается, оба дяди — под масками — боролись в цирке, получая за то деньги: рубль!

Борец «Черная маска» и борец «Красная маска» состязались с профессиональными спортсменами. Они хорошо знали правила французской борьбы. Уходили с арены не раскрытыми. И не потому, что профессиональные борцы в конце чемпионата не могли их положить, а потому, что за раскрытие своего лица они просили два рубля, а хозяин цирка Вильямс Трущи эти два рубля не платил!..

Дед Прут владел трехэтажным домом, который был значительно больше, чем дом деда Аптекмана. Находился он на углу Малого проспекта и Никольской улицы и имел три подъезда. В каждом располагалось по одной квартире. Таким образом, это был доходный дом из девяти квартир. На первом этаже одного

подъезда — хлебная комиссионная контора деда. Во втором подъезде первый этаж занимала прабабушка Анастасия Соломоновна — мама моего деда Прута, а третья квартира на первом этаже сдавалась.

Сами мы — Пруты — жили на втором этаже, занимая две объединенные квартиры.

Третий этаж и одна квартира на втором — тоже сдавались.

Та, что на втором, — доктору Собсовичу.

На третьем жили греки Маврагордати и еще кто-то, кого я не помню.

В этом доме деда Прута имели свои комнаты я и моя тетя — его дочь от второго брака — Тамара. О ней я расскажу в дальнейшем. Тамара была на четыре года старше меня, и в один из моих приездов из Швейцарии (а время пришлось на каникулы) мы решили поставить пьесу Гоголя «Ревизор».

Зрительным залом должна была стать столовая, а сценой — примыкающая к ней гостиная. Двери раздвигались в обе стороны в ширину и представляли собой зеркало будущей сцены.

Спектакль не состоялся, хотя его постановкой занимался будущий советский театральный режиссер Юрий Решимов, в ту пору — гимназист. Дело стало за будкой для суфлера. Как известно, суфлерская будка должна находиться ниже сцены. Единственным способом получить помещение ниже сцены я посчитал возможность прорубить пол. Никто другой не соглашался это осуществить. Я же в то время был вообще уже отчаянный малый лет восьми или девяти. Взял топор и приступил к делу. За этим занятием меня поймал дед, дал мне затрещину, на чем спектакль и закончился!

Бабушка Лиза умерла, когда папе исполнилось 18 лет. Через два года дед женился на киевлянке Татьяне Михайловне Лурье. Она родила ему дочь Тамару в 1896 году. Брак этот не был счастливым. Супруги прожили три года, семья не наладилась, и Татьяна Михайловна потребовала развода. Развод состоялся. Татьяна Михайловна захотела взять дочь с собой. Но дед ее не отдал. Суд постановил оставить дочь при отце. Так Тамара и росла в нашей семье, больше никогда не увидев своей матери. В дальнейшем я расскажу, как Татьяна Михайловна пыталась заполучить свою дочь…

Когда умерла бабушка Лиза, ее приданое, которое она получила от отца, нетронутым лежало в банке. Завещала она его моему отцу. Таким образом, после смерти матери, мой восемнадцатилетний отец уже стал богатым человеком. И надо сказать, что дед, который объявил свою фирму под новым названием: «Прут и сын», не тронул капитала моего отца.

Когда же умер мой отец, завещав все свое состояние мне, а маме — один рубль (потому что у мамы было свое нетронутое приданое), фирма стала называться: «Прут и внук». Рубль был оставлен символически: чтобы мама не имела претензий, что муж ей ничего не оставил. Таковы были в ту пору «коммерческие правила».

Но кроме крупного наследства в денежном выражении бабушка Лиза оставила своему сыну ту болезнь, от которой умерла сама, — у нее были слабые легкие и мой отец родился уже туберкулезным.

В возрасте тринадцати лет его отправили в Швейцарию, где прожил до смерти бабушки, возвращаясь в Россию только на каникулы. Когда бабушка умерла, он полгода прожил в России и восемнадцати с половиной лег опять уехал в Швейцарию — долечивать свою болезнь.

Обучаясь в Швейцарии, он, естественно, пользовался тамошними учебниками. Когда же заканчивался очередной класс и старые учебники уже не надобились, школьники и студенты ходили к букинисту и продавали их по сходной цене.

Интересно, что в 1916 году, покупая книги у букиниста, я приобрел географический атлас, на котором в углу стояла подпись: «Леонид Прут». Отец учился в классической гимназии города Лозанны.

После отъезда Татьяны Михайловны Лурье — бывшей жены моего деда — на родину в Киев дом долго не пустовал. В квартире деда появилась женщина — молодая и красивая — дочь попа Андрея из Казанской церкви, Анна. Церковь та находилась в Казанском переулке Ростова.

Анну Андреевну пригласили в дом экономкой. Но так как я смолоду разбирался в этих делах, то понял, что экономка была близкой деду женщиной и, надо сказать, женщиной верной.

Конечно, поскольку они были разных религий, в доме соблюдались праздники как православные, так и иудейские. Особое удовольствие я получал на Пасху, когда огромный стол делился на две части: справа лежала на блюде фаршированная рыба и маца, слева — огромный окорок, куличи, пасха и крашеные яйца.

Когда казенный раввин Хаитович Илья Матвеевич приходил на Пасху в дом, он принимал пищу с закрытыми глазами.

Анна Андреевна ездила с нами и за границу. Однажды в Женеве Тамара и я попросили ее сопровождать нас на прогулку в горы — к Гран-Салев. Гора эта находится на границе Швейцарии с Францией: излюбленное место путешественников для пикников. Оттуда — с самой вершины — видно море в тумане. Вершина

возвышалась над туманом. Там сияло солнце! Здесь расположилось небольшое кафе, где можно было перекусить, выпить чашечку кофе или чая. Туда вела удобная дорога.

В тот раз Тамара с Анной Андреевной забрали меня из интерната, где я находился.

Наняв кучера, мы направились к Гран-Салев. Произошло это году в 1912-м. Тамара была шестнадцатилетней барышней, а я — уже здоровенным двенадцатилетним парнем.

В коляске имелась откидная скамеечка, на которой сидел я. На основных местах расположились Тамара и Анна Андреевна.

Очевидно, об этой поездке узнала Татьяна Михайловна и решила выкрасть дочь…

Мы поднялись в экипаже на вершину. Выпили чай с тортом и сели обратно, чтобы спуститься в Женеву. И тут из-за кустов выскочили два итальянца. Один схватил под уздцы лошадь, другой бросился к Тамаре. Но он не учел, что рядом с Тамарой сидела Анна Андреевна. В руке она держала зонтик. Зонтик был кружевной — от солнца, но имел металлический каркас.

Анна Андреевна стукнула итальянца так, что тот отлетел в сторону; затем ткнула в спину кучера и он дернул лошадей. Кони рванули, отбросили второго итальянца и понеслись!

Таким образом Тамара была спасена. Анна Андреевна отвела ее в полицию и, хоть не владела французским языком, сумела объяснить, кто и почему пытался похитить девочку.

Только тогда мы с Тамарой узнали, что итальянцы были наняты Татьяной Михайловной, вознамерившейся вернуть себе дочь.

Какое бы христианское имя они ни носили при рождении, всех кухарок, что я помню в семье деда, звали Мотями, и девушки были обязаны откликаться на это имя. А всех горничных дед величал Дуняшами.

Дед находился со мной в переписке (естественно, когда я жил в Швейцарии, а продолжалось это почти девятнадцать лет!). Каждый месяц я получал от него открытку. Он не любил писать много, но подписывался всегда восемью буквами: ДХТБТДСП, что означало: «Да хранит тебя Бог. Твой дед Соломон Прут».

Запомнилась мне одна открытка, которую дед прислал в 1918 году в Париж. Мне было семнадцать с половиной лет, и я поступил на первый курс университета.

Шла Первая мировая война. Но дед сумел выслать для наблюдения за мной няню, чтобы получить точную информацию о моей жизни.

Прибыла няня с Русским Экспедиционным корпусом,

совершив почти кругосветное путешествие!

Привратница открыла дверь квартиры: я спал. Можете вообразить мое удивление, когда передо мной предстала няня, которую я звал «Бархатные щечки» — от старости кожа на ее лице была морщинистой и мягкой.

Прожила няня у меня месяц. Потом ее пароходом отправили обратно в Россию. Моя жизнь ей не понравилась: слишком много бывало гостей и мало порядка. Раздражало ее, что я запретил стирать тряпкой пыль с картин.

Няня подружилась с дьячком соседней с нашим домом православной церкви, и я однажды услышал ее жалобу:

— Надоел мне этот Сезанн, что нельзя трогать, мать его так! И этот Айвазовский… Поеду домой!

Так об открытке…

Дорогой Оня! Няня отписала нам про твою жизнь. Нам это не нравится! Если так будет продолжаться, посажу тебя на тридцать рублей в месяц: сдохнешь с голоду!

ДХТБТДСП.

Чтобы вы поняли в чем дело: раньше я получал от него сто рублей. Тогда это были очень большие деньги. Все наши студенты имели по 25.

* * *

Но сейчас я вернусь к исходной точке своего повествования.

Через полгода после моего рождения у папы обнаружилась скоротечная чахотка, а у меня — в изрядном количестве — палочки Коха. Как я уже писал, отец страдал туберкулезом с детства, поэтому десять лет лечился в Швейцарии. Вернувшись домой, вскоре встретил мою мать. Это решило его судьбу. В течение короткого времени отец ухаживал за ней, а затем они поженились. Но, очевидно, незалеченная болезнь разыгралась со страшной силой.

Нас — отца, мать и шестимесячного меня — погрузили в поезд, идущий в Швейцарию. По дороге папа умер. Это случилось, когда мы проезжали Германию.

Так как немцы не разрешали возить трупы в пассажирских вагонах, нас высадили из поезда на первой же остановке: маленькой станции Герберсдорф.

Мама телеграфировала домой о случившемся. Оба деда прислали деньги и указание: похоронить на месте, поставить

памятную плиту и уплатить за сто лет забот о могиле.

Мама выполнила эти распоряжения: похоронила мужа, поставила плиточку с его именем, датами рождения и смерти, уплатила кладбищенской общине двести рублей (пятьсот марок: уход за могилой и цветами вокруг плиты стоили пять марок в год).

После этого мы тронулись дальше — в Швейцарию, где теоретически (по предположению ростовских врачей) я должен был сразу же умереть.

Но восемнадцать лет пребывания, лечения и учебы в этой благословенной стране сделали свое дело: я остался в живых.

Второе рождение

Мы с мамой оказались в Швейцарии. Как я уже говорил, ростовские врачи не питали иллюзий на мой счет: «Не выживет!» — было их единодушное мнение по поводу шестимесячного, начиненного палочками Коха ребенка.

Швейцарские же доктора в горном санатории Лезан сказали маме:

— Либо он умрет, либо мы вернем его вам здоровым.

Первые полтора года мама провела со мной в санатории. К ее материнскому молоку добавляли для моего питания бычью кровь.

Позже, уже отлученный от маминой груди, я заедал довольно неприятное пойло (коровье молоко с бычьей кровью) черной икрой, регулярно присылаемой моими дедами для выхаживания их единственного внука.

Здоровье мое стало поправляться. К питанию добавлялся массаж, закаливание, и вскоре мама получила возможность оставить меня на попечении врачей детского санатория.

К тому времени уже произошла свадьба тети Нюси с Леоном Хельгом, и у меня объявилась в Швейцарии новая родня.

Очень заботлив был отец Леона — мэр Делемона — как я его называл, «дедушка Викто́р».

Не скажу точно, Леон или Викто́р подарили мне бинокль, чтобы я как-то развлекался в своем затворничестве.

Я с удовольствием рассматривал горы, их заснеженные вершины. Лыжников, и в ту пору посещавших эту благодатную страну. Короче: все, окружавшее меня.

Помню одну забавную историю.

Ежедневно с парным молоком ко мне в санаторий приходила женщина по имени Мари из близлежащей деревни. Мы с ней подружились. Часто беседовали. Говорила в основном она: о своих соседях и хозяйственных делах. Я был терпеливым благодарным слушателем.

Как-то, рассматривая окружающий пейзаж в бинокль, я что-то в нем перекрутил и… изображение оказалось перевернутым вверх тормашками: пик Шосси стоял вниз вершиной. Меня это очень позабавило, и как раз в этот момент пришла молочница. Я показал ей бинокль с перевернутым изображением. Она подивилась…

Следующим утром я, как обычно, стоял на балконе и смотрел в бинокль. Увидел идущую по двору молочницу. Мари тоже заметила меня, глядящего в бинокль. Поставила на землю кувшин и схватилась за юбки, вероятно боясь, что в «перевернутом» виде

она предстанет мне в не совсем положенном виде. Чтобы ее не смущать, смеясь про себя, я опустил бинокль, дав ей возможность продолжить путь.

Вскоре врачи стали меня наблюдать амбулаторно, и я смог, покинув санаторий, поселиться у Хельгов в Монтрё (там у дяди Леона была дерматологическая практика).

Я начал учиться в местной гимназии и часто навещал дедушку Викто́ра и бабушку Матильду в Делемоне.

Там же — в нынешней столице кантона Юра — я возглавил «отряд» местных мальчишек, став их предводителем.

Однажды мой «солдат» Гастон Перье привел девочку — свою сестру: ее не с кем было оставлять дома. Мадлон оказалась не по возрасту боевой, и я тут же придумал ей дело:

— Ты станешь нашей медицинской сестрой. Если кого-то ранят, должна будешь перевязать!

Мадлон охотно согласилась с предложенной ей ролью и впоследствии всегда участвовала в наших воинственных играх.

В 1908 году с тетей Нюсей в Женеве мы пошли в кафе «Ландоль» (зимой 1994 года в этом кафе я обедал со своей женой Леной).

Когда мы с тетей вошли в зал, то увидели сидящего возле окна мужчину, который что-то сосредоточенно писал. Тетя подошла к нему, поздоровалась и представила меня:

— Знакомьтесь, Владимир Ильич, это мой племянник Оня.

Мужчина протянул мне руку, и я пожал ее. То был Ленин.

Впоследствии я узнал, что кафе «Ландоль» было излюбленным местом его работы…

Первый приезд в Россию

В декабре 1908 года я впервые был привезен на рождественские каникулы домой.

Дед Прут взял меня с собой из Ростова в Москву, потом мы вернулись в Ростов, откуда я вновь отбыл в Швейцарию.

Об этом — моем первом — приезде на родину, пожалуй, стоит кое-что рассказать.

Дед Прут дружил с Федором Ивановичем Шаляпиным. И в Москве я попал в его гостеприимный дом на детский бал. Давался он в честь старшей дочери великого певца — Ирочки, моей однолетки.

Мы сразу подружились, ибо и она, и я лихо говорили по-французски.

Балом руководил сам хозяин. К нему подошла крошечная пятилетняя девочка и, волнуясь, стала что-то говорить. Шаляпин погладил ее по головке, осмотрелся, остановил свой взгляд на мне, подозвал жестом и сказал:

— Ты, Оня, уже знаешь расположение наших комнат. Отведи, пожалуйста, ребенка пописать.

Я выполнил поручение: довел девочку до туалета, помог ей, и мы вместе вернулись в зал. Девочкой этой была Наталья Петровна Кончаловская — дочка известного уже тогда художника и внучка великого живописца Сурикова, впоследствии — великолепный литератор, супруга Сергея Михалкова и мать Андрона и Никиты — прославленных мастеров российского кино.

Когда — через много лет — на юбилейном вечере Натальи Петровны (а стукнуло ей в ту пору восемьдесят!) я рассказал со сцены Центрального Дома работников искусств, где проходило торжество, о нашем знакомстве, сидевший в президиуме Сергей Владимирович Михалков громко заметил:

— Н-н-у, после эт-того я тоже ее часто водил!

На что я немедленно ответил:

— Возможно. Но я все-таки был первым!

Вернусь, однако, к балу у Шаляпиных.

Не прошло и получаса, как Федор Иванович объявил «белый вальс»: это значило, что «дамы» должны были приглашать «кавалеров».

Я приготовился, уверенный, что Ирочка, с которой я все время танцевал, выберет меня. Но в этот момент открылась дверь… и все замерли, потому что в зал впорхнуло неземное существо. Именно не земное, а небесное, ибо оно не вошло, а возникло. Да, это, безусловно, была маленькая фея из сказки:

роскошные белые локоны, увенчанные огромным розовым бантом, воздушное кружевное розовое платье… Скажу честно, даже я ничего подобного не видывал!

Царственным оком девочка окинула сразу же притихших детей, подошла к хозяину и, приподнявшись на цыпочки, дотянулась до его лица, чтобы с ним поцеловаться.

Федор Иванович, прижав ее к сердцу, опустил затем это необычное существо на пол и громко повторил:

— Белый вальс!

Царевна-фея осмотрелась и, очевидно, приняв решение, прямо подошла ко мне и произнесла «со значением»:

— Я приглашаю вас.

И мы пошли танцевать. И было ей шесть лет. И была это Любовь Петровна Орлова — будущая великая кинозвезда.

С ней мы дружили всю жизнь. Но с той первой минуты нашего знакомства у меня никогда не повернулся язык перейти с этой удивительной женщиной на «ты».

Лидия Русланова

И все-таки упомянутыми двумя знаменательными встречами для меня 1908 год не закончился. На мои весенние каникулы мы с дедом поехали в Саратов.

Прибыв в этот город на великой русской реке, остановились у друга деда — купца Евстигнеева.

После завтрака хозяин предложил пойти к службе в Кафедральный собор: там пел хор, в котором выделялся один удивительный детский голосок. Весь город ходил слушать этого ребенка. Так в Саратове и говорили: «Идем сегодня на сироту!»

Пошли и мы, благо храм находился почти напротив.

Народу было много. Поэтому остановились мы втроем недалеко от входа.

То, что вы прочтете ниже, было написано к круглой дате со дня рождения моей дорогой, но уже покойной подруги — Лидии Руслановой.

Детей в этой семье родилось трое: две девочки и мальчик. Лида была старшенькой. Мать умерла, когда младшему из ребят исполнился год, а Лиде в ту пору стукнуло уже четыре. И тогда все стали жить у отцовых родителей — бабки и деда.

Отец был единственным кормильцем многочисленной семьи: дед харкал кровью и мог помогать ведущей хозяйство бабке только по дому. Лида — с малолетства — ходила за меньшими братом и сестрой. Концы с концами сводили еле-еле. Но тут началась русско-японская война, отца забрали в солдаты, погрузили в теплушку, и воинский поезд направился на Дальний Восток. Вскоре в дом пришла нужда. Кормить детей стало нечем. И пошла нищенкой по дворам маленькая Лида: просить милостыню и петь для прокорма своей родни.

И представьте себе, у этой девочки-певицы появилась своя «аудитория». Ее стали зазывать во дворы. А одна купчиха, подавая милостыню, даже обучила «жалостливости»:

— Ты, девица, раньше чем петь, сначала о себе расскажи! Так, мол, и так, остались мы на свете одни, горемычные, а батя наш — солдатик — веру, царя и Отечество защищает! Подайте копеечку ради Христа! А уж когда тебе бросят, только тогда рот и открывай. Нечего для них задаром петь!

Хождения с сумой продолжались почти год. На журчащий голосок пятилетней девочки особое внимание обратила какая-то чиновница, вдова. И сделала она доброе дело: определила всех троих детей по разным приютам. Так началась у моей подруги самостоятельная жизнь.

В приюте был детский хор. Регенту ее голосок понравился, и состоялись ее первые выступления: дети пели на похоронах, свадьбах, в церкви, на днях рождения.

Я уже говорил, что в 1908 году приехал с дедом Прутом в город на великой русской реке в Страстную неделю и мы вместе с купцом Евстигнеевым, с которым дедушка во время Турецкой кампании служил в одном взводе, пошли в собор послушать хор и особо — сироту… Оба они — иудей и православный — были полными Георгиевскими кавалерами, поэтому религиозных споров между бывшими воинами не возникало.

В тот день внимание мое в соборе приковал стоящий у дверей солдат-инвалид. Опирался он то ли на костыль, то ли на палку. Мне было непонятно: ведь солдат должен был находиться на войне или в казарме. Я не спускал с него глаз. Он стоял ровно, обыкновенно, равнодушно. Вдруг человек весь преобразился: вытянул шею, подался вперед, до предела напрягая слух. Тогда уже стал прислушиваться и я. На угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первородной чистоты. Мне показалось, что никто в этой массе народа — и я в том числе — не дышал. А голос звучал все сильнее, и было в нем нечто мистическое, нечто такое непонятное, что я… испугался, соприкоснувшись с таким волшебством и задрожал, услышав шепот монашки, стоящей рядом: «Ангел! Ангел небесный!»

Я, словно зачарованный, робея, смотрел в потолок, надеясь увидеть, как — через крышу — ангел улетит в свои небесные покои…

Пришел в себя, лишь когда Евстигнеев, подмигнув моему деду, сказал:

— Ну, юноша, не желаешь ли познакомиться с артисткой? Пойдем, покажу ее тебе!

Служба кончилась. Люди стали расходиться. Проковылял к выходу и безногий солдат, на которого я вначале смотрел: меня больше интересовал этот человек, потерявший на войне ногу и опиравшийся на костыль, его Георгиевский крест, висевший на выгоревшей гимнастерке, нежели окружающие и пение хора. От солдата я отвлекся, только заслышав тоненький голосок «ангела»…

Мы направились в глубину опустевшего храма, где — за алтарем — собирался хор. У стены стояла девочка моих лет. Темноволосая, аккуратно причесанная, в скромном ситцевом платьице.

— Подай руку сиротинушке! — сказал мне Евстигнеев, не отличавшийся особой деликатностью. — Да еще приложи

полтинник: ей на конфеты, а то их в приюте этим продуктом не балуют!

Дед незаметно сунул мне в карман серебряную монету, и я сказал девочке:

— Здравствуйте.

Она ответила:

— С добрым днем, сударь!

Дед толкнул меня в спину. Я подал девочке полтинник, но сказать больше ничего не мог. Она сама выручила меня:

— Спасибочки, господин хороший! Это нам на ириски!

— Ну, буде! — заключил Евстигнеев. И мы ушли.

Так закончилась моя первая встреча с этой девочкой, ставшей впоследствии мне очень близким другом.

С уже знаменитой певицей — Лидией Андреевной Руслановой — я встретился через пятнадцать лет.

Шел 1923 год. Отгремели залпы боев с интервентами и белогвардейцами, я отслужил свое в рядах Первой Конной, затем участвовал в формировании пограничных частей, в разгроме басмаческих банд и — после демобилизации, — будучи журналистом, оказался в родном Ростове-на-Дону.

На летней эстраде бывшего Коммерческого клуба впервые выступала со своими песнями Лидия Русланова. Профессиональная певица с большим опытом, ученица чудесного певца и педагога Михаила Ефимовича Медведева — профессора Саратовской консерватории, бесплатно обучавшего четырнадцатилетнюю сироту. За спиной юной Руслановой были уже бесчисленные выступления перед рабочими — гвардейцами революции, а затем перед бойцам и регулярной Красной Армии в течение всего периода Гражданской войны. Она пела им русские народные песни, те, что пела всю свою жизнь.

Первый ростовский концерт прошел очень успешно, и началось ее полувековое триумфальное шествие по эстрадным площадкам и театральным сценам нашей страны.

Представьте себе, что мы — тогда — узнали друг друга. И после концерта, предавшись воспоминаниям, попытались точно восстановить события далекого, как нам казалось, прошлого. И, уже прощаясь, я упомянул о солдате-инвалиде, стоявшем в соборе и с особым вниманием слушавшем хор. Улыбка мгновенно слетела с лица молодой женщины. Русланова с грустью сказала:

— Этот солдат был… мой отец! Он всегда приходил меня слушать! Я знала это и пела только для него одного. Но «объявиться» отец не мог. Сделай он это, ему бы сразу вернули из приюта всех троих детей… А прокормить нас он не имел возможности…

— Жив ли твой отец? — спросил я. — Где брат и сестра?

— Не знаю. Вот встану на ноги, начну всех искать. Может, найду.

С 1925 года Русланова жила в Москве. И она — с первых шагов — завоевала любовь столичных зрителей. Ее участие в концертной программе обеспечивало аншлаговый сбор. Высокая московская эстрадно-артистическая элита, столь взыскательная и требовательная в отборе, сразу же приняла в свой круг это жизнерадостное молодое существо, обладавшее таким чарующим и одновременно таким могучим меццо-сопрано, до конца отданным одной теме: русской народной песне, услышанной на дальней окраине и пришедшей к нам из глубины веков.

Лидию Русланову и ее мужа Михаила Гаркави — одного из лучших конферансье того времени — всегда окружало непосредственное веселье, юмор и шутка, острое слово, тонкий анекдот, и — обязательно — музыкальным фоном — русская песня. Меня в Руслановой неизменно поражала сила ее духа. Она проявлялась у моей подруги буквально во всем. Казалось, не было жизненного компонента, в котором бы не чувствовалось это особенное, такое могучее, такое «руслановское». Лидия Андреевна была непоколебима в отборе репертуара, в оценке лично своего исполнения, в прямоте суждения о творчестве музыкантов и товарищей по совместной работе в концертных бригадах.

Я преклонялся перед ее принципиальностью в выборе друзей. Ни в чем не терпя пошлости и фальши, она никому не прощала их. Но принципиальность ее заключалась еще и в том, что особо строга Русланова была главным образом к себе.

В ее доме бывали только близкие, только те, кто был ей дорог. Проницательность ее состояла в умении дать подлинную оценку дружбе, учитывая не внешнюю импозантность, не форму носа, а температуру сердца.

Сила ее духа ощущалась в любом, даже бытовом, проявлении, во всем, за что бы она ни бралась. Зачастую не имея о чем-то ни малейшего представления, никогда этому не учась, она преодолевала все препятствия лишь силой своих воли и духа и неизменно достигала цели. Лидия Андреевна, например, добилась больших успехов в искусстве составления букетов (в Японии это — целая сложная наука!) и не меньших успехов в искусстве приготовления пищи (лучшие — по мнению гурманов — пироги с капустой, когда-либо изготовлявшиеся в частных домах столицы).

Но к отдельным сторонам жизненного обихода Русланова

была совершенно равнодушна. У нее никогда не было ни малейшего интереса к нарядам, чисто женского культа одежды, внешнего вида. В этом отношении моя подруга была более чем скромна, хотя на официальных приемах выглядела царственно. Будучи женщиной среднего роста, она казалась высокой, такая была в ней стать и особая, присущая только ей одухотворенность. Поэтому она и приносила с собой на сцену величавость русского женского обаяния, нечто такое чисто народное, сельское, что описать стихами мог бы только великий Некрасов.

Драгоценный камень в кольце требует достойной оправы, песня — хорошего аккомпанемента. Сопровождали выступления Руслановой саратовская гармошка Владимира Максакова, баян и аккордеон Льва Комлева, а партию рояля вели Ставицкий и Борис Мандрус.

Не знаю, то ли это были отголоски тяжелого детства, то ли выработалось скачкообразно прожитой жизнью: из холода в жар, из нищеты в благополучие, из успеха в неудачу, но Русланова обладала удивительным свойством: предчувствовать приближение радости или беды — большой либо даже самой малой. Это чувство сохранилось у нее до последнего часа: она все знала наперед, поэтому успела своевременно с нами попрощаться.

Ее не баловала судьба. Счастье — творческое и личное — давалось ей не легко. Русланова не имела положительных рецензий в прессе даже в ту пору, когда заслуженно считалась яркой звездой советской эстрады.

Происходило сие то ли потому, что русская народная песня еще не классифицировалась как часть большого творческого наследия, то ли потому, что сама эстрада признавалась лишь второстепенным искусством — не знаю, но я констатирую факты.

Зато бывало и обратное. Надо заметить, что совершенно исключительным — каким-то особо восторженным — успехом пользовалась Русланова вне Москвы. Учитывая эту необыкновенную любовь зрителей, местные филармонии часто в летнюю пору устраивали концерты столь популярной певицы на стадионах.

Так однажды было в столице большой приволжской национальной автономной республики. Все места заняты: просто яблоку негде упасть.

Я находился в этом городе как автор пьесы, премьера которой прошла накануне в местном русском драматическом театре. Проводив Лидию Андреевну до артистических комнат стадиона, я вдруг услышал от нее:

— Плохое у меня настроение, брат! Что-то обязательно

случится!

Я, как мог, постарался отвлечь ее от дурных мыслей, напомнил, что до выхода на сцену осталось менее получаса, и собирался уже было выйти, чтобы успеть добраться до ложи на трибуне и дать возможность Лидии Андреевне переодеться. Но в уборную без стука ввалился какой-то развязный молодой человек, оказавшийся репортером областной газеты. Сначала он спросил у меня: не муж ли я Руслановой? Услышав отрицательный ответ, перестал интересоваться моей персоной и сразу забросал Лидию Андреевну вопросами, имеющими весьма отдаленное отношение к ее амплуа: сколько она получает за концерт на стадионе — больше или меньше, чем в зале филармонии? За кем замужем? И правда ли, что…

Русланова вообще не переносила наглости. Поэтому она резко, но подчеркнуто вежливо остановила вопрошающего, затем — для своего успокоения, — сдерживаясь, выпила, как всегда перед концертом, почти полный стакан негазированной минеральной воды и попросила неожиданного визитера оставить ее одну, чтобы она смогла подготовиться к выступлению.

Мы с репортером вышли вместе и молча разошлись по своим местам.

Русланова появилась в своем концертном наряде и направилась к стоящему на середине поля возвышению, где ее уже ждали аккомпаниаторы. Не заметив лежащих на земле проводов, она споткнулась и чуть было не упала. Но удержалась и сдавленным от волнения голосом крикнула рано начавшим вступление баянистам:

— Повторите, ребятки, еще раз!

Затем Лидия Андреевна поднялась на эстраду и запела — как всегда, прекрасно.

Каков же был краткий газетный отчет об этом концерте?

Писалось, что выступление артистки вряд ли могло удовлетворить присутствующих, так как «Русланова перед выходом хватила стакан водки, затем — пьяная — шатаясь, чуть не грохнулась на землю и в первой же песне дала петуха».

Рецензию Лидия Андреевна получила уже в Москве и сказала, показывая ее мне:

— А ты не верил, что эта поездка плохо закончится.

У Руслановой было уникальное — присущее только ей одной — страстное отношение ко всему, с чем она соприкасалась. Назову его условно «самоотдачей». В первую очередь это относится к ее творчеству, к сбору русского народного фольклора и народного юмора. Всю себя она отдавала собирательству того, что дала музыкальной культуре русская деревня.

Будучи настоящей — во всем величии этого слова — русской женщиной, хозяйкой своей родной страны, она дружила со всеми многонациональными представителями советского искусства и литературы. Но в квартире Руслановой все было только русское: посуда, мебель, картины и лучшие образцы народного творчества.

— Европу — уважаю, а Россию — люблю до боли.

Она была русской в своем крестьянском уборе, когда выходила на советскую сцену, но представляла Россию Советскую, выступая перед иностранцами.

До войны жена одного из послов государства-сателлита Гитлера осмелилась, прощаясь после приема, «преподнести» Руслановой пакет с шестью парами шелковых чулок. Лидия Андреевна улыбнулась, поблагодарила, но закончила так:

— Советской актрисе эдаких «подарков», мадам, не делают!

И тут же отдала чулки, добавив к ним сто рублей, горничной посольства, которая помогала Руслановой надеть норковую шубу.

Из нас — своих самых близких друзей — больше всех ценила Русланова Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Любила она его за смелость суждений, за возвышенное преклонение перед русской книгой, за его всепоглощающее увлечение собирательством редчайших экземпляров отечественной библиографии, за идеальное знание всего печатного, за писательский талант и умение поделиться своими знаниями о жизни и творчестве русских художников.

Вспоминаю такой разговор. Пришел я к ней с небольшим свертком.

— Хочу тебе, Лида, подарить маленький заварочный чайник! — сказал я.

— Железный?

— Нет. Фарфоровый.

— Русский?

— Немецкий. Старинный. Красивый.

— Все равно не надо, Анисим (так звала меня только она). Зачем иноземщиной портить мою кухню?

— М-мда!.. Плохо бы тебе, мать, жилось при царе Петре! Он за такую косность боярам бороды брил!

— Ну, я — не боярин и борода у меня не растет. А русский народ, между прочим, потому царей и прогнал, что они свое — родное — презирали. Чайник ты подари Николаю (Смирнову-Сокольскому. — *И. Прут.)*. Он чай требует каждые двадцать минут: на него посуды не напасешься!

В области вокала Русланова никогда не имела партнеров. Но с одним человеком она обожала петь дуэтом. Конечно, не в открытых концертах, а — дома, для себя и только для своих. Это

был наш общий друг — Веня Рискинд, личность далеко не заурядная, фронтовик, поэт и баянист, остроумный писатель, удивительный рассказчик, любимец И. Бабеля и Ю. Олеши.

Вместе с Рискиндом, под его музыкальным руководством и с его сопровождением, исполняла Русланова сочиненную им, такую любимую ею песню: «Письмо молодого солдата».

Здравствуй, мама, родная старушка,
Я сегодня иду в первый бой.
Набросаю фашистам игрушки
И с победой вернуся домой!
А игрушек имею немало…

Или еще одну — «Огонь на меня!» Начиналась она так:

Живым остался на том берегу
Из роты — один лишь комроты…

У Лидии Андреевны, не получившей никакого специального образования, было феноменальное художественное чутье. Развивала она столь редкое качество пытливым знакомством с обширной русской искусствоведческой литературой. Многому училась, терпеливо перенося его буйный характер, у своего друга. Н. П. Смирнова-Сокольского. А уж он, поверьте мне, в этом деле разбирался досконально. И представьте себе, выучилась!

Когда ленинградские друзья Руслановой — гостеприимные супруги Нина Васильевна Пельцер и Николай Яковлевич Янет принимали нас у себя, хозяин дома, после обеда, снял со стены свое любимое полотно — это был «Пастушок» кисти великого Репина — и показал его Лидии Андреевне. Она сказала:

— Вещь, что и говорить — преотличная! Только вот ноги у мальчонки не Илья Ефимович писал.

— А кто же? — спросил, вздрогнув, владелец картины.

— Брат его родной. Ведь произведение это из Псковской коллекции…

Эксперты вскоре подтвердили заключение певицы.

Или вот еще — в том же Ленинграде. Жили мы все обычно в гостинице «Европейская». Там летом на эстраде Сада отдыха одновременно с Руслановой выступал и другой гастролер — Владимир Яковлевич Хенкин.

Дело было утром. Ко мне раздался звонок. Сняв трубку, я услышал голос Руслановой:

— Собирайся, Анисим!

— Куда?

— На четвертый этаж. Володя купил что-то интересное и просит нас зайти, чтобы мы посмотрели и сказали свое мнение.

Я поднялся, встретил Русланову на площадке и вместе с ней вошел в номер Хенкина.

Владимир Яковлевич, после обычных приветственных поцелуев, показал нам стоящий на кровати — в отличной раме — писанный маслом портрет полного мужчины.

Я невольно залюбовался мастерством живописца — работой явно полуторастолетней давности.

— Тропинин! — торжественно объявил Хенкин. — Портрет Ивана Андреевича Крылова! Уникум? А?!

Русланова взяла картину в руки, внимательно ее разглядела и со вздохом произнесла:

— Ну, что не Тропинин, так это не обязательно: ошибиться может каждый. Но изображен-то и не Крылов!

— А кто же? — сразу расстроился Хенкин.

— Это, Володя, собственной персоной Михаил Семенович Щепкин! Был у тебя в прошлом такой коллега!

И тут не ошиблась Русланова! Вот так!..

Последние двадцать пять лет своей жизни Лидия Андреевна была женой Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Владимира Викторовича Крюкова — великолепного военачальника, командира кавалерийского корпуса, добрейшей души человека.

Встретились будущие супруги на фронте в самое суровое время, разделяя в дальнейшем поровну дни счастья и горя.

В те короткие моменты, когда им удавалось быть вместе, Русланова, несмотря на сложность боевой обстановки, постоянное передвижение конных и механизированных частей корпуса, всегда сама готовила пищу. Больше того: к удивлению некоторых женщин, в домике, где останавливался В. В. Крюков, она сама мыла полы, занавешивала окна кусками цветной ткани, стирала мужу белье.

Отдавая все заработанные за концерты деньги в фонд обороны, Русланова подарила армии построенные на ее личные средства две батареи «Катюш».

Рейхстаг дымился. Враг был повержен. На ступеньках этой твердыни гитлеризма состоялось последнее фронтовое выступление Руслановой.

Она пела, стоя перед притихшим войском, а у ног ее сидели баянисты и гармонисты. Они играли, едва прикасаясь к клавишам, стараясь не заглушить голос своей любимой артистки.

Когда я, чуть не загнав коня, добрался до Бранденбургских ворот, концерт был уже закончен. Русланова уехала, солдаты долго не расходились, восторженно отзываясь об этой женщине, так напоминавшей кому — мать, кому — сестру, кому — жену или невесту, то родное существо, что ждет не дождется своего защитника там, далеко, дома.

Когда мы хоронили нашу подругу, провожая ее в последний путь, я вспомнил слова — определение моего деда, которые так подходили к этому грустному событию:

— Ушел от нас неповторимый, уникальный — штучный — человек!..

Вновь на родине

Следующий мой приезд из Швейцарии в Россию состоялся в 1910 году. Мама отвезла меня не в Ростов, а к знаменитой тете Ане в Одессу. Врачи посчитали, что в приморском городе климат окажется лучше.

В день нашего приезда эта старая дама собиралась отправиться хоронить Горького. Но в связи с тем, что, как выяснилось, умер не Алексей Максимович, а Лев Николаевич Толстой, — она осталась дома.

В порядке отступления скажу, что в 1908-м моя мама свозила меня к Толстому в Ясную Поляну (в ту пору такие паломничества в среде интеллигенции считались хорошим тоном). Визит был недолгим. Помню только, что Лев Николаевич удивился и похвалил мой совершенный французский.

Итак, тетя Аня в Одессе занимала обширную квартиру на втором этаже. А на третьем жили Вайсбейны. Их сын — Лёдя — стал впоследствии знаменитым советским эстрадным артистом Леонидом Осиповичем Утесовым. Продружили мы с ним всю жизнь…

Но в ту пору это был ученик гимназии Файга — мальчик на пять лет старше меня. Очень независимый, весьма способный к пению. Кроме того, Лёдя успешно занимался игрой на скрипке.

Вайсбейны держали своих детей в строгости, и у Лёди никогда не водилось лишних пяти копеек на мороженое, которое он обожал!

Деньги всегда были у меня: ими — в достаточном количестве — снабжала тетя Аня, и поэтому я с радостью угощал своего нового товарища.

Надо вам знать, дорогой читатель, что тетя Аня возмечтала сделать из меня пианиста, чем усиленно и занималась: она заставляла своего бедного внучатого племянника ежедневно посещать известную музыкальную школу Столярского.

Я же ужасно не хотел становиться пианистом, чем и поделился с Лёдей.

Он решительно заявил:

— Две порции мороженого, и я тебе помогу! Можешь быть уверен.

Действительно, в тот же вечер я услышал его разговор с моей почтенной родственницей:

— Совершенно не понимаю, Анна Яковлевна…

— Интересно знать, чего ты, Лёдя, не понимаешь?

— Почему вы водите своего внука к Столярскому? Ведь у Они

нет никакого музыкального слуха!

— Дурак! — ответила тетя. — При чем тут слух? Его же там будут учить играть, а не слушать!

Тетка хорошо знала, что слух у меня отменный.

Тогда проблему моего музыкального образования Лёдя решил прикончить другим способом. У соседа с первого этажа — портного по профессии — он достал большие ножницы и составил текст моей декларации. Я выучил ее наизусть и вечером за ужином пригрозил тете Ане:

— Если ты от меня не отстанешь, я — вот этими ножницами — выстригу все струны в твоем пианино!

Зная понаслышке о моем — даже в детском возрасте проявлявшемся — крутом нраве, тетя меня больше не беспокоила. И я пианистом не стал.

Лёдя, в ту пору уже отличавшийся остроумием, рассказал мне беседу стариков, подслушанную им в Городском саду:

«— Ну и что нового ув газетах?

— В этом году Сумской гусарский полк проведет лето ув Чугуеве, а Чугуевский гусарский полк — ув Сумах.

— А зачем? Какая разница ув их?

— Неужели вы не знаете?! Сумской носит доломан синий, а чахчуры (бурки) красные! А Чугуевский — доломан красный, а чахчуры — синие.

— Непонятно. Зачем гонять столько людей, когда можно было бы просто переменить их штанов?!»

Не помню, в этот ли приезд или в другой, но мы с Лёдей, как обычно, прогуливались по Приморскому бульвару. Однажды присели на скамейку, где расположилась группа почтенных стариков. Один вслух читал газету:

— Новости с Парижу. На ирадроме ля Бурже летчик Пегу сделал ув воздухе четыре мертвые петли.

После паузы один из стариков спросил:

— А для евреев это лучше или хуже?..

Родители Лёди очень тепло относились ко мне — больному туберкулезом мальчику.

Как-то я сидел у них в воскресенье и читал купленный ими для меня детский журнал «Мурзилка». Рядом находился папа Вайсбейн, углубившийся в газету. А в соседней комнате старшая дочь этой уважаемой семьи вела революционный кружок. Ее с вниманием слушали четверо молодых рабочих.

Говорила она громко, поэтому мы оба услышали ее восторженный возглас:

— Вдумайтесь, товарищи! Какой великий лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Папа Вайсбейн встал. Снял пенсне и, открыв дверь, сказал дочери:

— Толко не у мене в квартире!

Тетя Аня тоже делала все возможное, чтобы отвлечь меня от мыслей о болезни. Она читала вслух Конан Дойля, его рассказы о Шерлоке Холмсе, сопровождая их своим комментарием. А одну историю даже выдумала сама. Ее она рассказала мне и Лёде. Я до сих пор помню:

«Представьте себе, дети, город Лондон, где живет этот великий человек… В то утро знаменитый сыщик сидел у камина в своем рабочем кабинете на Бейкер-стрит и читал газету. Кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — сказал Шерлок Холмс.

И вошел его друг — доктор Ватсон. Не знаю, какой он был доктор как врач, но Холмсу — верный помощник. Вошел и сказал:

— Здравствуйте, Холмс!

— Здравствуйте, Ватсон. Но объясните, почему вы носите голубое белье?

Ватсон не удержался от восхищения:

— Холмс! Вы — гений! Откуда вам стало известно, что я сегодня надел голубые кальсоны?!

Великий сыщик ответил:

— Потому что вы пришли без брюк!»

В 1911 году, когда я прибыл в Ростов, дед решил взять меня с собой в поездку по крестьянским хозяйствам. Ведь фирма называлась: «Прут и внук»! А поставщиками были многочисленные крестьянские хозяйства Дона и Кубани.

— Привыкай к делу! — сказал дедушка. И мы поехали.

Экипаж был просторный. Лошадь по кличке Васька — могучее животное. Кучер — Семен, глухонемой. Но с дедом они отлично объяснялись жестами и прекрасно понимали друг друга.

Было жаркое лето. И мне захотелось пить. Мы как раз проезжали мимо небольшого хутора. Дед ткнул Семена в спину. Пролетка остановилась. На пороге домика появилась его хозяйка — молодая красивая казачка.

Дед сказал мне:

— Ну, коли хочешь пить, заказывай!

Я обратился к женщине:

— Будьте любезны… Можно мне чего-нибудь холодного: ужасная жажда!

Казачка поклонилась и спустилась в погреб. Она вынесла оттуда глечик — большой глиняный сосуд, наполненный свежим молоком.

Я пил жадно.

— Может, хватит? — спросил дед.

— Да, пожалуй, — ответил я, передавая глечик деду. Мой старик тоже как следует отметил качество молока и, в свою очередь, передал сосуд Семену. Тот с удовольствием отведал эту живительную жидкость. И все-таки в глечике ее осталось почти половина. Я вернул посуду хозяйке. А дед сказал:

— Коли ты заказывал, ты и плати.

— Сколько позволите? — спросил я у молодой женщины.

— Копийку, — ответила она.

Я вынул свой кошелек, достал оттуда блеснувшую на солнце новую бронзовую копейку и подал хозяйке. Она благодарно поклонилась и ушла.

Мы поехали. Дед пхнул Семена в спину и сказал ему, кивнув на меня:

— Мот, едри его мать! Видал, сколько заплатил?

Семен согласно замычал, кивая головой.

Я не удержался:

— Да вы что, старики, одурели?! Я же ей дал всего одну копейку.

— Дурак! — усмехнулся дед. — Деньгами швыряешься! За одну копейку надо было еще буханку хлеба спросить!

В мои нечастые приезды на родину деды и мама считали нужным — дабы я не чувствовал себя «иностранцем» — определить меня в ростовскую гимназию, чтобы какое-то время я общался со своими русскими сверстниками и не забывал язык.

Для поступления в казенную, государственную гимназию установленная тогда норма для евреев составляла 5 процентов. Наплыв был, конечно, большим.

Поэтому, чтобы дать возможность евреям учиться, были организованы частные гимназии — на правах государственных. Разумеется, платные и довольно дорогие. Обучение там стоило 150 рублей! Государственные тоже были платными, но значительно дешевле.

Николай Павлович Степанов являлся владельцем частной гимназии в Ростове-на-Дону.

Несмотря на то что у него процентная норма как будто не существовала, однако на практике на приемных экзаменах в подготовительный класс (а мы обязаны были уже читать и писать) русских и еврейских мальчиков сажали отдельно. В одном классе

давались две диктовки.

Русским мальчикам он диктовал внятно и четко. Происходило это так:

— Здравствуйте, русские мальчики! Готовы ли вы писать диктант?

Те дружно отвечали:

— Готовы!

— Значит, диктую: Солнце всходит, — ну, конечно, на конце твердый знак, совершенно естественно, — на Востоке. Поскольку на Востоке, то, понятно, что требуется буква ять.

Затем небрежно бросал в нашу сторону:

— Здравствуйте, еврейские мальчики. Диктую…

Что он говорил, было совершенно непонятно, потому что в это время он сморкался и произносил текст в носовой платок… Потом спрашивал:

— Написали?

Мы дружно скандировали:

— Написали!

— Что вы написали?

Марик Цейтлин, который не выговаривал букву «р», сказал:

— Гейкьявик — главный гогод Шпицбеггена.

Николай Павлович, расстроенный этим ответом, вынужден был признать:

— Правильно.

Я же, обученный в швейцарской школе и отличавшийся независимостью, встал и сказал:

— Нет, неправильно!

Степанов посмотрел на меня злыми глазами:

— Что-о?!

Я повторил:

— Неправильно, Николай Павлович. Рейкьявик — главный город Исландии, а не Шпицбергена.

Он стукнул меня косточкой согнутого пальца в лоб и со злостью сказал:

— Ты принят.

Дед Прут, в свою очередь, высказался:

— У тебя есть все условия, чтобы учиться хорошо. На одни пятерки!

Однажды я «схлопотал» четверку, так меня поймали по дороге в Новочеркасск: я знал, что с четверкой домой мне идти нельзя.

А еще дед мне говорил:

— Станешь хорошо учиться, получишь аттестат инженера или доктора — до конца твоих дней ничего делать не будешь!

Это меня вдохновляло. Я учился как зверь! Даже в Швейцарии. И еще одну вещь дед мне шепнул на ухо:

— И Белку Чернову за тебя выдам!

А это была самая красивая девочка в Ростове.

Гимназия имела восемь классов и три приготовительных.

Для полных идиотов — младший приготовительный, где учили азбуке. Дети постарше — в среднем приготовительном. А те, кто что-то знал, — в старшем приготовительном. Так что гимназия была почти одиннадцатилеткой.

До Первой мировой войны Ростов уже являлся большим промышленным городом с населением где-то за полторы тысячи человек.

Ходил электрический трамвай бельгийского общества; имелись драматический театр и театр, в котором можно было ставить оперные спектакли; театр оперетты и цирк; несколько музыкальных школ; несколько гимназий; два базара и два собора.

Довоенные цены (конечно, я имею в виду цены до войны 1914 года) были особенные. Так, фунт — 400 граммов — красной кетовой икры стоил двадцать копеек. Фунт мяса (если покупали, скажем, до 10 фунтов, а меньше никогда не покупалось) стоил две копейки: пять копеек кило.

Я помню, в 1908 году в городе стало тревожно, потому что торговцы подняли цены на мясо на полкопейки и женщины разгромили базар. Солдат в тот раз не трогали и казачью сотню из Новочеркасска, чтобы усмирить взбунтовавшихся женщин, не вызывали.

Соответственными, конечно, были и заработки. Хороший рабочий получал до полтинника в день. А платил он за пансион (за питание), если работал, скажем, в порту и питание было трехразовое. — десять копеек в день.

Кухарка получала восемь рублей в месяц, горничная — пять; хороший приказчик — тридцать рублей в месяц. Жалованье обычного приказчика, конечно, было меньше.

Александр Максимович Поддубный — старший рабочий деда Прута — получал столько же, сколько и старший приказчик.

Надо сказать, что старший приказчик приходился дальним родственником по линии прабабушки Анастасии. Фамилия его была тоже Безчинский. Он являлся троюродным племянником моей прабабки. И его всегда раздражало, что он — старший приказчик — такого крупного дела, как хлебно-комиссионная контора, получал не больше старшего рабочего.

Однажды, когда я был на ссыпке на берегу, стал свидетелем такой беседы: Безчинский обратился к моему деду с вопросом:

— Соломон Осипович, хозяин, почему я — старший приказчик, который окончил гимназию, получаю столько же, сколько обыкновенный рабочий?

— А он не «обыкновенный».

— Ну, и в чем же его «необыкновенность»?

— Я тебе в течение дня покажу, — ответил дед.

Не прошло и получаса, увидев пыль на дороге, дед сказал Безчинскому:

— Вот, Федя, как ты думаешь, кто едет и что везет?

— Сейчас узнаю! — Приказчик побежал. Через 20 минут вернулся и отрапортовал:

— Едет Купченко. Везет пшеницу. Восемьдесят мешков.

— Какой вес пшеницы?

— Сейчас узнаю! — Побежал снова и вернулся через 15 минут: — Сорок девять и семь осьмых.

Снова заклубилась пыль.

— А сейчас кто едет? — спросил дед.

— Узнаю! — Побежал, вернулся и сообщил, что едет Горобец и везет тоже пшеницу.

— Какой вес?

— Фу черт! Забыл спросить!.. — Снова побежал, вернулся, сказал вес.

Когда вновь вдали заклубилась пыль, дед остановил Безчинского.

— Ты не беги, Саша! — Обратился старик к Поддубному. — Кто едет? Что везет и сколько?

— Едет Марченко. Везет пшеницу. Сто шестьдесят мешков.

— Вес какой?

— По прикидке, сорок восемь и семь осьмых.

Когда подъехали марченковские подводы, товар взвесили и записали: было точно так, как сказал Поддубный.

— Вот видишь, — обратился дед к Безчинскому. — Без беготни, а сказал точно! За это он и получает столько же, сколько и ты.

При том что город Ростов был торгово-промышленным и в нем проживало огромное количество иностранцев: французов, греков, немцев; находились различные иностранные фирмы, включая американские, — город этот являлся, в общем, и центром уголовного мира. Со своей спецификой…

Скажем, ростовские медвежатники были фальшивомонетчиками, а медвежатниками их называли потому, что фальшивые деньги печатались в погребе, где у входа сидел на цепи медведь. Он бросался на всякого постороннего. Пока представители властей справлялись с медведем, печатные станки

успевали вывезти в другое место! Так мне объяснили в кафе грека Склавы, что на углу Садовой и Казанского переулка. Там находилась и бильярдная. Это был штаб уголовного мира, куда сходились все товары. Полиция великолепно об этом знала.

Значит, у грека Склавы играли на бильярде, пили кофе и обделывали всякие дела.

Кроме медвежатников существовали домушники (те, кто воровал по домам), карманники (о них говорит само название) и дворники. Эти «обрабатывали» дворы, в которых постоянно висело белье, выветривались костюмы, шубы, ковры.

Уже в конце 1919 года, когда я вернулся домой, у нас украли ковер. Я дико расстроился, потому что довольно хорошо играл в бильярд и никогда не задавал вопроса моим партнерам: «Чем они занимаются?» И придя на игру в кофейню к Склаве, сказал во всеуслышание:

— Я удивляюсь! Говорят, что у вас — у́рок — есть честь?! Я с вами — на равных — играю на бильярде, а у меня сперли ковер?!

Произошло некоторое замешательство:

— Иосиф Леонидович! Этого не может быть! Это не наши! Сделал нехорошее дело кто-то из приезжих!

— Я не знаю, приезжий или местный, но факт остается фактом! Причем любимый ковер деда, а я не хочу его расстраивать! В общем, ребята, как хотите, но ковер чтобы мне вернули!

— Вы дайте нам сутки. Завтра, конечно, мы найдем ваш ковер. Только опишите его.

Я описал ковер, как мог. Меня внимательно слушали, запоминая. И сказали:

— Если сделал такое кто-то из наших, чтобы не смущать человека, условимся: он позвонит три раза, а вы сразу не открывайте! Ковер будет на пороге.

И что вы думаете?! На следующий день после завтрака раздалось три звонка. Дед говорит:

— Ну, я сейчас набью морду!

— Не выходи, дедушка! Я обещал, что не будем трогать. Подожди!

Мы подождали несколько минут. Я открыл парадную дверь: лежал ковер. Конечно, не наш… но лежал.

Вот какие были люди!

Как я сказал, город — богатый. Но что значит «богатый»? Конечно, много было и бедных людей. Однако имелись просто богачи! Самым богатым в Ростове и Нахичевани (хотя эти два

города по-разному назывались, они, фактически, составляли единое целое. Границей являлся пустырь. На нем впоследствии построили Ростовский драматический театр) — самым богатым человеком в этих двух городах являлся грек по фамилии Кундури. Он был холост. Банкам не доверял. Деньги хранил — берег — дома в огромном сундуке. Нажималась кнопка, автоматически поднималась крышка, и звучала мелодия: «Пой, ласточка, пой…»

Кундури давал деньги в рост. Чуть побольше банковского процента, ненамного. Поэтому, когда кто-то нуждался срочно в наличных, он мог одолжить у Кундури.

Об этом знали все. И как будто такое дело могло бы стать легкой наживой для налетчиков?.. Но Кундури все это учел. У него служили два брата — лезгина. Они дежурили через сутки. Один день — один брат со своими тремя сыновьями, другой день — другой брат с четырьмя сыновьями.

Кундури выписал из-за границы пулемет «Виккерс»…

Долго ли коротко рассказывать: знаменитый экспроприатор Юга — Савицкий — четырежды пытался совершить налет на Кундури и все — мимо: ни один не удался! Такой была у грека вооруженная охрана.

Но кроме денег у Кундури был еще рак. И представьте себе, что эту по нынешним понятиям неизлечимую болезнь вылечила травами старуха — полуколдунья, полузнахарка — армянка из станицы Чалтырь.

Кундури отвалил ей сто тысяч и подарил жеребца Алмаза, которого впоследствии купил мой дед для меня.

До того как Кундури вылечился, если он шел по улице или гулял по аллее клубного парка, люди говорили: «Вон идет Кундури с раком!»

Поправившись, Кундури решил жениться. Ничего подходящего в Ростове он не нашел и обратился к Чарахчьянцу — хозяину кафешантана «Марс», который каждый год выезжал за границу. Кундури сказал ему:

— Поищи, Степан, может быть, там найдешь что-нибудь подходящее?

И Чарахчьянц увидел в Мадриде женщину удивительной красоты: испанскую танцовщицу Кармен Лопец. Аккомпанировал ей на гитаре ее отец — Виктор.

Предыдущие фотографии женщин, которые присылал из-за границы Чарахчьянц, Кундури браковал. Когда же он получил фото Кармен Лопец, — последовал ответ «заказчика»: «Вроде подходит… Приведи в порядок».

Лопец свозили в Париж. Купили ей туалеты и драгоценности, и Чарахчьянц повез красавицу испанку выходить замуж за грека

Кундури в Ростов-на-Дону.

В дом на встречу с невестой были приглашены дед Прут, поскольку Кундури дружил с ним, казенный раввин Хаитович, вся городская знать. Были, правда, одни мужчины. Дед взял меня с собой. Мне было 10 лет.

Позвонил Чарахчьянц с вокзала, что они прибыли, и Кармен повезли к Кундури. Кундури жил в Нахичевани в роскошном особняке.

Двери гостиной открылись, и Чарахчьянц произнес по-французски: «Антрэ!» — «Войдите». Вошла красавица женщина и, подбоченившись, оглядела зал, выискивая глазами своего будущего супруга.

А Кундури не сидел в первом ряду кресел. Он стоял сзади. И когда Чарахчьянц спросил по-русски:

— Ну, что ты скажешь?!

Кундури ответил:

— Она мене не нравится.

Этим закончилось сватовство. Кармен Лопец была отвезена в «Гранд-Отель» и стала выступать в кафешантане «Марс» как актриса-танцовщица.

Через месяц она вышла замуж за грузинского князя Лютика Макаева.

Я очень любил слушать беседы отца Андрея — родителя жившей в нашем доме Анны Андреевны — с раввином Хаитовичем. Это было очень интересно!

Во-первых, с дедом отец Андрей не мог говорить о своей дочери, хотя неоднократно упоминал, что надо замаливать грехи. Равно как намекал об этом Анне Андреевне.

Но если она могла приходить к нему как к духовному отцу православной епархии исповедоваться, то с дедом, конечно, было сложнее.

Поэтому отец Андрей иногда намекал, что не мешало бы и деду когда-нибудь покаяться в грехах «по своей синагогальной линии».

Прежде всего это была внебрачная связь. Брак не мог состояться, несмотря на то, что дед очень любил Анну Андреевну. Он никогда бы не изменил своей религии, а она не изменила бы своей…

Конечно, Хаитович тоже считал за великий грех то, что дедушка живет с русской женщиной. Самое смешное, так же считал и отец Андрей:

— Непорядок, что русская женщина живет с евреем! Видано ли такое? Разве Бог это простит?!

Что дед обычно с раздражением парировал:

— Между прочим, ваш Спаситель тоже не сразу стал православным!

В нашей семье и молодежь была либеральной: моя мама и оба дяди. Но заявить, что у них имелись какие-то твердые убеждения либерального толка — не могу! Они просто были хорошие, добрые люди. А вот тетя Нюся, родная сестра моей мамы, являлась активной участницей революционного движения.

Училась она в Харькове. А там произошли следующие события: за революционные выступления градоначальник (или губернатор, по-моему) приказал высечь студента! За что революционный кружок приговорил губернатора к смерти. Кто должен был стать исполнителем? В студенческий картуз кинули 12 билетиков, на одном из которых нарисовали крест.

Крест вытянула моя тетя Нюся.

Получив пистолет «Велодог», она должна была по выходе из собора после воскресной службы выстрелить в губернатора.

Тетя это сделала, но, не будучи опытным стрелком, промазала! Ее моментально усадили на извозчика, извозчик рванул с места…

Долго ли коротко ль рассказывать, полиции не удалось словить мою тетку. Через три дня она оказалась в Австрии, переправленная туда революционным комитетом.

Из Австрии тетя прибыла в Женеву, где поступила в консерваторию по классу фортепьяно.

Она познакомилась с молодым швейцарцем, который заканчивал медицинский факультет Женевского университета. Звали его Леон. Фамилия была Хельг.

Он уроженец северной части кантона Берн. Там, в предгорье Юры, есть город Делемон (теперь столица кантона Юра). Отец Леона был мэром города и владельцем часовой фабрики; брат его матери — бабушки Матильды — городским нотариусом, (сейчас эту «наследственную» линию продолжает его двоюродный правнук — Лоран Хельг).

Молодые люди — тетя Нюся и Леон Хельг — полюбили друг друга и Нюся сообщила в Ростов, что она собирается выйти замуж за швейцарца.

Дед Аптекман, в отличие от деда Прута, который разъезжал довольно часто по миру, Ростова никогда не покидал. Решение молодых и просьба благословить их брак были переданы отцу моей мамой.

Произошло это в том же 1908 году, в первый мой приезд на Родину. За обедом присутствовала вся семья.

— А кто такой этот Леон? Имя у него — мое. (Деда Аптекмана звали Леоном Лазаревичем.)

— Он из очень хорошей семьи. Швейцарец! — ответила моя мама.

— Не разрешаю! — рявкнул дед.

— Почему, папа? — спросила удивленная мама.

— Не хочу, чтобы моя дочь выходила замуж за человека, которому я даю десять копеек «на чай», когда прихожу в банк или клуб.

Тут не сдержался я:

— Дедушка! Ты даешь «на чай» швейцару! А Леон — чудесный молодой человек. И к тому же он не швейцар, а швейцарец!

— Это одно и то же! — безапелляционно заявил дед Аптекман. — Пусть Нюся вернется домой, отсидит в тюрьме за то, что стреляла в губернатора, сколько положено, и выйдет замуж за приличного человека. Швейцарцу не отдам и приданого не дам! Точка!

Тогда моя мама сказала решительно:

— В таком случае я ей отдам свое. Ведь оно не тронуто…

— Это — твое дело! А я — не дам ни копейки, — закончил разговор дед.

Мама перевела со своего текущего счета в банке сорок тысяч рублей — Нюсе. Сумма — по тем временам — огромная, составлявшая сто тысяч швейцарских франков. И молодые люди, Нюся и Леон Хельг, спокойно могли начать совместную жизнь. Мне довелось присутствовать на их свадьбе, так как мое пребывание на Родине в 1908 году было коротким. Оно закончилось тем, что врачи приказали немедленно отправить меня обратно в Швейцарию: я еще не был здоров и не мог остаться жить дома.

Моей «высылке» способствовал еще один эпизод. В Летнем театре городского сада появилось объявление о постановке новой пьесы.

Проезжая мимо в нашей коляске, я вдруг прочел в застекленной афише анонс: «В Летнем театре смотрите новую постановку: “Жиды-контрабандисты”».

Толкнув в спину глухонемого кучера Семена, я указал ему на плакат. Семен понимающе закивал и остановил лошадь.

Соскочив на землю, я подобрал первый попавшийся булыжник и запустил им в витрину.

Затем, по дороге к дому, я заметил мирно пасшуюся свинью. Приказав кучеру снова остановиться, я выскочил и дал знак Семену продолжать путь без меня. Оседлал несчастное животное.

Так, верхом на перепуганном борове, въехал во двор своего дома.

Домочадцам я с возмущением рассказал о случившемся. И несмотря на объяснения взрослых, что это не оскорбление еврейского народа, а просто литературное название спектакля, повторил акцию протеста с битьем вновь вставленного стекла на следующий день.

Зная неукротимый нрав своего внука, дед — договорившись с полицеймейстером — день спустя показал мне телеграмму. Это действительно был телеграфный бланк, на котором я прочел наклеенные строчки: «Мальчика Оню за его безобразный поступок немедленно выслать в Швейцарию!» Под текстом стояла подпись: «Николай». Так, к мнению медиков присоединилось и «указание» императора российского…

Тетя Нюся приняла католичество, и свадьба состоялась в той же церкви.

На этой церемонии — с нашей стороны — присутствовали: бабушка Вера Аптекман, моя мама и я.

Дедушка Виктор Хельг, его жена — бабушка Матильда, дочь Терреза — сестра дяди Леона и ее сын Жан — мой однолетка — представляли жениха.

Мне было поручено в церкви держать шлейф платья тети Нюси. Началось все нормально. Но, заглядевшись на гостей, я приподнял шлейф выше, чем следовало, за что получил от своего будущего дяди затрещину.

Я вознегодовал:

— Ты что? С ума сошел?! Чего дерешься?!

— Не хочу, чтобы кто-то смотрел на зад моей будущей жены!

Я в раздражении закричал, забыв, где нахожусь:

— Подумаешь! Задов я не видал?!

Дедушка Виктор прекратил перепалку, дав подзатыльник сыну.

— Веди себя прилично! — добавил старик, грозя Леону пальцем.

Финал сей истории таков: два года спустя, в 1910-м, я привез деду Аптекману в Ростов подарок от дяди Леона Хельга: три большие плитки швейцарского шоколада.

Старик попробовал кусочек. Долго его смаковал (а надо сказать, что в Ростове разных сортов этого продукта было предостаточно) и наконец высказался:

— Если эти швейцары делают такой замечательный шоколад, значит, они живут в серьезной стране. Получи, Франя! — И дед вернул маме полностью сумму ее приданого, которое та передала тете Нюсе.

Дед Леон Аптекман умер в 1912 году.

Когда бабушка Вера и сыновья вскрыли дедушкин сейф, они нашли там еще полторы плитки не съеденного им швейцарского шоколада…

Когда же ознакомились с завещанием, они прочли следующее:

Моей маме дед оставлял сорок тысяч и еще сорок, которые она отдавала Нюсе. Тете Нюсе — всего сорок, так как она уже получила сорок тысяч от мамы. Сыновьям — Осе и Лане — по девяносто тысяч каждому А все остальное — около двухсот тысяч — бабушке Вере. С рекомендацией продолжать дело.

Дед Аптекман умер семидесяти двух лет от роду. Бабушке было пятьдесят два.

Как это произошло? Все сидели за столом (за завтраком), и дед вдруг сказал:

— Я сегодня буду умирать.

Бабушка закричала:

— Лева! Господь с тобой! Что ты такое говоришь?!

Но дед продолжал:

— Все мои товарищи померли. Мне одному среди вас — скучно. — Старик позвал сыновей в гостиную и закрыл дверь.

Там происходило следующее: он приказал принести сена из каретника, положить его на пол. Лег, взяв каждого из сыновей за руку, и стал их учить тому, как они должны впоследствии жить, объединив капиталы, продолжать его дело и охранять бабушкин капитал.

Сила рукопожатия этого человека была такой, что дядя Ланя, не выдержав, вскрикнул, а дядя Ося припал на колено и чуть не потерял сознание.

— Слабун! — сказал дед. — Уходите оба и позовите теперь вашу маму

Сыновья вышли из гостиной и сказали бабушке Вере, что ее зовет папа.

Она вошла туда, закрыла за собой дверь, а через пять минут вышла и рыдая сообщила, что дедушка умер.

С тех пор как дедушка Аптекман стал торговым деятелем, он каждый вечер, будь то зимой или летом, проводил в Коммерческом клубе. И всегда тратил десять копеек: пять — за чай и пять — «на чай». Он сказал мне однажды, а дед был человеком умным: «Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит». Впоследствии, почти дословно, этот тезис высказал мне находившийся на смертном одре в парижском госпитале Аристотель Онассис.

Да, дорогие друзья, дед Аптекман, как и дед Прут, был человеком удивительным.

Как и Прут, всех он называл на «ты», а себя — на «вы».

Мне рассказывали о случае, когда в год трехсотлетия дома Романовых царь Николай II, желая познакомиться с донским казачеством, приехал в Ростов. Его встречало все именитое купечество. Государю были преподнесены подарки от всего сословия. Поручили это мероприятие деду Аптекману, как почетному Георгиевскому кавалеру.

Но дед Аптекман приготовил и свой сюрприз.

Он подал царю роскошный золотой поднос, сказав:

— Это, Государь, от нашего сословия. — Затем вынул из кармана золотой портсигар и протянул царю со словами: — А это тебе, Государь, лично, — и, показав на себя, закончил: — от нас.

Максим Горький

В 1910 году в Швейцарии мама познакомила меня с женой Алексея Максимовича Горького.

В 1912-м та пригласила нас к себе на Капри, где они тогда жили.

Там я познакомился с двумя сыновьями Алексея Максимовича.

Младший — Максим — был родной. А старший — Зиновий — приемный.

История Зиновия такова: в 900-е годы, сидя в Нижегородской тюрьме, Алексей Максимович в камере встретил двенадцатилетнего мальчика, посаженного туда за распространение революционных листовок.

Мальчик очень понравился Горькому. Он был из многодетной бедной семьи, и по выходе из тюрьмы Алексей Максимович договорился с его родителями об усыновлении Зиновия. Так этот мальчик вошел в семью Горького.

Когда он подрос, Алексей Максимович устроил его учиться в школу Московского Художественного театра. Но наступил срок Зиновию идти на военную службу, и Горький увез его — вместе со всей своей семьей — на Капри.

Когда мы приехали на этот остров, семья была в сборе. Я подружился с Максимом.

Дача Горького находилась в Сорренто. Там было много красивых вилл. Одна из них принадлежала императору Германии — Вильгельму II.

Однажды за обедом из уст Горького я услышал историю:

Одной из звезд уголовного мира был барон Стромболи. Баронский титул он получил, приобретя крошечный островок Стромболи в Средиземном море. Титул, конечно, присвоил себе сам. И вот однажды эта знаменитая личность появилась на Капри. С какой целью, Алексей Максимович не знал…

Но на узкой горной дорожке столкнулись Вильгельм II и этот новоиспеченный барон. Разминуться было трудно. Поэтому император попросил встречного:

— Уступите, пожалуйста, дорогу моей собаке!

— Я это сделаю, Ваше Величество, но — предупреждаю вас — не бесплатно!..

Император ничего не ответил. Они разминулись, и каждый пошел своим путем.

В крепости Шпандау, в самом центре Германии, хранился военный золотой запас империи: семь миллионов золотых

франков — контрибуция Франции за последнюю войну.

Золотые монеты, по сто штук в каждом мешочке, помещались в подвалах крепости в специальных хранилищах.

Ежегодно император лично проверял содержимое запаса.

И вот, когда в очередной раз Вильгельм приехал в Шпандау и спустился в подвал крепости для проверки золотого запаса, он обнаружил пустую ячейку. В ней лежала визитная карточка барона Стромболи, на оборотной стороне которой было написано: «В память о встрече в Сорренто».

Наступил 1914 год. Началась Первая мировая война.

Алексей Максимович ежевечерне приходил к сыновьям пожелать им спокойной ночи: сначала на первом этаже — Максиму, а затем — на втором — Зиновию.

В этот поздний вечер постель Зиновия оказалась пуста. На подушке лежала записка: «Дорогой отец! Немецкие сапоги топчут святую землю Франции! Я не могу остаться равнодушным и покидаю вас, чтобы вступить добровольцем во французскую армию».

Это и все последующее я узнал много лет спустя от Максима.

Итак, Зиновий — солдат Франции. В битве при Марне ему отрывает левую руку. И президент Франции Раймон Пуанкаре перед фронтом награждает русского добровольца, отдавшего свою кровь за Францию, — сына великого писателя Максима Горького — орденом Почетного легиона.

Несмотря на полученную рану, Зиновий не покидает армию. В 15-м году — он уже лейтенант, в 16-м — капитан и в чине майора сопровождает генерала По в Россию.

Здесь французская военная миссия задержалась недолго: падение царизма, Октябрьская революция… и генерал По возвращается во Францию.

Начальником миссии до Брестского мира оставался Зиновий, затем он со своими французскими подчиненными югом России вернулся во Францию.

Когда после революции Горький первый раз приехал в Россию, в его семье все были живы и здоровы.

Второй приезд Алексея Максимовича на Родину состоялся несколько лет спустя. Мне удалось повидать его. Это произошло в кабинете Константина Сергеевича Станиславского. Алексей Максимович сидел у окна и смотрел в переулок. Я подошел, поздоровался, и он обнял меня. Я начал расспрашивать о его близких и коснулся Зиновия. Горький вздрогнул, отвел глаза и с надрывом ответил:

— Разбойничает где-то!..

Присутствовавший при этом Владимир Иванович Немирович-Данченко попросил меня удалиться, чтобы не тревожить подобными вопросами дорогого гостя.

Прошло еще несколько лет. Перед открытием сезона во МХАТе мы — старые друзья этого театра — обычно приходили поздравлять великих актеров.

Приехал, как всегда, из Саратова Иван Артемьевич Слонов. Он был бледен и держал в руках какое-то письмо. Отвел нас в сторону и сказал:

— Читайте!

Я взял конверт. Видно было, что его распечатывали уже много раз… Прочитал сначала штамп на конверте: «Французская республика. Главный генеральный штаб. Военный губернатор Алжира». Это было письмо от Зиновия. Вот его примерное содержание:

Дорогой Ваня!

Через наше разведывательное управление я узнал, что ты содержишь театр в Саратове. (Адрес на конверте гласил: «Россия, Саратов. Городской театр. Антреприза И. А. Слонова».) *Как идут твои дела? Как вы там все живы? Не расстреляны ли все Чекой?* Далее шло перечисление бывших друзей Зиновия, среди имен значилось и мое: *«Жив ли Онька Прут?»* — А кончалось письмо так:

В моем краю никаких революций! У меня — полный порядок! Если вам надоело жить в вашем «Коммунистическом Раю», сыпьте ко мне: для всех я найду работу!

Обнимаю вас. Ваш Зиновий.

Мы поняли, что теперь нас заберут прямо при выходе из театра. И уже приготовились к беде. Но нас не тронули! Даже «там», наверху, подумали, что такое письмо было провокацией.

В дальнейшем Зиновий принял сторону генерала де Голля и воевал с фашистами во время Второй мировой войны. Но потом, по слухам, порвав с президентом во время военных действий в Алжире, он обозвал де Голля коммунистом и ушел в отставку. Прожил еще сравнительно долго. И умер в одиночестве.

Самое пикантное во всей этой истории, что Зиновий Пешков по рождению был старшим братом Якова Михайловича Свердлова…

В Москве, уже после Гражданской войны, зная, что я часто бываю в доме Алексея Максимовича, журналист Михаил Розенфельд попросил меня познакомить его с Горьким. И я — с

разрешения хозяина — привел его в дом.

Все шло хорошо до момента, когда — не помню по какому поводу — Алексей Максимович произнес:

— Все потеряно, кроме чести, как сказал король Франции Франциск Второй.

Миша Розенфельд не удержался и позволил себе поправить Горького:

— Вы ошиблись, Алексей Максимович! Это сказал король Франциск Первый.

— Второй! — с раздражением крикнул Горький и вышел из-за стола.

На этом визит кончился, и больше Мишу Розенфельда в дом не приглашали.

Лично я великолепно знал, что дело происходило в феврале 1525 года во время битвы при Павии, где король Франциск I вынужден был передать свою шпагу императору Карлу V. Но я Горького не поправлял…

В 1934 году Алексей Максимович рекомендовал меня в Союз писателей. Он сказал: «Прут достоин звания члена нашего Союза, потому что после просмотра его пьес зритель становится лучше! Прут добрый и хороший человек, но… лучше с ним не связываться! Если уж он наложит, то двум коровам не вылизать…»

Накануне войны 1914 года

Последний мой приезд в родные края накануне Первой мировой войны совпал с Рождеством 1913 года.

За три дня до розыгрыша лотереи Государственного займа к деду Пруту в контору зашел известный своей многодетной семьей, а посему старавшийся заработать лишнюю копейку на любом деле страховой агент по фамилии Шавиньер.

— Чего тебе? — спросил у него дедушка. — Мы с внуком все уже уплатили!

— А я по другому поводу, господа! (Шавиньер поклонился и деду, и мне.) Предлагаю приобрести облигации лотереи…

— Зачем? — поинтересовался дед.

— Мне приснился сон, что вы обязательно выиграете десять тысяч.

— Слушай, Шавиньер! Катись-ка ты… — предложил мой старик.

Но Шавиньер не покатился. Он продолжал:

— Облигация стоит всего пятьдесят рублей. А выиграете вы…

— Иди к черту! Не мешай! Хватит!

— Но, господин Прут! Я же вам предлагаю золотое дело…

Дед встал. Это уже кое-чем грозило. Тогда вмешался я:

— Одну минуту! Давайте эту облигацию мне.

— Дурак! — не сдержался дед. — Дай тебе, дураку, волю, ты все свои деньги промотаешь!

Разговор длился еще минуту, но в резких, повышенных тонах.

Шавиньер клялся, что билет беспроигрышный и что десять тысяч у нас в кармане. Дед обзывал продавца жуликом и вруном. Но в конце концов сдался, и облигация была куплена.

Господа! Граждане! Мои дорогие читатели! Вы не поверите: тираж состоялся, и дед выиграл эту огромную сумму. Невероятно!!!

В тот же день явился бледный как смерть, дрожащий Шавиньер: ведь он держал в своих руках целое состояние и… отдал его. Шавиньер бормотал:

— Ну, что я говорил?! А вы — не верили! Я же знал наверняка, что она выиграет.

— Тогда почему ты себе ее не оставил? — спросил дед.

— Не имею права: обязан продавать! Ведь это — моя работа.

— Чудо! — произнес мой растроганный старик. — Ладно! За твою честность предлагаю тебе: или тысячу рублей сразу, или я кладу в банк эти десять тысяч, чтобы процент с моих денег получал ты! Это — триста целковых в год! Значит, двадцать пять

в месяц! И сразу кончатся твои заботы. Решай!

Шавиньер думал недолго:

— Давайте тысячу сразу!

— Все-таки — дурак! — усмехнулся дед. — Тебе же еще жить не меньше, как лет тридцать! Будешь обеспечен до конца дней своих! А тысячу ты промотаешь быстро…

— Нет! Давайте тысячу сейчас.

— Но почему? Ведь…

— Потому что, — перебил деда Шавиньер, — с вашим сумасшедшим везением я могу умереть завтра!

Наступил предновогодний день. После обеда дед сказал:

— Одевайся поприличней! Через час поедем на благотворительное собрание в Коммерческий клуб!

— По какому поводу? Почему я должен туда ехать?

— Потому что будет сбор средств в пользу ребят — твоих ровесников, которые не имеют возможности платить за обучение. Да, не забудь взять деньги!

Оделся я празднично. Захватил несколько крупных купюр разного достоинства.

Вез нас на санях все тот же глухонемой Семен. Подъехали к зимнему зданию клуба. Вошли.

В гардеробе, на вешалке, я оставил свои швейцарские пальто и берет, а затем, не дожидаясь деда, поднялся в зал.

Деда же усадили в кресло, чтобы снять с него теплые боты, затем шубу и все прочее…

В зале — вдоль стен — стояли киоски. Сидевшие в них дамы — представительницы высших городских слоев — продавали цветы.

В первом киоске восседала жена градоначальника — генерал-майора Зварыкина. Красавица! Она подозвала меня к себе и сказала:

— Молодой человек! Купите у меня розу.

Когда я подошел, первая дама города воткнула мне цветок в петлицу. Я полез в боковой карман и подал… сто рублей! (Деньги по тем временам огромные: стоимость одиннадцати коров!)

При виде такой бумажки даже градоначальница зарделась:

— О! Спасибо! Огромное мерси! — и дала мне руку. Я ее поцеловал, поклонился и отошел.

Следующим ее клиентом оказался мой дед. Я слышу ее голос:

— Соломон Осипович! Купите у меня розу!

Дед подошел ближе. Градоначальница воткнула цветок в его петлицу и протянула тарелочку.

Мой старик полез в жилетный карман, достал оттуда золотую

пятерку и положил на тарелку. Дама внимательно посмотрела на монетку, широко открыла глаза и, пожав плечами, пробормотала:

— Ничего не понимаю!..

— Чего ты не понимаешь, Марь Петровна? — спросил дед Прут.

— Вы видели, что вы дали?..

— Конечно. Мы положили пять рублей золотом! А что такое?

— То есть как «что такое»?! Ваш внук, совсем мальчик, дал мне сто, а вы — крупный негоциант — пять?!

— Ну и что? Все вполне нормально.

— Как это нормально? Совершенно не понимаю…

— Значит, ума у тебя маловато…

— Перестаньте дерзить! Ведите себя прилично и объясните!

Дед усмехнулся, поклонился и произнес:

— Пожалуйста, мадам!.. Положение у нас с ним разное.

— Это в каком смысле?

— Он может, а мы — не можем!

— Почему? Какие на то причины?

— Неужели не соображаешь?

— Нет. Никак!

— А ведь все очень просто: у нашего внука — дед богатый, а мы — круглая сирота!

Эколь Нувэль

Вернулся я в Швейцарию после Нового — 1914 года, не подозревая, что покидаю свой дом почта на целые шесть лет.

Весной 1914 года — по совету врачей — местом отдыха, после лечебного и учебного года в Швейцарии, был выбран немецкий город Кисинген.

Туда мы тронулись большим составом: моя бабушка Вера, моя мама, ее брат Лазарь (Ланя) со своей молодой женой и я. Кисинген — широко известный курорт, где наша пятерка и разместилась. Остановились мы в гостинице «Фир ярес цайтен» («Четыре времени года»). Любезного хозяина этого гостеприимного заведения звали Фридолин Фасбинд. Сего сыном Гансом — моим однолеткой — я сразу подружился.

Курс лечения протекал нормально: ванны и целебные воды. И все было бы хорошо, если б не… огромные события, обрушившиеся на Европу. Они пресекли наш отдых.

1 августа 1914 года Вильгельм II объявил войну России, и началась Первая мировая…

В порядке отступления, должен заметить, что с Вильгельмом II у меня были свои счеты.

Как-то мама взяла меня на несколько дней в Берлин.

В районе городского парка я вдруг заметил на земле блестящую монетку: в моем сознании сразу же стали роиться планы, как и сколько солдатиков для своей коллекции я на эти деньги куплю…

Вдруг из-за угла аллеи показался Вильгельм II в сопровождении своих телохранителей. Все вокруг, и мы с мамой в том числе, замерли. Дамы склонились в почтительном поклоне, а мужчины, в их числе и я, вытянулись по стойке «смирно».

И тут я вижу, как радостно блеснули глаза прусского императора: он заметил мою (!) монету, наклонился, поднял ее и со счастливой улыбкой положил в свой карман!..

Итак, о Первой мировой… Сначала столкнулись две основные группировки: «Тройственный союз» и «Тройственное согласие» — Германия, Австро-Венгрия и Италия против России, Франции и Англии.

Все русскоподданные должны были срочно покинуть Германию.

Лично мы вернулись в Швейцарию — к тете Нюсе, которая без малого 13 лет (!) заменяла мне мать.

Поездом добрались до Баденского озера (оно имеет еще название Констанского), пересекли его и очутились в гостеприимной и такой близкой мне земле гельветических кантонов.

Приехав в Монтрё, где в ту пору жили тетя Нюся и ее муж — Леон Хельг, устроили семейный совет. Было принято решение: бабушка Вера и я остаемся в Швейцарии, где я продолжу лечение и учебу, а моя мама с братом Лазарем и его супругой направятся домой в Ростов-на-Дону.

Единственный возможный путь пролегал через Италию. Оттуда — пароходом — вокруг Балканского полуострова через Дарданеллы и Босфор в Черное море. Этот путь был возможен, так как ни Греция, ни Турция в войне еще не участвовали. А итальянцы пропускали русских на Родину. И моя родня добралась до Ростова благополучно.

Я же оказался в лучшем (не только по тем годам) училище Швейцарии: в Эколь Нувэль (Новая Школа) в Шаи над Лозанной.

Считаю эту школу самой лучшей на свете. Через год после моего 95-летия (1995-й) школа будет отмечать свои девять десятков лет существования.

В этой школе учились выдающиеся люди современности: вице-президент Международного Красного Креста; директор фирмы и компаньон Аристота Онассиса; высшее духовное лицо канадской епархии; шах Ирана; пэр Англии; руководитель американских банков в Швейцарии; дипломат и посол Болгарии в различных странах и так далее, и тому подобное.

Повторяю: считаю, что окончил самую лучшую школу в мире! Сегодня мне 95, но все, чему меня учили в этой школе, я помню по сей день. Окончил я ее в 1918 году. Можно задать мне любой вопрос из школьной программы (а школа выпускала бакалавров!) — по истории, географии, математике или языкам — немецкому, французскому, английскому. Непременно отвечу! Система преподавания была такой, что я — гражданин России — уверен: историю Швейцарии знаю не хуже швейцарца. Нас обучили всему.

Я познавал мир, великие искусства, литературу — все то прекрасное, что есть на Земле.

Ученики следовали негласному лозунгу: «Один за всех и все за одного!» Братские отношения между нами не были показухой. При школе уже тогда был интернат, в котором существовал обычай: старшие помогают младшим во всем: помогают одеваться, сопровождают в душевую, проверяют уроки, укладывают спать. В обязанность старшего входило также и занятие с подопечным физкультурой: гимнастикой, бегом,

боксом… Именно здесь я научился верховой езде.

Сначала в этой школе учились только мальчики. Когда же я поступал, она была уже смешанная.

Ныне ее возглавляет молодой, энергичный директор господин Алан Босс.

Многих родителей, отправляющих теперь детей на учебу за рубеж, интересуют особенности той или иной школы. В Эколь Нувэль, если можно говорить об особенностях, учили так, что делали из ребенка Личность — физически и духовно развивали. Хотя школьное расписание вечно: в семь — подъем, душ, физические упражнения, завтрак, учение и так далее. В мое время в эту школу дети поступали с 12 лет. Теперь принимают почти малышей или даже двадцатилетних, давая им шанс и перспективу на будущее.

Я попал в эту школу еще довольно больным мальчиком с наследственным туберкулезом. Школа сделала из меня человека физически сильного и абсолютно грамотного. Человека, который мог совершенно уверенно вступать в жизнь.

Без преувеличения скажу: мы с наслаждением следовали школьным правилам и распорядку. Все было удобно для ребенка, не навязчиво.

Удовольствие доставляла и работа в великолепно оборудованных мастерских.

Если ребенка увлекало столярное дело, то учитель делал из него профессионального столяра. Причем незаметно. Этот процесс шел естественно, как движение самой жизни.

Если интересовала история, то господин Лассер — директор интерната и преподаватель истории, давал ребенку необходимые знания. У него был огромный кабинет, увешанный картинами и датами.

Можно меня сейчас разбудить и спросить о какой-либо дате, я отвечу даже спросонок!

Словом, всем хорошим, что есть во мне, я обязан этой школе. Отношения между учителями и детьми были не то чтобы доверительными, а просто родственными, проникнутыми постоянной заботой наставников.

Сейчас, я наблюдал, дети в школе более раскованны, свободны. Что я имею в виду? Они могут покидать стены интерната. Скажем, съездить в гости, в город на дискотеку. А мы не могли оставлять территорию школы. Это был наш мир, но… нам не с кем было танцевать.

К здоровью ученика отношение — особое. Малейшее подозрение — и все педагогические и медицинские силы бросались на ликвидацию недомогания.

В рационе питания — ничего роскошного, но было то, что дает здоровье, в первую очередь, швейцарские национальные продукты: сыр, масло, специальный хлеб, фрукты, соки. Дети имели два завтрака — перед занятиями и во время большой перемены. Обед — в половине первого. Позже — чай и ужин.

Свет в кабинетах старшеклассников гасился в половине десятого.

Окна были всегда раскрыты: зимой и летом.

В нас «вкладывали» здоровье! На моих глазах тощие болезненные дети превращались в здоровых парней.

Когда я заканчивал эту школу, был уже чемпионом класса по боксу.

Я находился в «железных руках» моего классного наставника и директора интерната. Этих людей — никогда не забуду. Ибо благодаря их заботам я не только выжил, но стал крепким физически и образованным интеллектуально. Гимнастикой и физическим воспитанием в школе занимался Андрэ Таппюи. Он научил меня всему тому, что закалило организм, укрепило мои мышцы, наладило нормальное дыхание, а главное, выработало несколько видов самозащиты, что очень пригодилось в моей дальнейшей жизни: я овладел приемами вольной борьбы, джиу-джитсу, боксом, рукопашным боем. К этому следует добавить верховую езду и фехтование на саблях, а также ежеквартальные стрелковые состязания.

Такая деталь: раньше, после окончания школы, выпускники продолжали образование еще в двух классах кантональной гимназии. Сейчас — всё здесь.

Школа, конечно, расширилась. Штат преподавателей увеличился. Если скажу, что их 50, цифра, думаю, окажется неточной.

Преподаватели интерната с детьми — круглосуточно: помогают делать уроки, организуют отдых, следят за питанием.

Выпускники школы получают степень бакалавра. Им также может быть вручен аттестат международного класса (после углубленного изучения французского или английского языков).

Ну и, возвращаясь к вопросу физической культуры, скажу, что в традициях школы остались спортивные праздники горных лыж, скоростных санок, большого тенниса.

Прекрасно организуются для детей каникулы. Есть специальный дом, где ребята отдыхают, проводят рождественские и пасхальные каникулы.

Комната в здании интерната, куда меня определили, имела одно огромное окно и четыре кровати. Возле каждой стоял ночной столик. У стены на столе — большой таз с кувшином

воды.

Честно говоря, я до сих пор не могу понять, зачем этот кувшин был нужен? Утром мы принимали душ сразу же после подъема и вечером — перед сном. Дневное омовение рук проходило в нижних туалетных комнатах перед каждым приемом пищи.

Однажды я не удержался и все-таки спросил у господина Лассэра:

— Зачем в моей комнате стоят таз с кувшином?

Он ответил:

— Чтобы ты всегда помнил о чистоте своего тела, своих рук, а, возможно, и своих мыслей. Ибо у честного человека — они всегда чистые.

Это пригодилось мне в жизни!

Но дети есть дети! Озорничали и в мою пору… Расскажу об одном случае. В моем классе учился внук Президента Швейцарской Республики — господина Гюстава Одора, — Фернан Трамбле. Он чувствовал себя хозяином положения и давал всем подзатыльники.

Но я его предупредил: «Ты — из Женевы, а я — из Ростова-на-Дону. Если меня тронешь, — разобью тебе рожу!»

А незадолго до упомянутого случая дедушка Виктор подарил мне круглые карманные часы. Очень гордый подарком, я — надо или не надо — всем показывал, «который час». Подарок сей я получил за хорошие отметки.

И вот — большая перемена. Мы перекусили. Я стою в холле с одноклассниками и кому-то показываю, который час. В этот момент вдруг… получаю подзатыльник.

Забыв, что у меня в руке часы, я разворачиваюсь и… р-раз! — разбиваю нос Фернану Трамбле. Он падает и кричит: «Я сдаюсь!»

Если говорят «сдаюсь» — больше бить нельзя. Однако часы — тоже вдребезги!..

Случилось это в пятницу, а в субботу я должен ехать в Делемон к родным.

И вот: ужин у родственников. Сижу, не поднимая глаз: часов нет! Можете представить мое состояние?! Дедушка Виктор заметил, что я не в своей тарелке:

— Что случилось? Говори, что?!

Я с трепетом в голосе рассказал о происшествии: о мальчике, который всем дает подзатыльники, о том, что я его предупреждал и, наконец, — о его разбитом носе и испорченных часах.

Дедушка Виктор встал и строго спросил:

— Ты посмел разбить физиономию внуку нашего Президента?!

— Да, дедушка… но я же его предупреждал!

— Ты хорошо сделал, — констатировал Виктор, меняя интонацию, и… подарил мне новые часы, на этот раз — золотые.

И хотя многих выпускников Эколь Нувэль судьба разметала по свету, спустя многие годы мы встретились, забыв обиды, помня лишь то светлое, что объединяло нас в этой чудесной школе.

К сожалению, друзья ушли в мир иной… В моем московском архиве осталась масса писем и фотографий периода «потепления» после Второй мировой войны… Уже не стало моего самого близкого друга — вице-президента Международного Красного Креста Фредерика Сиордэ. Но с его дочерьми и внуками меня и мою жену — Елену Черняк — связывают самые теплые отношения.

Не могу не вспомнить Гаро Айвазяна — ставшего главным антикваром Женевы; Георгия Киркова — впоследствии посла Болгарии в разных странах; Ренэ Барбэ — главного архитектора Женевы; Фернана Трамбле — представителя в Швейцарии ряда американских банков; Ренэ Тюретени — управлявшего имением экс-вице-мэра Женевы Микели. Его дочь — Симон Моор — тележурналистка (муж Симон — талантливый фотохудожник Жан Моор). Она не раз бывала в Советском Союзе, ее репортажи своей объективностью не нравились нашему руководству.

Кроме меня, в комнате жили еще три мальчика — почти мои однолетки.

У левой стены спал Константин Гратцос — грек с острова Итаки. Его отец — судовладелец — проживал с семьей на родине.

Справа от двери стояла кровать сына гофмейстера Бельгийского двора молодого графа Анри, фамилия коего была д'Аск.

Слева от двери спал Эмиль Гола — мальчик с острова Мадагаскара.

Мы сразу образовали «тройственный союз»: Гола, Гратцос и я. Анри д'Аск был слишком нежной особой, чтобы участвовать в наших спортивных и физических упражнениях.

Максимум, к чему прикасались его тонкие аристократические руки, — была теннисная ракетка.

Но уборку комнаты, наведение в ней порядка — стерильной чистоты — граф выполнял в свою очередь, как и каждый из нас. Именно на нем мы проверяли чистоту пола: брали графа за ноги и провозили от окна к двери. Если на белоснежных графских панталонах не оказывалось ни пылинки, значит, уборка была проведена хорошо.

Нас троих, объединенных любовью к спорту и физическим упражнениям, в школе прозвали «тремя дикарями».

Летом мы втроем всегда выступали на стороне одной из команд, соревнующихся в любых спортивных состязаниях, а зимой — сами составляли команду бобслея (управляемых санок).

И когда мы летели с горы по узкой дорожке, носящей название «Ла фоветт» и ведущей к трамвайной остановке у моста Шаи, мы горланили по-французски свой гимн «трех дикарей»:

Ну сом лей труа соваже,
Э ла мэм тан — де жан д'онёр!
Па де борно ни дё риважё
А нотр соваж ордёр!

Мы — трое дикарей,
Одновременно — люди чести!
Нет предела и размера
Нашей дикой страсти!

Следующая строфа начиналась так: «Мы — все трое — братья», а кончалась строкой: «Жизнь нам не дорога!» («Ла вий пур ну не па шер!»)

Совместное пребывание в школе и в интернате сделало нас действительно братьями.

Окончив школу, мы расстались. Дальнейших судеб Д'Аска и Гола я не знаю.

Через сорок шесть лет (!) меня разыскал (с помощью греческого посольства) Константин Гратцос. Мы встретились с ним на празднике бывших учеников Эколь Нувэль в Швейцарии.

Парадокс заключается в том, что после этой встречи мы уже не расставались вплоть до печального дня смерти Кости.

В интернате он был самым близким моим другом. Мы делились всем, чем возможно. Я — тем, что привозил еженедельно из Монтрё, где жили тетя, дядя и бабушка Вера, а Костя — лучшим из посылок, получаемых им из далекой Греции по случаю, ибо война нарушила все связи и коммуникации.

Но одно событие из истории нашей дружбы я хочу подчеркнуть особо.

Надзирателем этажа был строгий господин Пошон. Он скрупулезно следил за идеальным состоянием наших комнат, нашего вида и исполнением нами всех школьных и бытовых обязанностей.

А над моим дорогим Костей висело какое-то проклятие: не было случая, чтобы при малейшей возможности он не разбил бы оконного или дверного стекла: будь то в здании школы или в интернате.

Надо сказать, что господин Пошон соблюдал железное правило: по любому нарушению у него имелись для провинившегося три наказания.

На первый раз — виновный лишался сладкого за обедом, на второй — субботне-воскресного отпуска к родителям или в гости к друзьям, а на третий можно было схлопотать и по физиономии (в лучшем случае — по затылку).

Костя умудрился дважды разбить стекло в окне нашей комнаты.

Зимой 1916 года, когда мы трое уже лежали под теплыми одеялами, а Костя еще сидел на своей кровати, я попросил его чуточку раздвинуть жалюзи (спали мы при открытых окнах).

Костя встал и, выполняя мою просьбу, локтем разбил стекло.

Я вскочил, и в это время дверь открылась: в комнату вошел господин Пошон. Очевидно, ему было все ясно, так как смотрел он на Костю:

— Ага, значит, это ты, Гратцос, в третий раз разбил стекло?!

Костя не успел открыть рот, как я решительно произнес:

— Нет, месье Пошон, стекло разбил я!

Пошон покинул комнату со словами:

— М-м-да… тебе повезло, Гратцос! Быстро оба в постель!

После паузы, уже лежа в кровати, Костя громко сказал:

— Ты, Оня, спас мою честь: он не разбил мне рожу! С этой минуты я считаю тебя своим братом. И это — на всю жизнь!

Впоследствии он оправдал эти слова.

Перед возвращением на родину

Теперь обращаюсь к нарушенной мною хронологии своих воспоминаний.

Оставил я швейцарскую школу в 1918 году. Расставание с ней было тяжелым. Особенно с моим подопечным — Дони Донегалем — юным британским лордом.

Я уехал в Париж поступать в Политехнический институт.

Шла Первая мировая война, но высшие учебные заведения работали.

Кроме того, в Париже жили многие друзья моей семьи.

Но не желание продолжать образование тянуло меня — бакалавра — во французскую столицу. Я решил вступить добровольцем в Русский Экспедиционный корпус, сражавшийся под командованием генерала Лохвицкого.

Все русские студенты, находившиеся во Франции, должны были так или иначе проходить военную службу.

В России уже произошла Октябрьская революция.

Русский Экспедиционный корпус вышел из Владивостока и, проплыв вокруг всей Земли, прибыл в Марсель. Этот корпус участвовал в боях в Шампани и в районе крепости Верден — знаменитом месте, которое называлось «Шман дё дам» («Дорога дам»). Много русских солдат полегло на французских полях сражений…

Они — русские солдаты — сражались после Февральской революции, сражались за Родину и после революции Октябрьской.

Русские солдаты стояли на «Дороге дам» — перед крепостью Верден — возле фортов Дуомон и Во.

Я стал связистом-переводчиком: между русскими и французами…

Шли сильные бои. Воспоминанием о тех боях сохранилась отметина на моем лбу от осколка, пробившего каску.

За одну операцию, когда — под огнем противника — я все-таки доставил сообщение по назначению, Георгиевская Дума корпуса представила меня к солдатскому ордену Святого Георгия.

За разрешением на его получение я должен был явиться лично к генералу Лохвицкому.

Командир корпуса сидел в своем кабинете: штаб размещался в домике небольшого французского селения. Несмотря на то что в России произошла революция, над генеральским креслом по-прежнему висел портрет государя императора — Николая II.

Когда я представился и сообщил о цели своего прибытия,

Лохвицкий усмехнулся и сказал:

— За каждый Георгиевский крест, выданный еврею, я отвечаю перед Богом, царем и обществом. Кру-угом!

Поверьте, дорогие читатели этой книги, написанной почти восемьдесят (!) лет спустя, что и ныне некоторые власти предержащие на моей Родине, которой я отдал всю свою жизнь, мыслят все так же…

Мне не просто горько, мне *стыдно* за сограждан, упорно возвращающихся ко временам средневековья!

Я повернулся и вышел из кабинета. Доложил Георгиевской Думе о решении генерала. И так как среди Русского Экспедиционного корпуса были преображенцы, вместо Георгия Дума наградила меня Преображенским крестом. Честь — по меркам царской России — весьма высокая! А было мне неполных 18 лет…

Я получил этот крестообразный, скорее похожий на букву Х золотой знак, покрытый синей эмалью. На нем — золотое изображение распятого Христа.

Высокую награду мне пришлось через год отдать на сохранение своей тетке, поскольку, вступая в Первую Конную, украшать себя сим знаком не было возможности. За долгие годы тяжких мытарств и перипетий нашей российской жизни затерялась дорогая мне памятная вещь…

Как я уже говорил, русские солдаты сражались за Родину на французской земле. Но многие из них, воевавшие против немцев на стороне Антанты, поскольку Россия являлась частью Антанты, стали требовать отправки домой.

Требовал возвращения в Россию и мой фельдфебель — опытный воин, года на два старше меня. За это руководство корпуса отправило его в лагерь Ля Куртин.

Фельдфебеля мы любили, в складчину собирали для него посылки, которые я (как свободно говорящий по-французски) и отвозил.

Лагерь охранялся неграми — сенегальскими стрелками.

Вместе с некоторыми русскими в заключении содержались и немецкие военнопленные.

Приближался конец войны. Эти немцы — люди сравнительно пожилые — являлись последним резервом германской империи. Среди них было много интеллигентов: учителя, врачи, инженеры.

Когда я впервые подошел к воротам лагеря и увидел этих университетских профессоров, с грустью смотревших сквозь ограду, чернокожий солдат, их охранявший, шея которого была украшена ожерельем из ушей убитых немцев, спросил:

— Ты пришел посмотреть на дикарей?

Вопрос был задан на полном серьезе: он имел в виду эту немецкую интеллигенцию!

Я ответил:

— Нет. Я пришел проведать своего старшóго.

После того как я передал фельдфебелю посылку, мы с ним гуляли по лагерю. Командир учил меня жизни, говорил о своей мечте: возвращении в обновленную Россию, надеялся, что и я там скоро буду. И что Бог еще даст нам возможность когда-нибудь встретиться.

Говоря о разных национальностях своих солдат (а среди них были и армяне, и грузины, и русские) он предупреждающе заметил:

— А вам, господин вольноопределяющийся, придется, коли вернетесь, иметь дело не только с русскими: с ними вам будет легко! С малороссами — тоже. Заранее предупреждаю: с евреями будет сложнее…

— Почему?

— Беспокойная нация…

Я встретился с моим фельдфебелем в России много позже — лет через 55: это был Министр обороны Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский.

В разговоре мы коснулись тех далеких времен, и я напомнил ему о его напутствии и мнении о евреях.

Родион Яковлевич улыбнулся и сказал:

— Но ведь я же вас, Иосиф Леонидович, не обманул?..

В том, что Родион Яковлевич был прав, я убедился в Центральном Доме литераторов на очередной встрече Нового года.

Неподалеку от нас сидела семья Вайнеров во главе с папой Ефимом Григорьевичем. А за соседним столиком пировали азербайджанцы… Одному из пирующих явно приглянулась невестка (не помню уж, то ли жена Аркадия, то ли Георгия). Этот человек встал, качаясь, подошел к женщине и… запустил руку ей за пазуху!

Братья Вайнеры немедленно прореагировали, вскочив, но их отец сказал: «Ша!» Затем подошел к окну, которое находилось позади столика с азербайджанцами, и распахнул его. После этого кивнул сыновьям.

«Мальчики» схватили наглеца один — за руки, другой — за ноги, раскачали и вышвырнули во двор (благо ресторан находится на первом этаже).

— Не хочу платить за разбитое стекло, — пояснил папа Вайнер окружающим, и ужин продолжался.

Несколько дней спустя на заседании Правления писательского клуба вынесли постановление: «Лишить братьев Вайнеров права посещать ЦДЛ за хулиганство».

Я взял слово и сказал, что, если бы кто-то поступил подобным образом с моей женой, я вышвырнул бы его, не открывая окна.

Меня поддержал Константин Симонов, и Вайнеров оставили в покое.

Возвращаясь ко времени Первой мировой войны и своего в ней участия, хочу рассказать об одном эпизоде. Будучи связным при Экспедиционном корпусе, я направлялся на передовую. В тот памятный день дурное предчувствие охватило меня с утра: я прикурил третьим! Затем обнаружилось, что на шинели не хватало пуговиц: стало быть, их оставалось тринадцать! Тоже — не самое лучшее предзнаменование на войне…

Когда я очутился в траншее, раздался сигнал тревоги и рота была приведена в боевую готовность. Начался немецкий обстрел. Почувствовав сильный удар по каске, я потерял сознание.

Когда пришел в себя, первое, что увидел — это свои ноги. Они были целы. Я понял, что меня свалила не рана, а контузия. Товарищи помогли мне подняться. Когда я снял каску, обнаружил, что гребешок ее пробит осколком и часть металла вдавилась мне в лоб. Образовался кровоподтек, который я — с уважением к прошлому — ношу до сегодняшнего дня.

С тех пор не люблю, когда в помещении горят три света, не люблю прикуривать третьим: на фронте (многие соотечественники знают это по Великой Отечественной) снайпер целится по первому огоньку, затем корректирует по второму и стреляет между ними, когда появляется третий!

Русским военным атташе в Париже был граф Игнатьев.

Узнав, что я с юности увлечен морской романтикой и знаю силуэты всех боевых единиц мирового флота, он порекомендовал направить меня к Ла-Маншу для наблюдения за движением иностранных кораблей.

Я внимательно всматривался в даль, стоя на площадке маяка. Однажды мне пришлось дежурить вместе с молодым французским лейтенантом. Вдруг появился трехтрубный крейсер.

— Англичанин! — сказал лейтенант, глядя в бинокль.

— Хорошо бы… — заметил я. — К сожалению, это немец.

— Наглец! — взбеленился лейтенант. — Вы осмеливаетесь спорить с офицером флота?! Где вы видели трехтрубные немецкие крейсера?!

— Нигде. Но третья труба, похоже, деревянная или

картонная…

Я оказался прав. Лейтенант — человек чести — доложил о происшедшем по начальству.

Вскоре меня вызвал Лохвицкий и предложил вернуться в Швейцарию — доучиваться.

Итак, я вновь оказался в Швейцарии зимой 1918 года. Было время зимних каникул, и я, окончивший первый семестр парижского института и вкусивший уже «прелести» войны, с радостью предался блаженству тихой спокойной жизни. Дядя Леон Хельг взял меня покататься на горных лыжах к Мон Серван. В тот год в Европе свирепствовал грипп-«испанка», косивший людей, часто со смертельным исходом. И вот мой дядька «подхватывает» эту болезнь.

Здесь-то пригодилось физическое воспитание Эколь Нувэль: гимнастика; бокс; конный спорт; массаж на столе, покрытом сукном, и выбрасывание голого мальчишки в снег, а затем — снова массаж, при котором от тела шел пар; сон круглый год с открытыми окнами. Мне пришлось на плечах нести довольно плотную и тяжелую ношу с горной вершины вниз…

К тому же времени относится случай со спасением годовалого двоюродного братца Жан-Рока.

Это случилось в Монтрё. Все были дома. Возможно, у меня более обостренное обоняние и, конечно, лучшая, чем у остальных, быстрота реакции: я почувствовал запах гари и… кинулся в детскую. Вероятно, от дуновения ветра, качнулась лампадка и загорелся балдахин над колыбелью младенца…

Я выхватил мальчика из пылающей люльки, опалив себе лицо (по сей день у меня нет бровей).

Пожар был быстро потушен, но взволнованная тетя Нюся, обращаясь к своему супругу, сказала (думая, что я этого не слышу):

— Леон, надо дать Оне хоть пару франков. Пусть сходит в кино с девушкой!

— Почему? — хладнокровно вопросил мой швейцарский дядя.

— Ты еще спрашиваешь?! Ведь Оня сегодня спас нашего сына!!!

— Будь я на его месте, сделал бы то же самое, — твердо произнес Леон.

Денег на кино в тот раз я так и не получил.

Несколько позже расскажу, как я встречался с В. И. Лениным в этой нейтральной стране. Сейчас же хочу вспомнить отъезд

Владимира Ильича и сопровождавших его революционеров из Цюриха.

Для меня это событие примечательно лишь тем, что с вокзала мы с Юрой Кирковым и Колей Гопенко зашли в пивную. Сели за отдельный столик, заказали себе пиво…

Вдруг ко мне подходит здоровенный детина-немец и с вызовом говорит:

— Вы непристойно пристально рассматриваете мою даму! Бросаю вам вызов.

— Какую даму? — не понял я.

— Ах, значит, я вру?! — кричит немец и вытаскивает нож, приглашая меня к драке.

— Иосиф, ты видишь друзей «боша»: у них щеки помечены шрамами. А этот еще только мечтает об отметине…

— На ножах я с тобой драться не собираюсь, — говорю я. — И в заведении бить тебя не стану. Выйдем на улицу, и ты увидишь, как я тебе разобью нос!

Разбитый нос юного вояку явно не устраивал, и, обзывая меня трусом, он отправился к своей компании.

Мы же, допив пиво, спокойно покинули кабачок, а затем — и Цюрих, направляясь домой.

Принимая во внимание еще не кончившуюся войну, нейтральная Швейцария все же провела мобилизацию всех военнообязанных. В этой связи я вспомнил два эпизода. Один относится к году 1918-му.

Соседка по Монтрё провожала на военные сборы сына — знакомого мне парня. И напутствовала его:

— Будь храбрым, как подобает швейцарцу, сынок! Но… если что начнется, старайся побыстрее вернуться домой!

А в 1911 году я с тетей Нюсей и знатными дамами из Швейцарии был на маневрах, которые проводились швейцарцами и на которых присутствовал прусский король.

Раздалась команда: «Залп!». Все пули попали в «яблочко» мишеней.

Такая меткость несколько раздосадовала Вильгельма II. И он иронически спросил командующего швейцарскими войсками:

— Ваше войско малочисленно, что вы станете делать, если я выставлю против вас вдвое большую силу?!

Швейцарец поклонился и произнес:

— Ваше величество, в этом случае я вынужден буду приказать своим воинам выстрелить по два раза…

Эти маневры запомнились мне еще и тем, что баронесса Дисбах доверила мне подержать своего новорожденного ребенка и он… описал мой мундир!

Когда я, спустя полвека, на собрании офицеров Женевы вспомнил этот случай, раздались возгласы:

— Жозеф! Предъяви Дисбахам счет сейчас!

На что последовала скептическая реплика одного из офицеров:

— Нет смысла. Я знаю эту семью, единственное, что они сделают, — оплатят костюмчик одиннадцатилетнего мальчика…

Снова нарушу хронологию. Была ночь под Новый, 1918 год…

Зима тогда выдалась холодная, что довольно редко для тех мест. Белый ковер покрыл и горы, и даже кое-где берег, доходя до самой воды Женевского озера.

В ту пору Рождественские две недели я проводил в местечке Кларан над Монтрё.

Встречать Новый год был приглашен к моей знакомой девушке Жаннет. А она жила в деревне Шаи над Клараном. Ходу от нас до нее было минут двадцать пять, и я отправился в путь, держа в кармане мой скромный подарок — крошечный флакончик духов «Сердце Жаннеты».

В Швейцарии собираются на встречу этого ежегодного праздника сравнительно рано — к девяти вечера, чтобы в полночь проводить старый, встретить Новый год и разойтись по домам.

Жаннет ждала меня у калитки. Я тут же вручил ей подарок и хотел — с поцелуем — поздравить, но девушка коротко бросила:

— Потом! Сейчас надо спуститься за доктором Фреем: у мамы сильный сердечный приступ! Идем!!!

Мы быстро двинулись вниз, к озеру Сначала шли молча. Проходя мимо двухэтажного домика, Жаннет вдруг сказала:

— А ты знаешь, кто здесь жил совсем недавно?

— Конечно, знаю, — ответил я. — Господин Ленин.

— Теперь он у вас на месте царя?

— Он не на месте царя, а *на своем* месте…

— Почему ты так говоришь?

— Потому что он возглавляет Россию не как наследник Николая, а как избранник народа!

Владимир Ильич и Надежда Константиновна жили недалеко от нас. Я видел их на прогулках по набережной. Однажды даже присутствовал при разговоре с ними человека удивительного… А вот и он сам — идет нам навстречу в своем плаще из толстого сукна и в широкополой шляпе.

— Здравствуйте, Николай Александрович! — сказал я по-русски.

— С Новым годом, молодые люди! — ответил он по-французски.

Это был Николай Александрович Рубакин, великий библиофил, оставивший своей советской Родине бесценную библиотеку — более восьмидесяти тысяч томов.

Доктор Фрей, которого мы застали дома за приготовлениями к празднику, тут же оседлал свой велосипед с моторчиком и умчался в Шаи. А мы медленно пошли обратно.

Справа — с веранды, ведущей в сад, доносились нежные аккорды рояля.

Мы остановились, захваченные чарующими звуками вальса Шопена. Это играл Игнацы Падеревский. Я не знал тогда, что вскоре этот великий пианист оставит музыку и займет пост премьер-министра Польши в правительстве Пилсудского.

Понимая, что праздничный вечер в доме Жаннет состояться не может, я предложил девушке провести его у моих родных.

Она, конечно, отказалась: не могла оставить больную мать.

Любезно проводив меня до самой дороги, Жаннет сказала на прощанье:

— Будущую встречу Нового года мы проведем веселее! Как ты думаешь?

— Возможно. Надеюсь!

Дядя и тетя были крайне удивлены, увидев меня входящим в столовую. Реально обрадовалась моему возвращению только моя двоюродная сестричка — четырехлетняя Симон. Она искренне любила меня и уже тогда обещала выйти за меня замуж. (Мою сестричку ожидала ужасная судьба. Вначале — на глазах у деда и бабки — в Монтрё попадает под машину и гибнет ее дочь… То же — уже в Париже — случилось и с Симон.)

Но в тот новогодний вечер дядя — консерватор по убеждениям — почему-то усмехнулся и сказал:

— Сегодня ты впервые встречаешь Новый год как гражданин русской республики. Невероятно! Как они — эти мужики — посмели?!

Тогда я еще не знал, что встречу следующий — 1919 год около лагеря Ля Куртин во Франции, где находились русские солдаты, отказавшиеся после Октябрьской революции воевать и требовавшие отправить их в Россию.

Не знал я еще и того, что, будучи помкомвзвода 36-го полка 6-й Кавдивизии Первой Конной армии, встречу 1920-й в разведке: на подступах к моему родному Ростову…

Итак, окончилась Первая мировая война. Но в России шла война Гражданская.

Мои швейцарские учителя посоветовали мне вернуться на родину.

Директор Эколь Нувэль — господин Готье — сказал:

— Мы обучили тебя всему! Ты уже вполне образованный молодой человек. И, кроме знаний, еще очень хорошо работаешь руками! Сейчас в России нуждаются в таких людях!..

Еду в Россию

И я — осенью 1919 года — возвращаюсь в Россию, где не был девять лет.

Дома же: красные бились с белыми, и каждый был уверен, что именно он защищает правое дело.

Надо было выбирать, на чью сторону становиться.

Дед Прут сказал:

— Когда идет война, а тебе уже девятнадцать, дома сидеть нельзя… Если победят красные, я останусь нищим. Если победят белые, меня убьют как еврея. Езжай к моему другу — полковнику Дирину в штаб Деникина. Он человек умный, посоветует верно.

Дирин, который знал меня с детства, говорил откровенно:

— Милый Оня, казалось бы, я должен тебя агитировать за белых. Но вот уже несколько дней Днепр течет красный от еврейской крови: «Волчья сотня» генерала Шкуро устроила еврейские погромы…

Естественно, я решил взять сторону красных. И отправился им навстречу.

В деревне Кадиевка — это было 7 ноября — я снял комнату в домике. На горшке сидел двухлетний мальчик. Через 70 лет выяснилось, что тем ребенком был Дмитрий Степанович Полянский, ставший известным советским государственным деятелем.

Пришли красные, и в Кадиевке расположился их штаб. Я пошел туда. Попросил представить меня командующему.

И вот я перед самим Семеном Михайловичем Буденным! Он спросил:

— Чего ты хочешь?

— Поступить, товарищ командующий, в вашу Конную армию!

— А что умеешь делать?

— Я хорошо говорю по-французски, английски и немецки.

— На хрена нам это нужно? — сказал Буденный. — Белые говорят по-русски!

— Но я хорошо езжу верхом!

— Чего-чего?!

— Хорошо езжу верхом.

— Да? — усмехнулся командующий. — Даже мене интересно на это посмотреть. А ну-ка, выйди во двор и взлезь на эту «барышню». — Он показал на кобылу, привязанную к дереву.

Я вышел. Отвязал лошадь и поднялся в седло. Кобыла, почувствовав чужака, сразу — на дыбы, затем начала бить задом.

Но добрые уроки верховой езды, полученные в Эколь Нувэль, сделали свое дело: через пару минут лошадь шла тихим «испанским» шагом.

Буденный высунулся из окна с криком:

— Слазь, дурак! Ты мне коня спортишь!!!

Я покинул седло и вернулся в хату.

На столе лежала казачья шашка. Показывая на нее, Буденный спросил:

А что это?

— Шашка, товарищ командующий!

— Правильно. Иди в строй. Принимай взвод.

Тридцать лет спустя я обедал в Москве у Семена Михайловича. Вспоминая те времена, он сказал:

— Если б ты, Осип, тогда шашку назвал саблей, я бы выгнал тебя вон!

И все же, несмотря на ужасы Гражданской войны, временами доводилось улыбнуться.

Приняв взвод, я обнаружил… китайца! Не очень молодого, небольшого роста пулеметчика на тачанке. Разговор между нами был короткий:

— Ты — ходя? — удивленно спросил я («ходями» тогда в России называли китайцев).

— Ага! — ответил он.

— Неужели настоящий?

— Самый.

— Откуда же ты?

— С Китаю!

— А чего тогда здесь воюешь?

Он взял руки по швам и почти закричал:

— За родная Кубань!

В Полтаву мы пришли в конце декабря 1919 года.

Было это студеным зимним вечером. Сразу же заняли здание Городской управы под штаб нашей бригады. Поужинали чем Бог послал. Уже стали было готовиться ко сну — мы не спали почти трое суток. Но не получилось.

Вошел дежурный и заявил, что там, за дверью, стоит какой-то важный дед, чисто и тепло одетый.

— А чего ему надо? — спросил Григорий Федотов — начальник политотдела.

— Не могу знать! Сказал, чтоб вели его к самому главному.

— Ладно! Хай заходит! — недовольно пробурчал Федотов.

Вошел старик. Он сразу представился:

— Я — Короленко. Писатель, может, слышали? Или, возможно, читали?

— Владимир Галактионович! — я вскочил и почтительно взял старика под руку. — Какими судьбами? Почему вы здесь?

— А я, молодой человек, постоянно живу в Полтаве.

— Товарищи! — обратился я к присутствующим. — Перед вами великий…

— Ну, ну! Спокойно! — перебил меня Короленко. — Не надо так высокопарно.

— Чем можем быть полезны, Владимир Галактионович?

— Уверен, что сможете! Дело в том, что у меня две охранные грамоты: одна — от товарища Ленина, а другая — от товарища Деникина. Каждая из них освобождает мой дом от военного постоя. А тут в мою парадную дверь раздался стук. Горничная, естественно, открыла. Вошел молодой человек в матросском бушлате и головном уборе. Он не поздоровался, а спросил: «Кипяток есть?» Я ответил, что кипяток найдется. «Тогда давай, старикан! А я пока спать лягу: дюже охота». Он сел на тахту и снял сапоги. Я усмехнулся:

— Вы не можете здесь спать, потому что тут работаю я! Мой дом освобожден от постоя. Вот документ.

Но пока я все это говорил, ваш товарищ повернулся к стене, вытянул ноги и мгновенно захрапел.

Федотов встал:

— И что? Где он сейчас, этот?..

— Спит у меня в кабинете на тахте!

— Та-ак! Значит, товарищ Ленин вас освобождает, а эта сука… Пошли!

И мы тронулись за Владимиром Галактионовичем. Жил он буквально в двух шагах. Вошли в дом. В кабинете горела керосиновая лампа. На тахте, посапывая, спал матрос, укрытый шубой.

— Сам взял?! — спросил Федотов, указывая на шубу.

— Нет! Это я его укрыл, — ответил Короленко.

— Так!.. Расстрелять паразита! Я его сразу признал: Васька Греков! Из разведки.

— Ну зачем же расстреливать?! — встрепенулся Короленко. — Пусть уж выспится как следует…

— Ладно! Но только до утра. Я оставлю часовых. А там видно будёт, что мы с ним сделаем завтра.

В общем, этого матроса на следующий день привели под конвоем в штаб. Ему было объявлено уже готовое решение ревтрибунала: «Сидеть тебе в Полтавской тюрьме до конца мировой революции или пока ты, паразит, не прочитаешь и не

выучишь всего того, что написал Короленко! Чтоб знал, у кого ночевать!»

Через несколько дней мы пошли дальше, а Вася Греков остался в Полтаве отсиживать срок.

Прошло двадцать лет. Я шел в Москве по Большой Дмитровке.

Проходя мимо Дома Союзов, у подъезда Октябрьского — малого — зала увидел афишу:

«Литературный вечер. Творчество В. Г. Короленко. Лекцию читает сотрудник Литературного института Василий Греков».

Вам ясно?..

А Гражданская война все шла… Примерно месяца через три мы были уже в Одессе. Ее освободили от интервентов и белых наши войска под командованием Григория Ивановича Котовского.

Тетя Аня была еще жива, а Лёдя — теперь уже артист Леонид Утесов и муж Лены Ленской, премьерши фарсовой театральной антрепризы Адамат-Рудзевича и отец пятилетней дочери Эдит (Диты).

Встреча с близкими была радостной, но, к сожалению, очень короткой: до мирных дней было еще далеко.

Однако свою порцию смеха в этом удивительном городе я все-таки получил.

В Одессе сразу наступила мирная жизнь. Началась она с перемены времени: при белых одесситы жили по старому — царскому, а мы ввели новое — среднеевропейское: два часа разницы.

И первое, что Утесов мне показал, чтобы я улыбнулся, было объявление на дверях соседней парикмахерской. Гласило оно следующее: «Наше дело работает с девяти утра до шести вечера по-ихнему».

Одну из тогдашних утесовских «песен» я запомнил:

У мене лицо — типаж,
Шо мне стаж и монтаж?!
Без-де-лушки!
Попаду я на экран!
Крупный план!
В любой роман:
Чем я — не Пушкин?!
Пусть они попробуют, поищут!
Ведь такой, как я, — один на тыщу!
У мене лицо — типаж!
Шо мне стаж и монтаж?!

Чистый блажь!

Прошло несколько дней. Я побывал в театре, где играли Лёдя и Лена.

Лёдя был счастлив: его способности оценил новый директор и прибавил ему зарплату.

Лена порекомендовала истратить первую получку на угощение руководства театра и его ведущих актеров.

Совет был выполнен в одном из ресторанов, расположенных за городом на Фонтанах. Лёдя устроил ужин, на котором посчастливилось быть и мне.

Гости засиделись до утра и разъехались на извозчиках. А мы с Лёдей дождались первого трамвая: на конный транспорт денег уже не было.

И вот он подошел — этот желанный вагон. Мы влезли на заднюю площадку, где и остались. Уплатив за проезд, стали делиться впечатлениями о ночной встрече с друзьями.

Примерно на восьмой станции к нам присоединилась молодая работница. Она с интересом посмотрела на красавца в канотье — Лёдю и на меня, одетого в военную форму. В это время подошел кондуктор, чтобы получить с девушки за проезд. Она сунула руку в карман своего фартука, побледнела и прошептала:

— Ой! А иде ж мой кошелек?!

— Ты эти штучки брось! — отреагировал кондуктор. — Давай плати! А не то сдам тебя кому следует!

И тут Лёдя, достав последние гроши, царственным жестом протянул их кондуктору.

— Вот это другое дело! Скажи спасибо такому фраеру! — пробурчал кондуктор, дал девице билет и ушел внутрь вагона. Мы остались на задней площадке втроем. И тогда девушка посмотрела на Лёдю и сказала:

— Спасибо, конечно! Но уж если вы такой порядочный… так отдайте кошелек тоже!

Отступлю от далекого прошлого и вернусь к предвоенным сороковым годам. На берегу моря — в очередной отпуск — встретились Иван Семенович Козловский, Леонид Осипович Утесов, молодой в ту пору Аркаша Райкин и я.

Лежим на пляже. Вдруг подходит Пашка Рязанский — администратор Утесова. Бледный как смерть, он сообщает ужасную новость: ему только что позвонили из Сухуми и сообщили, что гастролирующего там комика Владимира Яковлевича Хенкина укусил тарантул и Хенкин умер.

Мы трое — Козловский, Райкин и я — вскочили, ошарашенные этим страшным сообщением. А Утесов продолжал спокойно лежать.

Козловский не сдержался:

— Лёдя, ты что, глухой?! Не слышишь, что произошло?!

— Слышу, — не двигаясь и не открывая глаз произнес Утесов.

— И никак не реагируешь?!

— Нет.

— Почему? — спросил я. — Мы знаем, что ты не любишь Хенкина, но ведь это большой актер, наш коллега и товарищ!

— Потому что это брехня.

— Ну откуда у тебя такое нахальство?! — почти закричал я. — Ведь дело произошло в Сухуми, а не здесь — в Сочи! Почему ты думаешь, что это неправда?

— Потому что — брехня.

— У тебя есть объяснение? — нервно спросил Козловский.

— Конечно.

— Какое?

Утесов спокойно произнес:

— Если б Володьку укусил тарантул, сдох бы тарантул!

К счастью, слух оказался ложным, и Владимир Яковлевич действительно был жив. А вот кусал ли его тарантул?.. Осталось тайной.

Я когда-то был женат на женщине по имени Рая. Леонид Утесов ее органически не переваривал и называл не иначе, как Райкой.

Когда я женился на моей теперешней дорогой Лене. Леонид Осипович сразу же проникся к ней большим дружеским чувством. И однажды сказал:

— Как я счастлив за Оню: раньше он был Райкин, а теперь — Ленин!

Перед нашим уходом из Одессы на Кавказский фронт повстречал я знакомого парня из оперативного отдела. Идет по Дерибасовской и хохочет.

— Ты что?

— Ой, не могу! Посмотри, что эта старая еврейка написала на справке о выезде за границу! — И протягивает мне стандартный, отпечатанный на машинке вопросник: Имя?.. Фамилия?.. Куда собираетесь выехать?.. Есть ли родственники за границей?.. Имели ли сношения с иностранцами?..

Смеющийся таможенник указывает мне на последнюю графу. Там корявым почерком карандашом написано: «Один раз, и то с греком».

В 1979 году я с Леночкой был в Париже по нашим творческим делам — готовили сценарий «Анна Ярославна». И, естественно, навестили моих родственников Розенталей.

Обедаем у Люсиль — моей троюродной сестры. Народу — много. Кроме родни — жених дочери Люсиль.

Слово за слово, и я, дабы развеселить компанию, рассказываю вышеупомянутый эпизод… Наступило неловкое молчание. Наконец, мой сосед по столу тихо сказал мне на ухо:

— Жених — грек!..

Возвращаюсь к событиям Гражданской войны.

В Баку мы пришли 28 апреля 1920 года.

Сергей Миронович Киров — член Реввоенсовета — приказал всем штабным работникам опечатать винные склады: интервенты и мусаватисты оставили огромное количество алкогольных напитков, в расчете на то, что вошедшие в город красные напьются и причинят местному населению много бед.

Меры были объявлены самые строгие: за распитие водки или вина — вплоть до высшей меры наказания.

Выполнив предельно точно свою задачу, я не удержался и для себя лично все-таки прихватил граммов двести абсолютно чистого спирта.

И он очень пригодился: в Баку тогда жили чудесные люди — мои добрые знакомые: Владимир Швейцер, опытный журналист, пишущий под псевдонимом Пессимист и уже в ту пору известный режиссер Театра миниатюр Давид Григорьевич Гутман.

У этих двух моих друзей имелась отличная закуска, но не было ни капли того самого…

Узнав, что я таковым располагаю, в номере гостиницы «Ориенталь», где жил Гутман, был организован ужин. Мои товарищи пригласили трех очаровательных балерин из местного оперного театра, и я поставил на стол мои разбавленные 200 граммов.

Пир начался. Не успели выпить первую рюмку за встречу и закусить, как резкий стук заставил нас вздрогнуть!..

Хозяин так быстро открыл дверь, что я даже не спрятал злополучный графин с белым напитком.

На пороге стоял местный страж порядка, а за ним два наших красноармейца с винтовками наперевес.

«Господи! — подумал я. — Пройти живым войну и так бездарно погибнуть?! Да еще в двадцать лет!..»

И, опустив голову, стал ожидать своей участи: ведь приказ Кирова был предельно точен.

Местный, очевидно старший в этой команде — уже вынимал из кобуры свой маузер. Глядя на нас, он грозно спросил:

— Пьянка? Да?!

— Нет! Нет! — залепетал Гутман. — Нет!

— Тогда бардак? Да?! — последовал не менее грозный вопрос.

— Да! Да! — радостно закричал Давид Григорьевич. — Вы же видите! — Он указал на наших дам. — Бардак!

Секундная пауза, после которой мы услышали решение нашей судьбы. Старший заявил:

— Бардак — можно.

И незваные гости ушли, а мы — были спасены.

На следующий день, счастливые, в той же компании, решили покататься на лодке по бухте.

Организатором этого маленького путешествия был все тот же Давид Григорьевич.

Он нанял шлюпку, сам сел за руль, Швейцер и я — на веслах, а наши дамы удобно расположились на корме возле рулевого.

День был чудесный. Нам наперерез шел парусник под персидским флагом, направлявшийся на юг.

Стоявшие у борта матросы кивали дамам, посылали воздушные поцелуи и — с сильным восточным акцентом — восторженно кричали:

— Женщин! Женщин! Женщин!!!

Наши дамы мило помахали соседям, и парусник, быстро удаляясь, продолжил свой путь.

На следующее утро в местной русскоязычной газете появилась статья Пессимиста. В ней повествовалось о морской прогулке. Оказалось, что в лодке нас было только трое мужчин (о дамах автор не упомянул!). А о встрече с парусником было сказано следующее: «У борта стояли персы-моряки. Видя красный флажок на корме нашей лодки, эти полурабы судорожно махали нам руками, восторженно при этом крича: “Ленин! Ленин! Ленин!”»

Еще о Баку того времени. Я решил побриться и зашел на рынке в парикмахерскую. Это был маленький шалаш, в котором помещалось одно «кресло». Оно было свободно. Я сел и показал мастеру на свои щеки. Тот понял. Взял чашечку, насыпал туда горстку мыльного порошка, внимательно посмотрел на меня, потом плюнул в чашечку и начал размешивать содержимое кисточкой.

— Эй! — не сдержался я. — Ты что? Сума сошел?! Разве нет воды?

— Отключили, — объяснил мастер. — А тебе — уважение делаем. — Он кивнул в сторону красной звездочки на моей гимнастерке. — Другим — прямо в морду плюем!

От бритья я отказался…

На какое-то время я стал одним из порученцев Сергея Мироновича Кирова. Был у него еще один порученец, который очень меня «ревновал», и он — в категорических тонах — написал командующему, что нет резона держать двух порученцев и пусть Сергей Миронович выбирает. Письмо заканчивалось фразой: «Или я, или — Прут!».

Позже я ознакомился с резолюцией Кирова. Она гласила: «Или Прут».

В 1920 году член Реввоенсовета Кавказского фронта направил меня в Москву к Наркомнацу — Сталину — с письмом.

Когда вошел в приемную, секретарши не оказалось на месте, и я постучал в дверь.

— Войдите! — раздался голос Сталина.

Я вошел, представился по-военному и передал ему в руки конверт. Не раскрывая конверта, будущий вождь всех народов поинтересовался, сыт ли я и устроился ли на ночлег.

Я поблагодарил. Ответил, что все в порядке. После этого Сталин углубился в чтение письма. Затем спросил:

— Просил ли товарищ Киров передать что-либо устно?

— Да, товарищ Народный комиссар! Тех, кто рисковал жизнью и героически боролся за освобождение Кавказа, несколько тысяч, а ВЦИК прислал только триста орденов Красного Знамени. Сергей Миронович просил вас похлопотать, чтобы наград дали больше.

— Хорошо. Передайте товарищу Кирову, что наше совместное заявление будет передано ВЦИКу. Уверен: просьбу удовлетворят. Идыте!

Я развернулся кругом и уже подошел к двери, как услышал тихое:

— Подождыте…

Я обернулся. После небольшой паузы Сталин произнес:

— Не знаю, может быть, то, что я скажу, вам пригодится в жизни… Помните: самое главное — принести пользу революции, а если какой-нибудь начальник канцелярии тебя не включит в списки, на это обижаться не надо. Вы меня поняли? Теперь — идыте.

Я запомнил это поучение на всю жизнь и впоследствии — не обижался…

В конце Гражданской войны, когда я командовал эскадроном, меня свалил свирепствовавший тогда сыпной тиф.

После выздоровления, покинул госпиталь и стал работать в Особой продовольственной комиссии Кавказского фронта. За свою грамотность занял высокую должность: стал начальником Транспортного управления (носил ромб — по теперешним временам это был чин генерал-майора) и начал печататься в армейской газете.

Первый мой — двухчастевый — фильм «Два мая» поставлен в эти же годы на Ростовской киностудии.

Запомнился эпизод, когда Сергей Миронович послал меня как знающего горы в аул Даргкох, поскольку я как-то рассказал, откуда родом мои предки… Надо было купить яблоки для раненых. Мне дали шофера и грузовик.

Приехав в Даргкох, я зашел в дом старейшины. Объяснил, что я праправнук известного и почитаемого здесь Сулеймана, сына которого русские нарекли Прутом. Рассказал о причине своего приезда и попросил продать мне машину фруктов для больных бойцов Красной Армии.

Приняли меня с почетом, накормили. Денег не взяли и нагрузили доверху грузовик целительными плодами. Я поблагодарил, сел в кабину, и мы тронулись.

Шофер, вероятно в зеркале, увидел, что происходит сзади. Кивнул мне и сказал:

— Взгляни-ка, начальник!..

Я обернулся и увидел странную картину: порог дома женщины тщательно скребли, поливая водой. А поодаль кто-то бил посуду, вероятно, ту, из которой я — «неверный», нерелигиозный — ел и тем самым осквернил ее…

В Гражданскую, да и после нее не раз мои пути пересекались с незаурядной личностью — Окой Ивановичем Городовиковым. Этот простой человек — полуграмотный калмык, но блестящий наездник — командовал кавалерийской дивизией.

Прошли годы, отгремела Гражданская, но Ока Иванович остался в армии и служил в Средней Азии.

И вот он получает командировку в Италию.

Уезжал туда из Москвы. Проводить Городовикова на вокзал пришли его бывшие подчиненные: Всеволод Вишневский и я.

Городовиков был в штатском и на наше приветствие приложил руку к… шляпе. Его спутник шепнул ему на ухо:

— Ока Иванович, вы носите сейчас штатский головной убор.

К нему не нужно прикасаться рукой и отдавать честь. В виде приветствия надо снимать шляпу.

Ока Иванович шляпу снял.

В Италии же произошли следующие события: он — крупный советский военный — был приглашен на маневры гвардейского корпуса.

В нашем посольстве Городовикова одели соответствующим образом: он был в бриджах и крагах.

Следующим этапом оказалась встреча с лошадью, которую «советскому» приготовили итальянцы. Они решили подшутить над стариком и подвели к нему почти дикого коня — совсем необъезженного жеребца.

Ока Иванович поднялся в седло, и конь тут же стал на дыбы, а затем — ударил задом. Но это отчаянное животное не предполагало, что его седок родился в седле!.. Через минуту конь подчинялся любому движению всадника и нормально прошел круг манежа.

Городовиков слез и поблагодарил итальянцев:

— Спасибо! Лошадь очень хорошая и смирная!

Когда наш военачальник появился на маневрах, он увидел рядом с итальянским королем Бенито Муссолини.

Глава итальянских фашистов подъехал к Городовикову и предложил ему представиться королю.

Ока Иванович с переводчиком направился к Виктору Эммануилу III.

Вернувшись домой, он нам рассказал об этой встрече:

— Король у них невидный — маленький, такой же, как я!

— Представьтесь его величеству! — сказал мне Муссолини.

Я отрапортовал, что являюсь командующим Среднеазиатского военного округа.

— Это где? — спросил король.

— На самом юге Советского Союза, ваше величество!

— А какой там главный город?

— Ташкент, ваше величество!

Король весь засиял:

— О! Ведь там стоял лейб-егерский батальон моего имени! Что с ним сейчас?

Я подумал: «Чего мне обижать старика?..» И сказал:

— Он до́се там стоит, ваше королевское величество!

Военные действия еще продолжались на востоке страны: там свирепствовали басмачи, разоряя кишлаки и грабя мирное население.

Меня с моими бойцами направили на борьбу с басмачеством

в Среднюю Азию: наши войска уже считались пограничными.

Грозой тех мест — на границе с Афганистаном — был Джунаид Хан, отличавшийся особой жестокостью.

Мы напали на его след, догнали басмачей и… привезли Фрунзе голову бандита.

Командарм меня вызвал и, грозно размахивая картой, закричал:

— Вы понимаете, Прут, чем это грозит?!

— А что такое? Разве не следовало ловить и убивать этого зверя-басмача?!

— Я говорю о карте! Вы же на двести километров въехали на территорию Афганистана! Может возникнуть международный конфликт! Мы с этой страной не воюем! У вас же есть карта?!

— Извините, товарищ командующий… Я — неграмотный…

Фрунзе махнул рукой:

— Победителей не судят… Идите, но впредь обучитесь грамоте и читайте карту!

Наконец, военные действия прекратились на всей территории нашей страны. Она стала советской.

Заехав к родным в Ростов и приняв непосредственное участие в опечатывании фамильного сейфа в банке, я попытался устроиться на работу.

В городе существовала биржа труда.

Я, блистая своей парадной военной формой, подхожу к окошечку и… вижу в нем бывшего младшего помощника рабочего на ссыпке у деда Прута. Этот паренек за свою нерадивость получал там немало подзатыльников. Реакция оказалась адекватной.

Наполовину высунувшись из окошечка, он закричал мне:

— Ви-и хотите получить у советской власти рабо-оту?! Вот!!! — это была уже вторая фига, которую мне преподнесла жизнь (о первой, еще не совсем родившемуся, я уже рассказал).

С той поры — ни разу в жизни — я не пытался устроиться на государственную службу.

Двадцатые годы

Приехав в Москву весной 1922 года, я становлюсь, по существу, профессиональным литератором: сотрудничаю в «Крестьянской газете», в пресс-бюро Центросоюза, в газетах «Кооперативный путь» и «Вечерняя Москва».

О чем и о ком я тогда писал? Давал отчеты о театральных спектаклях, о работах ведущих режиссеров. Познакомился со многими знаменитыми деятелями литературы и искусства.

К сожалению, о том великом времени, поре расцвета советского театра и немого кино, многое забыто… Однако попробую кое-чем с вами поделиться, дорогие читатели моих воспоминаний.

Как ни парадоксально, все это началось еще в XIX веке. Я уже писал, что моя бабушка Вера, урожденная Итина, вышла замуж за могучего человека — моего деда — Льва Аптекмана.

Сначала у них родилась моя мать, Флора.

В следующем году — у Ольги и Баграта Вахтанговых, соседей и самых близких людей моих стариков, тоже тогда молодоженов, появился на свет сын. И дали ему имя — Евгений.

А еще через шесть месяцев — у моей матери появилась сестренка Анна. Эти две девочки — Франя и Нюся, мои мама и тетя, с самых малых лет стали близкими подружками соседского мальчика Жени. Их дружба продолжалась многие годы, до момента, когда неожиданно «грянул гром»: Евгений решил покинуть родные пенаты и родительский кров, чтобы начать самостоятельную жизнь. Произошло знаменательное событие в самом начале девятисотых годов, когда лично мне уже исполнилось три месяца. Поэтому самого отъезда Жени я, естественно, не помню. Но, став постарше, неоднократно слышал разговоры мамы и тети об их переписке не то со студентом, не то с артистом — другом детства.

Переписка длилась до начала Первой мировой войны. Затем последовали разные события, и судьба разбросала бывших детей-однолеток в разные стороны и разные страны.

Демобилизовавшись и приехав в Москву, первое, что я решил сделать, это разыскать Женю. Кроме него, у меня в Москве «знакомых» не было.

Навел справку. Никакого Жени не существовало, а был Евгений Багратионович Вахтангов — художественный руководитель одной из студий великого уже в те годы Художественного театра.

Мне дали его домашний адрес. И вот, свернув в один из

переулков Арбата, поднявшись на второй этаж высокого дома, я нажал кнопку звонка. Через минуту за дверью раздался голос:

— И кто же это?

— Прут! — ответил я.

— Кого и куда прут?..

— Никого и никуда. Такая у меня фамилия.

— И кто вам нужен?

— Хозяин дома. Очевидно, вы!

— Нет. Это не он… — Дверь открылась. На пороге стоял красавец — молодой человек.

Я сказал:

— Здравствуйте, товарищ! Вы, очевидно, тоже Вахтангов?

— Нет. Я — не товарищ и не Вахтангов. Я просто — Завадский. Проходите, пожалуйста.

Пропустив меня в переднюю, этот красавчик громко закричал:

— Серго! Веди к папе!

Появился юноша лет пятнадцати. Он сразу заявил мне:

— Я — Сережа. Скоро стану Сергеем Евгеньевичем. А вы?

— Я — Оня. И уже стал Иосифом Леонидовичем. Мои мама и тетя — друзья детства твоего отца. Могу я его видеть?

— Конечно! Он будет очень рад! — И Сережа крикнул: — Папа! К тебе! От старых твоих подруг!

Вошел Евгений Багратионович. Меня сразу поразил его болезненный вид. Когда он узнал, что я сын Франи…

— И племянник Нюси! — воскликнул Вахтангов. Он обнял меня, крепко прижал к своей не очень широкой груди, повел в комнаты.

Супруга Евгения Багратионовича, гостеприимная Надежда Михайловна, напоила всех нас чудесным чаем с домашним пирогом. Я рассказал хозяевам дома и Завадскому о судьбе матери и тети, о своей собственной и о своих планах стать журналистом. Я говорил, полагая, что Юрий — родственник Вахтанговых. Однако Евгений Багратионович объяснил мне: Завадский — один из лучших артистов его театра.

— А у нас все артисты — самые лучшие! — вставил Сережа. — Вот придете к нам на спектакль — сами убедитесь!

— Этот — от скромности не умрет! — усмехнулся Вахтангов, давая сыну подзатыльник. — Ты же к театру не имеешь ни малейшего отношения! И не лезь в разговор старших!

Так я кое-что узнал о Завадском — человеке, с которым затем продружил пятьдесят пять лет.

Но мои встречи с Евгением Багратионовичем, к моей большой печали, продолжались недолго: он — уже очень больной

— умер в конце мая того же года, не дожив восемь месяцев до сорока лет.

После смерти главы семьи Вахтанговых я продолжал бывать у Надежды Михайловны и Сережи.

Этажом выше жили их близкие друзья: бывшая знаменитая драматическая артистка Маргарита Ивановна Ртищева и ее муж — поэт, писатель и драматург кино — Олег Леонидович Леонидов.

«Третий этаж» также принял меня, как родного. Я стал свидетелем необыкновенных удач моего старшего коллеги: Олег Леонидович писал сценарии для кинорежиссера Якова Александровича Протазанова, и фильмы, по ним поставленные, имели грандиозный успех.

Очень скоро я, кроме исполнения своих основных обязанностей сотрудника пресс-бюро, начал снабжать хроникальными заметками «Вечернюю Москву» и ряд других столичных газет. Моим «коньком» было освещение работы одной из центральных тогдашних кинофабрик «Межрабпом-Русь».

Информацию я получал непосредственно из первых рук — у секретаря дирекции Евгении Осиповны Яхниной, которая одновременно занималась освещением в прессе деятельности фабрики и представительствовала негласно, но фактически за дирекцию в литературном отделе этой киноорганизации.

Однако не только данная работа роднила меня с «Межрабпомом». Олег Леонидович Леонидов стал моим наставником в освоении будущей сценарной профессии.

Кроме него благосклонно относился ко мне и знаменитый режиссер Яков Александрович Протазанов.

Это они оба поощряя мою деятельность газетного репортера, постепенно вовлекли меня в кинопроизводство.

Олегу Леонидовичу я обязан всем, чего достиг в кинематографе, ибо это он сделал из меня сценариста. Его длительная и упорная возня со мной, его удивительные уроки, необыкновенные задания, которые я должен был выполнять (многочисленные варианты движения сюжета в сценарии, над которым в данный момент Олег Леонидович работал), привели к тому, что наконец мой дорогой наставник, вздохнув, сказал:

— Пора ученичества закончена! Сейчас вы уже мыслите вполне самостоятельно и можете сами двигаться дальше.

Он рекомендовал меня на «Межрабпом-Русь», где был членом сценарной коллегии. Для этой кинематографической организации я написал свой первый — в Москве — сценарий, «Сказка о зеленом золоте». Эта работа была сделана не для игрового фильма: в моем сценарии речь шла о наших лесных богатствах, о

рабочих Севера, об их титаническом труде. Фильм был поставлен режиссером-оператором Борисом Фильшиным.

Я прихожу в кино

В Ростове-на-Дону кинематограф появился с некоторым опозданием. Потому на один из первых просмотров фильма «Прибытие поезда» я попал с няней в 1908 году.

Вид мчащегося на нее с экрана «огнедышащего чудовища» так перепугал няню, что она, схватив меня за руку, потянула к выходу. Таким образом произошло мое первое знакомство с искусством, которому я отдал большую часть своей жизни.

Я упоминал, что до приезда в Москву уже был автором сценария. Назывался он «Два мая». Фильм-короткометражка поставлен в Ростове-на-Дону режиссером Александром Дмитриевичем Кошевским и его сотрудниками.

Надо сказать, что мои дорогие педагоги — О. Леонидов и Я. Протазанов — выпустили меня в свободное плавание достаточно подготовленным человеком.

Более того: были даже случаи, когда эти мэтры прислушивались к советам своего подмастерья.

Никогда не забуду момента выбора и утверждения актеров для участия в киноленте «Аэлита». Почти сразу остановившись на Юлии Ипполитовне Солнцевой — хозяйке далекой планеты, Яков Александрович долго искал достойную исполнительницу второй женской роли — рабыни Ихошки.

И я горжусь тем, что на эту роль утвердили Перегонец, которую представил Протазанову я. С задачей своей Александра Федоровна справилась блестяще!

…А почти через двадцать лет замечательная актриса, руководившая подпольной организацией в Симферопольском драматическом театре, была расстреляна фашистами за три дня до прихода в Крым наших войск.

Итак, бывая на кинофабрике почти ежедневно, я сросся с ее талантливым коллективом, что и дает мне право рассказать о нем кое-что сегодня.

Конечно, это было давно и многое ушло из памяти, но сохранилось чувство глубокого уважения к этим непревзойденным художникам, великим труженикам, верным рыцарям киноискусства.

Подлинными кудесниками производства были все: режиссеры и операторы, художники и артисты, ибо преданности своей фабрике они учились у ее основателей, у тех, кто создавал в сложнейшую революционную пору наше советское кино.

Но расскажу я вам только о тех, чьим коллегой я стал впоследствии, и только о них.

Кинофабрика акционерного общества «Межрабпом-Русь», ставшая впоследствии киностудией «Межрабпомфильм», помещалась в здании бывшего загородного кафешантана «Яр».

Мозговым центром этой кинематографической организации — началом всех ее производственных начал — был литературный отдел. В штате его сотрудников находились лучшие тогдашние сценаристы Москвы, поэтому и продукция «Межрабпома» почти всегда занимала первые места на наших экранах.

Штаб литотдела в ту далекую пору состоял из семи человек. Это были (я называю их в хронологическом, а не в алфавитном порядке): В. Туркин, О. Брик, В. Шкловский, О. Леонидов, Г. Гребнер, Н. Зархи и А. Ржешевский.

Самым старшим по возрасту был Валентин Константинович Туркин. Ему уже исполнилось сорок. Нам, молодым, он казался тогда Мафусаилом, ибо писал сценарии еще до Октябрьской революции, десятилетие которой мы вскоре готовились отмечать. Туркин был не только практиком сценарного ремесла, но и крупным его теоретиком: он читал нам лекции о законах кинодраматургии, о сложных системах логического построения сценария, о различных работах киномастеров на Западе.

Перу Гуркина принадлежали такие жемчужины кинематографической литературы, ставшие впоследствии нашумевшими фильмами, как, например, «Закройщик из Торжка», поставленный режиссером Я. Протазановым — в главной роли Игорь Ильинский в содружестве с А. Кторовым и И. Толчановым, и к тому же в окружении целого благоуханного букета артистических звезд — О. Жизнева, В. Марецкая, Л. Дейкун, С. Бирман, Е. Милютина.

Не меньшим успехом пользовалась и другая комедия В. Туркина — «Девушка с коробкой». Это была первая режиссерская работа Бориса Барнета, пригласившего на съемки Анну Стен, Владимира Фогеля, Ивана Коваль-Самборского и других талантливых артистов.

Вспоминая работы моих дорогих коллег, я, конечно, ограничиваюсь только некоторыми из них: писать обо всех фильмах, поставленных по их сценариям здесь не хватило бы места. Однако для меня незабываемой осталась великолепная экранизация «Станционного смотрителя», осуществленная В. Туркиным. На экран этот фильм с И. Москвиным в главной роли вышел под названием «Коллежский регистратор».

Несмотря на свой заслуженный авторитет, Валентин Константинович был «шефом» предельно демократичным и терпеливо выслушивал заслуженную (а зачастую и незаслуженную) критику от своих товарищей по отделу. А среди

них были люди в споре отчаянные: достаточно назвать тридцатичетырехлетнего Виктора Шкловского и Александра Ржешевского, которому вообще исполнилось только двадцать четыре года!

Осип Максимович Брик был на год моложе Туркина, но выглядел он значительно старше своего маститого коллеги.

Эрудит в области отечественной и мировой литературы, друг многих корифеев поэзии и прозы первого двадцатилетия нашего века, адвокат по профессии и мудрец по специальности, свидетель всех значительных событий этой неповторимой эпохи, Осип Максимович считал себя только рядовым солдатом лиготдельского воинства, никогда не выдвигаясь на первый план.

Но он всегда оказывался первым, когда кто-нибудь из его собратьев нуждался в конкретной помощи, дельном совете. Брик щедрой рукой раздавал темы, сюжеты, положения и даже отдельные остроумные микроскопические реплики (кино тогда было немым, диалогов — не существовало, а заменяющие их надписи в кадре должны были быть предельно лаконичными). Этот удивительный литератор оставил после себя немалое кинонаследие. Первым большим событием в сценарной биографии Брика был фильм «Два-Бульди-Два», темпераментно поставленный Львом Кулешовым.

Но мне кажется, что творческой вершиной в киножизни Осипа Максимовича стала лента режиссера Всеволода Пудовкина «Потомок Чингисхана». Этот фильм, в котором блестяще выступил артист В. Инкижинов, имел всемирный успех.

После Туркина и Брика — шли однолетки: О. Леонидов и В. Шкловский. У каждого из них за спиной уже были фронтовые годы: оба участвовали в Первой мировой и Гражданской войнах.

Если Туркин и Брик иногда отсутствовали на заседаниях, ибо первый вел курс в институте, а второй был одним из руководителей ЛЕФа, то Леонидов и Шкловский находились в помещении литотдела постоянно, поскольку эта «святая обитель» являлась единственным местом их каждодневной службы.

О Викторе Борисовиче написано много, да и он — не жалея себя — до последнего дня оставался в высоком литературном строю. Обладая исключительной памятью, Шкловский всю жизнь был «ходячей энциклопедией», «ученым советником» при дирекции студии, кто и когда бы ее ни возглавлял.

Один из руководителей «Межрабпома», Борис Федорович Малкин — до того главноначальствующий над Центропечатью — говорил: «Я не променяю все известные мне справочники по любым вопросам — на одного Шкловского!»

В общем, Шкловский настолько известный человек, что я

даже не стану перечислять все работы этого титанического труженика: о них все уже написано. В тот период Виктор Борисович работал над сценарием «Ледяного дома» по роману И. Лажечникова.

Олег Леонидов содержал дела литотдела в идеальном порядке. Кроме личного сценарного труда, он наблюдал и за движением работ своих коллег, своевременно напоминая каждому из них о сроках сдачи закрепленных за ними сценариев. У него всегда под рукой был график. И эта «надзирательность» делалась с предельной деликатностью, неназойливо, что вполне гармонировало с царящей в литотделе обстановкой. А она всецело отвечала негласному лозунгу, провозглашенному Г. Гребнером: «От вежливости еще никто никогда не умирал!»

В литотделе, несмотря на то, что все его члены были давно знакомы друг с другом и служили одной и той же музе, не было ни малейшего намека на панибратство: здесь все были друг с другом на «вы».

За время, о котором я сейчас вспоминаю, Олег Леонидов участвовал в создании таких кинокартин, как «Москва в Октябре», поставленная Б. Барнетом к десятилетию Советской власти, комедия «Кукла с миллионами». Приложил он руку к созданию сценария фильма «Дон Диего и Пелагея», где проявила себя как великая киноактриса артистка театра, волшебница сцены — Мария Михайловна Блюменталь-Тамарина.

Крупной киноработой И. Москвина — одного из лучших драматических артистов XX века — была центральная роль в фильме «Человек родился», сценарий которого написал О. Леонидов для режиссера Ю. Желябужского.

Олег Леонидович был непревзойденным мастером экранизации. Достаточно назвать «Человек из ресторана» по повести И. Шмелева и «Белый орел» по рассказу Л. Андреева «Губернатор».

Если повторить, что сценарному мастерству я учился у этого маститого высокого профессионала, который в 1929 году вывел меня на самостоятельную кинодорогу, то понятно, почему О. Леонидов мне дороже всех членов этой, такой дорогой мне, человеческой семерки.

Георгий Эдуардович Гребнер заканчивал собой пятерку «старших»: ему было 33 года. Но по стажу работы в литотделе самым старшим являлся именно он: начал в 1922 году и уже имел за спиной такие фильмы, как «Четыре и пять» — первый советский детектив (1924 г.), «Дорога к счастью» и «Кирпичики» (1925 г.).

Гребнер был певцом сценарного дела, пропагандистом его

как одного из видов высокой литературы. Георгий Эдуардович ставил сценарий в один ряд с театральной пьесой, утверждая, что «наш труд соединяет в себе все трудности прозы и драматургии, ибо надо в девяностоминутную ленту полностью уложить материал четырехактовой пьесы или многостраничного романа».

Будучи близок к такой удивительной личности, как Анатолий Васильевич Луначарский, Г. Гребнер смог привлечь нашего наркома просвещения к работе в кино, написав в соавторстве с ним два сценария: «Медвежья свадьба» и «Саламандра». Он же — бывший военный моряк — экранизировал «Разлом» Б. Лавренева.

Резким возрастным броском от первой пятерки отделялись последние двое из этой «стаи славных» — Н. Зархи и А. Ржешевский.

Натан Абрамович был уже знаменитым драматургом в 25 лет; фильмы, созданные по его сценариям, легли в основание Золотого фонда советских кинокартин немого периода. Назову, чтобы не быть голословным, лишь три из них: «Особняк Голубиных», «Мать», «Конец Санкт-Петербурга».

Литературные приемы, которыми пользовался Зархи при создании своих сценарных шедевров, давали полное право будущим критикам назвать эту пламенную неповторимую личность основателем и певцом советской реалистической кинодраматургии.

На всех заседаниях литотдела, на всех обсуждениях представленных на отзыв новых сценарных работ Натан Абрамович всегда выступал только с хорошо укрепленных позиций социалистического (напрасно сейчас обруганного!) реализма. За это он был любим Максимом Горьким, который объявил его своим полпредом в «Электробиографе»: Алексей Максимович, с трудом отвыкая от дореволюционной терминологии, кинотеатры именовал иллюзионами.

Натан Зархи проработал в литотделе сравнительно недолго: из жизни он ушел рано — ему не было и 35 лет. А сколько мог бы еще сделать этот такой неуемный, такой вечно ищущий, такой высокоталантливый человек!

О втором представителе группы «молодых» — Александре Ржешевском надо рассказать поподробнее: этот юноша с самых малых лет пытался — без посторонней помощи — найти свой путь.

Бродячий цирковой акробат, жонглер, участник Гражданской войны, юный разведчик, затем — агент ленинградского уголовного розыска, учащийся артистического вуза, актер театра и кино, отчаянный парень, ничего и никого не боявшийся, Ржешевский — всегда уверенный в себе, в своем неизменном

успехе, — решил проверить свои возможности и в области этой — такой специфической — литературы.

Он выступил на нашем общем многотематическом кинофронте как новатор сценарного дела, проповедник доселе неизвестного метода изложения литературного киноматериала. В его сценарной записи не было никаких «видимых» подробностей, описаний движения действующих лиц и окружающей их обстановки.

Ржешевский — родоначальник сценария, названного им «эмоциональным», — особого вида записи, внушающей режиссеру-постановщику те мысли и эмоции, которыми охвачен автор рукописи.

Я в свое время предложил моим коллегам назвать систему кинематографического мышления Ржешевского — «киноимпрессионизмом», ибо слово «импрессион» происходит от французского — «впечатление». Это дает возможность режиссеру создать в дальнейшем произведение уже «экспрессионистского» толка (от французского «экспрессной» — «выражение»).

И, несмотря на всю их необычайность, ни с чем не сравнимые, ни на что не похожие сценарии Александра Ржешевского нашли все же свое выражение в таких замечательных фильмах, как «В город входить нельзя» и «Очень хорошо живется».

На заседаниях литотдела бывали В. Маяковский, М. Левидов, В. Швейцер.

Слышать их выступления мне не довелось, ибо представителей прессы на такие собрания не допускали: на них обсуждались дела сугубо фабричные, сугубо производственно-личные, огласке не подлежащие. Результата таких дискуссий — официального коммюнике — мы, журналисты, терпеливо дожидались в вестибюле, пытаясь, однако, все же кое-что узнать если не у членов литотдела, то, по крайней мере, у кого-либо из «гостей». Но и те, соблюдая закон неразглашения, отделывались лишь выразительными жестами и гробовым молчанием.

Вспоминаются отдельные моменты моих посещений гостеприимного кабинета литотдела.

В полдень все там завтракали: рабочая столовая, кажется, на фабрике имелась, но она открывалась значительно позже. Поэтому члены литотдела закупали необходимое питание в ближайшей булочной и магазине «Госмолоко».

На еду каждый вносил 10 копеек — тогда этой суммы для завтрака хватало. За продуктами ходили по очереди. Зачастую к литотдельцам присоединялись и некоторые служащие соседней бухгалтерии. Счетовод Миша Тихонов (впоследствии директор

Центральной студии научно-популярных фильмов) был как-то раз дежурным и шел с кошелкой по коридору. Неожиданно он столкнулся с идущим ему навстречу председателем Правления Б. Малкиным.

— Куда это вы, Миша? — спросил глава «Межрабпома».

Тихонов растерялся и, полагая, что своим уходом в рабочее время совершает недозволенное, пробормотал:

— Иду в «Госвоенмолоко».

Малкин расхохотался. А дело в том, что в Москве имелась киноорганизация, носившая название «Госвоенкино». С тех пор — долгое время — мы звали Тихонова «Миша — Госвоенмолоко».

Однажды кроме меня к завтраку подоспел Виктор Ардов, уже известный тогда писатель-сатирик. За сыром, маслом и булками послали меня. Собрав по гривеннику с каждого, я уже было тронулся в путь, когда Ардов шепнул мне, сунув в карман крупную медную монету:

— И мне купи на пять копеек чего-нибудь.

Я точно выполнил поручение: всем — продукты, а Ардову вчерашнюю «Вечерку», поскольку он просил «чего-нибудь на пятак».

Все смеялись, и никто на такие шутки не обижался.

Однажды в гостях у литотдельцев побывали сатирики Адуев и Арго. Они зачитали эпиграммы на некоторых своих друзей. Я запомнил следующие, за абсолютную точность которых не ручаюсь:

Средь прочих киноинвалидов,
Которым теряется счет,
Бесспорно, Олег Леонидов
Имеет права на почет.
И вот ему надпись готова:
Он не был ни Гёте, ни Скриб.
Он просто зарезал Шмелева
И сам через это погиб!

Намек был на экранизацию романа Шмелева, которую сделал О. Леонидов для Я. Протазанова.

Вторая звучала так:

На улице сидит собака.
Идет Левидов — тих и мил.
Смотри, милиционер, однако,
Чтоб он ее не укусил!

Или так:

Левидов от ума большого
Стал подражать Бернарду Шоу,
Но то, что хорошо у Шоу,
То у него не *хорошоу!*

Больше всех смеялись те, коим эти стихи были посвящены. Повторяю: если было остроумно — никто тогда не обижался.

Приходил известный пародист Александр Архангельский. Он был влюблен в «оживленные рисунки» (так тогда называли мультипликацию).

Архангельский предложил создать киноленту, взяв за сценарную основу текст известной песенки «Пошел купаться Веверлей», но с его стихотворной пародией на В. Маяковского. И тут же зачитал ее:

Вы заплесневели, как какая-то Балаклея!
Чтоб вас разорвало, чтóб!
А я вам спою про товарища Веверлея
И про то, как он утоп.
Солнце палило в три тысячи дизелей,
Ставило ва-банк на какую-то сумасшедшую игру.
А в это время Веверлей из дому выполз
И затрюхал к пруду.
Оттёр запотевшие красные веки
И когда наконец дошел,
С благодушием, странным в рыжем человеке,
Вдруг пробасил: «Хорошо!»
Скинул рубаху, штаны и все прочее
И с разбегу в воду — скок!
Будьте любезны убедиться воочию,
Что голова — тяжелее ног…

Дальше не помню…

Еще один любопытный факт: Олег Леонидов поделился однажды с коллегами своей системой организации материала во время работы над сценарием.

На каждое действующее лицо у него было заведено «персональное дело».

Отсюда вырастало и обилие деталей, перечисление наиболее характерных привычек, в общем, все то, что делает персонаж особенным, объемным, индивидуальным, отличающимся от

остальных.

После обстоятельного и подробного объяснения этого метода начались стихийно возникшие прения. Брик, усмехнувшись, заметил:

— Ну и что будет? Какая польза для зрителя, если он узнает, что мой герой впервые увидел поезд в возрасте пятнадцати лет? Причем об этом ни разу не упомянуто в картине?

Натан Зархи добавил:

— Или что он любит кошек… Хотя, если любит кошек, значит, это хороший человек.

Через восемь лет, за месяц до смерти, Натан Абрамович, вспоминая этот разговор, сказал мне:

— А ведь, оказывается, Гитлер тоже любит кошек…

Я лично принял метод создания таких досье в моей дальнейшей практике. И если кто-либо из основных или второстепенных персонажей двадцати восьми художественных фильмов, поставленных по моим сценариям, публике все же запомнился — этим я обязан своему дорогому учителю, одному из «стаи славных» членов литотдела «Межрабпомфильма».

Вместе с ним — всем вам слава, мои дорогие коллеги!

На том же «Межрабпомфильме» в 1929-м была поставлена лента «Сто двадцать тысяч в год». Режиссер — родной дядя моей теперешней жены, Леночки, Григорий Черняк.

Этот немой фильм посвящался Палате мер и весов, которая боролась за точность во всем…

В задуманном мною сюжете некий инженер делал в расчете ошибку в один сантиметр, которая — в результате — оборачивалась ошибкой в 120 000 метров в год.

Фильм должен был быть комедийным, и я договорился с Игорем Ильинским, что он станет играть главную роль. Игорь тогда уже был популярным актером.

Я сдал сценарий. Получил за него огромную сумму: рублей 68 или даже 70! И на эти деньги поехал в Крым со своей приятельницей (тогда я еще не был женат!), чтобы провести там отпуск.

Гриша Черняк приступил к работе над режиссерским сценарием (фильмы в те годы делались быстро!)…

Когда я вернулся, в Большом зале Консерватории должна была состояться премьера. Этот кинотеатр носил название «Колосс».

Я пригласил на просмотр свою даму, говоря, что главную роль исполняет популярный и любимый ею актер.

Заняв оставленные нам места, я с вожделением стал ждать блаженной минуты, когда погаснет свет и появятся титры с

именем автора.

Началось действие, но Ильинский не появлялся. Вместо него на экране предстала юная Верочка Марецкая. Она играла роль инженера… Все перипетии судьбы, предназначавшиеся мною, автором, мужчине — Игорю Ильинскому — были переложены на хрупкие плечи Веры Петровны. Если по сценарию у Ильинского была невеста, то в фильме у Марецкой появлялся жених и так далее… Словом, я впервые ощутил на себе «творческое видение» режиссера! Правда, картина имела немалый успех.

Выяснилось, что Юрочка Завадский уговорил Черняка вместо Ильинского снять в этой роли свою молодую жену. Кстати, на их свадьбе я был свидетелем, и Верочка была моей дорогой подругой.

Как я ни объяснял Ильинскому, что это «происки» режиссера и Юры Завадского, а не моя вина, он сильно обиделся. В отместку в одном из первых звуковых фильмов «Механический предатель» Ильинский уговорил сценариста Сашу Андриевского и режиссера Дмитриева прохвосту и жулику по фамилии Носов изменить фамилию на Прут… Так мы шутили в те годы.

К той же поре относится постановка на «Ленфильме» картины «Огонь». Режиссером моего сценария стал Марк Донской — впоследствии классик мирового кино. Сюжет сводился к тому, что один из отсталых народов Севера в поисках огня добирается до советского культурного центра и сбрасывает с себя зависимость от шакалов-купцов, которые этот маленький народ грабили.

Ответом на призыв к добровольному содействию нашим армии и флоту — организации общества, которым впоследствии стал ОСОАВИАХИМ — явился сценарий, тоже реализованный на «Ленфильме» режиссером С. Глаголиным — «Вставайте, мертвые!»[3]

В страшные годы «ликвидации кулачества» я ездил на Дон в Епифань (местность, где некогда царь Петр I строил шлюзы для спуска флота к Азовскому морю). Был свидетелем невеселых событий, связанных с реализацией идеи социализма в деревне. Результатом творческой командировки стал фильм о крестьянском парне, не по своей вине попавшем под дурное влияние. Этот фильм 1931 года выпуска назывался «Человек из тюрьмы»: первая постановка талантливого режиссера Сергея Бартенева.

Затем были фильмы «Лес», «Для вас найдется работа»; «Приказ адмирала Нельсона»…

Кинематографом в тридцатые годы руководил товарищ

Шумяцкий, старый большевик, привыкший к партийной дисциплине и нелегальному положению. Меня он почему-то называл «Товарищ Илья» (сохранился документ, весьма интересно проливающий свет на то, как работалось над фильмом «Тринадцать»),

История эта в некотором роде драматичная. Ее Михаил Ромм довольно «мимолетно» затрагивает в своей книге…

Дело в том, что, несмотря на запрет в ту пору режиссерам писать сценарии, Михаил Ильич все-таки начал работать над сценарием «Командор» вместе с писателем Виктором Гусевым.

Тогдашний председатель Кинокомитета — Борис Захарович Шумяцкий — за это своеволие лишил Ромма права на дальнейшую режиссерскую работу в кино.

Михаил Ильич Ромм — талантливейший человек и талантливый режиссер — был очень огорчен таким решением.

Но случилось, как мне объяснил Шумяцкий, что «наверху» просмотрели зарубежный фильм «Потерянный патруль», и было спущено задание: создать фильм о наших, советских пограничниках.

Шумяцкий знал, что в двадцатые годы, сразу после окончания Гражданской, я был переведен служить в погранвойска в Среднюю Азию. Знал он и то, что я принимал участие в борьбе с басмачами, а потому сценарий предложили писать мне.

Борис Захарович внял моей категоричной просьбе разрешить Михаилу Ромму стать режиссером задуманного фильма. Без его участия работать над этой темой я отказался!..

Хочу уточнить для сегодняшнего читателя: после окончания Гражданской войны из отдельных частей Первой Конной армии были созданы кавалерийские отряды, которые в Средней Азии успешно боролись с самым страшным врагом советской власти — басмачеством. Басмачи делали все, чтобы восстановить власть бухарского эмира, не дать социализму дойти до сердец коренного населения.

Я уже упоминал о том, что со своим отрядом на 200 километров углубился в земли сопредельного государства, за что выслушал гневный нагоняй от Фрунзе.

Короче, фильм «Тринадцать» был снят. И до сих пор не сходит с экранов не только нашей страны. В парижском магазине «Космос» в отделе «Шедевры советского кино» мои друзья приобрели три моих фильма на видеокассетах. Кассеты — с французскими субтитрами (смею думать, если бы деятели Совэкспортфильма обратились к автору, то перевод диалогов на французский я сделал бы не худшим образом…). Создавались эти кассеты, естественно, без ведома и согласия автора!.. Итак,

французы мне подарили кассету «Тринадцати»; швейцарская Синематека купила у нас фильмы «Тринадцать» и «Секретарь райкома»; а в одной сопредельной стране участок границы носит название «Тринадцатой заставы»…

В тридцатые годы я переехал в Ленинград. Это время отличают как подъем советского искусства, так и начало репрессий, гонения на все прогрессивное, что порой принимало трагикомический вид.

К примеру, «чистка» сотрудников на «Ленфильме». Такие «чистки» до войны проходили повсюду.

Леонида Трауберга «вычистили» потому, что его отец в Киеве при белых был редактором журнала.

Сергея Герасимова (при матери еврейке) — за то, что отец был священником.

Михаила Блеймана спросили:

— У вашего отца в Ростове дом был?

— Ну-у, б-был, — заикаясь, ответил Блейман.

— Вы уволены!

Со мной обошлись совсем коротко. Меня даже ни о чем не спросили, а протянули постановление, в котором значилось, что я уволен с киностудии «Ленфильм» «за разложение аппарата». Дальше, в скобках, написано одно слово: «Смех!»

Уволенные — на третий день — собрались у меня, чтобы играть в покер. Около полуночи раздался звонок в дверь. Мы поняли: пришли за нами…

Но это был Адриан Иванович Пиотровский — начальник сценарного отдела студии, которого уважали и любили за его эрудицию и доброжелательность. Он вошел и сказал, что все мы вновь восстановлены на работе: «Кому-то же надо писать сценарии и ставить фильмы?!»

История той карточной игры напомнила мне два забавных эпизода, происшедших в разные годы.

С нами дружил начальник Ленинградской ЧК Николай Шпанов, который в те годы уже «баловался литературой». Был он и нашим частым партнером по карточным играм.

Опять же ночью, когда мы засиделись за преферансом, нас встревожил дверной звонок. На сей раз всех присутствовавших забрали вооруженные люди, посадили в машину и куда-то ловезли.

Так — гурьбой — и ввели нас в большой, ярко освещенный кабинет.

За огромным столом сидел Шпанов.

— Коля, что это значит?! — не скрывая возмущения, спросил я.

— А то, что я вас арестую до утра! Вы себе играете, а мне дежурить одному?! Рассаживайтесь! Надеюсь, карты захватили?

Много лет спустя кто-то из остряков сочинил о нем следующее:

Писатель Николай Шпанов
Трофейных обожал штанов
И… толстых сочинял романов
Для пополнения карманов!

Шпанов, действительно, одно время наводнил литературу своими сочинениями. Его детективные романы печатались огромными тиражами.

Второй не менее забавный случай относится к пианисту Эмилю Гилельсу.

— Ребята! Сегодня я с вами играю! — предупредил Эмиль.

— Позволь, но ведь у тебя же концерт в филармонии?! По всему городу афиши висят…

— А это уж мое дело!

К назначенному часу Гилельс был в нашей компании.

— Эмиль, но как же концерт?!

— А в нужное время — струна не выдержала! Я взял аккорд и… увы!

В такое можно было поверить: Гилельс играл столь темпераментно, что слушатели приняли «разрыв струны» как пик творческого вдохновения музыканта.

По моему сценарию на «Ленфильме» режиссер Илья Трауберг поставил картину о борьбе немецкого пролетариата против зарождающегося фашизма. Главную роль в этом фильме — «Для вас найдется работа» — великолепно сыграл чудесный актер Максим Штраух.

А с Илюшей мы настолько сдружились, что когда он женился на Оленьке Лепешинской, я эту невесомую фею от балета, многие годы блистающую своим ярчайшим талантом, на руках передал через стол жениху.

После войны, в Германии, моего друга Илью Трауберга подло отравили. Кому мог помешать этот интеллигентный и очень способный человек, так и не стало известно.

Я часто наведывался в Москву. Однажды мои старшие товарищи Олег Леонидов, Юрий Олеша и еще кое-кто… «вызвали

меня на ковер».

— Слушай, кинематограф от тебя не убежит, не пора ли, дружок, заняться более серьезным?

— Чем именно?

— Несмотря на твою молодость, у тебя уже большой жизненный опыт. Пиши-ка ты пьесу для театра!

Так, по совету близких и дорогих мне людей, я стал еще и театральным драматургом. В очень короткий срок я написал пьесу о революционном бронепоезде с весьма символическим названием «Князь Мстислав Удалой».

Если читатель заинтересуется, то в подшивках газет и журналов тех лет он обнаружит множество рецензий, в основном хвалебных, по поводу этого первого моего произведения для театра.

Владимир Иванович Немирович-Данченко, прочитав «Мстислава», сказал мне:

— Ваша пьеса обречена на успех.

Юрий Завадский

Тут я снова вернусь к Юрочке Завадскому.

Дом Леонидовых, гостеприимных, очаровательных людей, обычно был полон молодежи. Его двери оставались всегда открытыми для Юры, Сережи Вахтангова и меня.

Я часто ходил с Сережей в студию его отца. Ходил туда и после смерти Евгения Багратионовича. Мы старались попасть на спектакли, где главную роль играл наш друг — любимец Вахтангова — Юрий Завадский.

Незадолго до премьеры, придя на репетицию «Турандот» (чуть ли не генеральную), я спросил в антракте у Завадского:

— Скажи мне, Юрочка, что, кроме восторженной рецензии, я могу сделать для этого потрясающего спектакля?

— Достань, газетчик, цветных тряпок!

— Зачем?

— Для оформления сцены. Я знаю, что нужного количества Вахтангову не хватает.

И, представьте себе, я — достал! Принес Надежде Михайловне около двух килограммов этого материала, собранного по тряпочке у всех моих тогдашних знакомых и подруг женского пола.

Благодарность последовала немедленно: Евгений Багратионович — через Завадского — передал мне два пригласительных билета во второй ряд — на премьеру!

Юрию Александровичу в ту пору исполнилось уже двадцать восемь, но Калафу, которого он блистательно изображал, можно было дать максимум двадцать.

Господи! Что только он ни выделывал, этот неугомонный Юрочка! У меня создалось впечатление, что во время одного из объяснений с дамой своего сердца он прыгнул… выше своего роста! Думаю, это и покорило принцессу Турандот — несравненную Цецилию Мансурову. Такого Калафа она ждала всю свою — так тревожно начатую — жизнь.

Сейчас трудно представить, что тогда творилось в зрительном зале. Исполнителей — всех без исключения — долго не отпускали со сцены. Это был настоящий триумф, оглушительная и полная победа, к сожалению — последняя в блистательной творческой биографии Евгения Вахтангова…

Триумфальный путь артиста Завадского продолжался и на основной сцене Московского Художественного театра, где он выступал в роли Чацкого, а затем — графа Альмавивы.

У Юры была сестра, красавица Вера, рано умершая от

туберкулеза; брат Володя, серьезный ученый человек. И мать — Евгения Осиповна — ими очень гордилась, говоря иногда: «Они — в меня!» С мужем она была в разводе, и я долгое время не знал — почему.

Лишь однажды, когда мы отмечали ее день рождения и Юра потянулся за второй крошечной рюмочкой — я в это время произносил в честь именинницы тост — Евгения Осиповна не сдержалась и довольно громко пробормотала: «Папа тебе кланялся!»

Упрек явно несправедливый, ибо Юрий Александрович был начисто лишен малейшего пристрастия к спиртным напиткам. Но я все понял…

И вообще Евгения Осиповна об этом своем сыне (рядом с которым прожила всю жизнь) была не очень высокого мнения. Она искренне удивлялась его феноменальным успехам, зачастую объясняя их чистой случайностью, его удивительным везением.

Но вдруг грянула беда. Вечером у меня раздался телефонный звонок. Евгения Осиповна, чуть не плача, сообщила, что Юру сейчас увели!

— Куда увели? Кто увел? — не понял я.

— Те самые и туда, куда всех! (а уже шли 30-е годы…) — ответила старая женщина. — Помогите, если сможете!

Я (еще наивный в ту пору) попытался ее успокоить, хотя сделал это довольно неудачно:

— Дорогая, убежден, что ничего серьезного! Хотя, вы же понимаете, что-нибудь да есть! Ведь зря не забирают!.. Вы ничего не замечали в последнее время? Он вам ничего не рассказывал? Такого?.. Ну, вы понимаете…

— Да нет! Вчера вдруг заговорил о каком-то высшем мире. О каких-то новых своих друзьях — мыслителях, о мистике… В общем, не нахожу ничего предосудительного.

Я тут же обратился к моему двоюродному деду — младшему брату моей бабушки Веры, работнику Коминтерна С. Итину. Дядя Сеня дружил с прокурором Рубеном Катаняном. Выяснилось, что Юра три раза посещал собрания теософов — организации, очевидно, нелегальной.

Хлопотал не я один. КФ. Дзержинскому также обратились корифеи МХАТа.

Поэтому вскоре «поклонник таинственного», наш дорогой Юрочка — несостоявшийся адепт учения теософов — вернулся домой.

Как-то сидел я с Маяковским в кафе «Националь». В зал вошел Завадский. Я познакомил его с Владимиром Владимировичем. Юра оказался его большим поклонником.

Между ними началась оживленная беседа: Завадский отлично знал творчество поэта, сразу же прочитал два малоизвестных его стихотворения, чем удивил и порадовал автора.

Дружная беседа продолжалась, когда к нашему столику подошел тогда совсем еще юный Семен Кирсанов. Быстро сунув руку каждому из нас, он сказал Маяковскому:

— А я придумал рифму, которой мог бы вас потрясти!

— Ну давай, Сеня, тряси!

— Нет! Не скажу! Вы — украдете!

— Нахал! — покачал головой Маяковский, однако добавил: — Вот при всех говорю: не украду! Честное слово!

— Тогда ладно! — торжественно произнес Кирсанов и изрек: — «Улица — караулица!» Здорово, правда?!

Маяковский усмехнулся.

— Ну, Сенька, тебе действительно не повезло! Не успел ты еще рта раскрыть, как я уже эту рифму у тебя в тысяча девятьсот двенадцатом году украл.

Мои воспоминания о Завадском — человеке, с которым, повторяю, я продружил пятьдесят пять лет, вероятно, сумбурны: я — предельно неорганизованный, а посему пишу так, как вспоминается, без всякого временного или сюжетного порядка…

Как я уже упоминал, наступила пора, когда мои старшие товарищи — драматурги — сказали: кинематограф — это не так серьезно, как театр. Пора браться за настоящее дело… И я взялся. Первая написанная мною пьеса «Князь Мстислав Удалой» в Москве шла в трех театрах: Центральном Красной Армии, филиале Малого и в Первом Рабочем Художественном.

Завадский поставил этот спектакль в ЦТКА первым.

Я — не театральный критик. Поэтому своего мнения о режиссерском искусстве моего друга и соратника высказывать не буду. На то имеется достаточно причин. Прежде всего, о Юрии Завадском — актере и постановщике — уже много написано театроведами, а во-вторых — из собственной скромности. Объясню последнее. В Большой Советской энциклопедии сказано: *«Режиссерские успехи З.* (Завадского. — *И. П.) связаны с постановкой спектаклей “Гибель эскадры ” А. Корнейчука и “Мстислав Удалой” И. Прута на сцене ЦТКА, в которых З. сумел правдиво отобразить героическую борьбу советского народа в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны».* В энциклопедии Театральной написано: *«…Искусство З.* (Завадского. — *И. П.) достигло зрелости к сер. 30-х гг., когда выявились лучшие черты его творчества — лиризм, рождающийся в результате проникновенного раскрытия характеров современников, оптимизм восприятия жизни художником.*

Героическое, великое раскрывалось им как задушевное, органически присущее каждому человеку — спектакли "Мстислав Удалой" Прута…»

Кроме того, Юрий Александрович поставил в своей студии мою пьесу «Пятьдесят седьмая страница», а затем в Ростове-на-Дону был режиссером еще одного моего «опуса» — «Дорога на Юг» — о ленинском плане разгрома Деникина.

И наконец, уже в руководимом им Театре имени Моссовета он принимал деятельное участие в постановке «Катрин Лефевр» («Жена солдата») с Марецкой, Пляттом и Олениным в главных ролях.

Если не касаться «театральной» стороны дела, мы просто радовались нашим, к сожалению не очень частым, встречам, всегда находя что сказать друг другу. Эти теплые братские отношения мы пронесли через все препоны и преграды, стоявшие на жизненном пути.

Ставя «Мстислава», Завадский внушал актерам тему интернационализма. В нем он видел силу советского строя, союза рабочих, крестьян и интеллигенции всего нашего многонационального трудового народа.

В скромных героях Гражданской войны этот выдающийся режиссер чувствовал силу былинных богатырей. Поэтому он постоянно наставлял исполнителей:

— Играйте тех, кто вам по духу ближе: Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича, Микулу Селяниновича, Святогора!.. Или, если хотите, Дюка Степанковича, Чурилу Пленковича, Дуная Ивановича! Все они отличались воинской или трудовой доблестью, красотой, мощью, умом!..

И вдруг один молодой артист, игравший Лёньку — помощника машиниста, — с усмешкой спросил:

— Ну, а кем же мне прикажете быть в столь почетной компании?

— Соловьем-разбойником! — не удержался я.

Раздался смех. А Завадский совершенно серьезно добавил:

— Остроумно. Но не слишком ли щедро? Ему — в той компании — быть либо только Соловьем, либо — просто разбойником.

(Даже тогда уже водились и те, и другие.)

Я часто наблюдал работу Завадского и, над «чужими» пьесами.

Однажды, на репетиции «Гибели эскадры», Завадский, раздраженный тем обстоятельством, что одному из ведущих актеров никак не удавалось выполнить его режиссерское задание, вскочил и с криком «Пойду и повешусь!» — выбежал из зала.

Испуганный этим поступком начальник театра — Владимир Евгеньевич Месхетели схватил меня и Фаину Георгиевну Раневскую за руки, умоляя:

— Дорогие! Спасите его! Верните!

Не успел я отреагировать, как эта великая актриса, которая была еще и великим психологом, а к тому же отлично знала Завадского, совершенно спокойно, чуть заикаясь, проговорила:

— Не волнуйтесь! Он вернется… сам. Юрий Александрович в это время всегда посещает… туалет.

Кроме Фаины Георгиевны никто никогда не осмелился бы при Завадском произнести неприличное слово: это была исключительно ее прерогатива…

Считаю своим моральным долгом в этих «мемуарах» упомянуть о большом актере и моем дальнем родственнике.

Артист театра Моссовета (речь идет уже о послевоенном периоде) — Александр Иосифович Костомолодский был двоюродным братом моего отца: его мать — Розалия Иосифовна — родная сестра моего деда Прута.

Я не присутствовал в день премьеры возобновленного «Маскарада», но пятый его показ все-таки посмотрел.

Однажды, после очередного просмотра спектакля, ужиная с Юрием Александровичем Завадским в ресторане ВТО, поздравил его с удачей, с блестящим вторым рождением этой удивительной пьесы. И между нами произошел разговор, который, возможно, заслужит внимание будущих историков советского театра. Я обратился к Завадскому с вопросом:

— Скажи мне, Юра, какой принцип ты взял за основу, когда приступил к постановке второго варианта «Маскарада»? Какую новую творческую платформу, объясняющую твои действия, мог бы твердо зафиксировать, точно сформулировать, выразить словами? Что помогло тебе увидеть спектакль сегодня именно таким, каким увидели его мы — твои товарищи, зрители? Если не можешь ответить сразу, я — подожду!

— Да нет, почему? Могу! Я просто постарался представить себе: тридцатые годы прошлого века. Петербург. Дежурная комната офицерского собрания. Сидит у окна поручик Лермонтов, задумчивый, сосредоточенный. А задуматься ему есть над чем: как всегда, сложное душевное состояние, политические неурядицы и резкие высказывания, грозящие большими неприятностями. Хватает и творческих сомнений. Вдруг… На ум приходит только что законченная драма. И, чтобы отвлечься от мрачных дум, этот гений, еще недавний юноша, мысленно представляет себе своих героев, но — оживших: на сцене. Видит

себя, сидящего в ложе бенуара, видит, как открывается занавес, видит, как начинается первое действие. Вот, учитывая все это и представляя себе, что молодой автор косится на царскую ложу, следя за реакцией повелителя России, я и постарался вникнуть в состояние Михаила Юрьевича. Ведь это он прибавил к своим бессмертным рифмованным строчкам биение человеческих сердец, живую кровь и ощущение своего времени. Если я придумал оркестр, которого нет в действительности и которого нет в авторских ремарках, то поворот головы дирижера, смотрящего в сторону царской ложи, придумал и подсказал мне сам Лермонтов. Ибо он передоверил именно дирижеру свой страшный взгляд, говорящий государю: «М-да, ваше величество! Нелегко быть сочинителем при вашем правлении! Ох, как нелегко!»

И, как видишь, я не ошибся. Пресса единодушно отметила этот жест, блестяще выполненный Шурой. Я специально сохранил все, сказанное критиками об этом эпизоде, выписал отдельно! Вот, например, что в «Известиях» от первого марта тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года писал о нем Ираклий Андроников: *«…И с каждой новой сценой, вы все больше убеждаетесь, что дирижер — артист А. Костомолодский, великолепно исполняющий эту мало кому доступную роль — дирижирует не только оркестром, не только спектаклем. Он дирижирует судьбами лермонтовских, героев».*

— Я это помню наизусть. У меня в портфеле и другие заметки. Смотри. — И Юра передал мне тетрадь с вклеенными на ее страницы рецензиями. Я их переписал для себя:

«Литературная газета», 26.V.64 г. «Человек и его судьба». А. Солодовников.

«В спектакле “Маскарад”, заново поставленном Ю. А. Завадским в Театре им. Моссовета, есть один впечатляющий образ — дирижер. Его нет в пьесе Лермонтова, однако кажется, что, извлекая из смятенных душ героев хачатуряновскую музыку, именно дирижер властно направляет ход событий. Он стал необходимым действующим лицом.

Больше того: без него не было бы такого спектакля…»

«Театр», № 5, 1964 г. «Со сброшенной маской!» И. Вишневская.

«…А из черной оркестровой ямы страстным, трагическим, тревожным, рвущим душу вальсом Арама Хачатуряна, его музыкой дирижирует старый как мир, весь в черном, дирижер. Это новая роль в пьесе “Маскарад”, роль без слов, роль, состоящая из одной

мимики, только из жеста, только из выразительнейшего грима, роль даже не сыгранная, а прожитая перед нами актером А. Костомолодским. Но эта роль не дописана, не придумана, она сама как-то родилась изнутри пьесы Лермонтова, она — эпиграф драмы, она — ее символ, ее настроение. Что делает дирижер в спектакле? Он дирижирует музыкой. Это лишь первый пласт роли. Но в нем есть большее: это стоит перед "Маскарадом " сама жизнь, страшная, седая, трагическая, диктующая и порабощающая, и приказывающая, и жалкая. Вот дирижер чуть поворачивается в зрительный зал — и на лице его с плотно сжатыми губами разные выражения, словно разные маски. Вот — презрение, вот — отчаяние, вот — боль, вот — ненависть, вот — безразличие судьбы, вот — холод высокомерия, вот — жалость человеколюбия, вот — сожаление, вот — печаль, вот — ирония, вот — насмешка, вот — тайные скрытые горькие слезы…»

«Московская правда», 28.VI.64 г. «Встречи, которые запомнились». В. Рыжова, театральный обозреватель.

«…Яркий луч прожектора освещает дирижера А. Костомолодского. Он поднимает руку — и начинается музыка. Она возникает везде, в разных уголках театра, она не звучит только в оркестре, ибо… оркестра нет. А. Костомолодский дирижирует не оркестром и даже не музыкой: он дирижирует спектаклем, он руководит действиями героев…»

«Театральная жизнь», № 12, 1965 г. «Сражающийся Лермонтов». Дм. Зорин.

«…С его «странным» дирижером (А. Костомолодский), управляющим не только музыкой, но где-то и маскарадными рожами, имеет самую естественную земную основу».

«Театр», № 5, 1966 г. «Режиссер и Время». М. Любомудров.

«…В какие-то моменты дирижер неожиданно поворачивается в зал и смотрит на зрителя долгим суровым взглядом. И вмиг исчезает граница между залом и сценой.

В этом движении дирижера есть нечто глубоко волнующее…

Объединяются зал и гордый демонический старец. Завадский и стремился к этому единству зрителей и театра…»

— Интересно! — сказал я, закончив просмотр и прочтение отзывов прессы. — Но ни в одном из них, Юра, я не нашел твоего единомышленника, человека одного с тобой мнения об удивительном жесте — повороте головы дирижера.

— А мне и не нужны единоверцы в таком деле, как мое —

сугубо личное — понимание искусства. Сколько людей, столько и мнений, что совершенно естественно: ведь это — жизнь!

Во второй половине XX века добрых людей (я имею в виду тех, кто совершает добрые бескорыстные поступки) называют «странными».

Странным, очевидно, был и Завадский. Вот один тому пример.

Юрий Александрович с писателем Александром Воиновым состоял в самых обычных отношениях. Никакой особой дружбы между ними не наблюдалось. Просто они довольно часто одновременно отдыхали в писательском Доме творчества «Переделкино».

Я дважды приезжал туда проведать Юру. По всему чувствовалось, что тогда он был очень одинок: визитеров из столицы я у него не встречал. Навещал своего главного режиссера только уже немолодой администратор его театра.

У Саши Воинова была жена — опереточная актриса Нелли Савина. Она однажды устроила свой творческий вечер для писателей и их семей в этой дачной местности. Непосредственность ее исполнения, сердечная теплота покорили зрителей. Но чувствовалось: все, что актриса делала на сцене, она придумывала сама…

Я был в тот день в Переделкино, сидел между Юрием Александровичем и Сашей. Когда после окончания концерта Воинов спросил у мэтра его мнение, Завадский сказал:

— Все есть… кроме режиссерской руки. Савина — сценична, хороший голос…

И Юрий Александрович решил помочь Нелли. Что он и сделал, причем по собственной инициативе, вот так — вдруг — без каких-либо экстраординарных причин.

Шел 1977 год — последний год его жизни. Как-то, гуляя по дорожкам большого садового участка, Завадский спросил Воинова:

— Почему ваша жена так часто уезжает в Москву?

— Она готовится к сольному концерту.

Юрий Александрович поинтересовался программой. Саша сказал, что у Нелли будет вечер старинного романса.

Вечером Савина вернулась, и Юрий Александрович при мне спросил у нее:

— Как будет строиться программа вашего концерта?

— Как всегда — традиционно, — ответила Савина. — Ведущий объявляет номера, аккомпанирует трио: скрипка, виолончель, рояль и — отдельно — два гитариста.

— А не хотелось бы вам нарушить такое, уже набившее оскомину ведение программы? У вас нет желания принять публику не в театральном зале, а у себя в салоне?

— Дорогой Юрий Александрович, вы меня, очевидно, спутали с княгиней Волконской: это у нее был салон.

— Да, но мы с вами можем подарить зрителю особую музыкальную поэтическую атмосферу салона *наших* дней, не тревожа памяти покойной княгини.

Честно говоря, я решил, что у Юры начинаются старческие странности, которые врачи грубо называют маразмом или склерозом. И Завадский, очевидно, это почувствовал. Поэтому он перешел к конкретному:

— Скажите мне: какие у вас будут туалеты?

Савина тут же принесла свою последнюю афишу, где она в белом бальном платье кружилась среди переделкинских берез. На афише была надпись: «Я помню вальса звук прелестный…»

— Этого вполне достаточно! — решительно заявил Завадский. — Создадим романтический спектакль, фоном которого будут бессмертные мелодии и поэзия прошлого. Назовем его «Встречи и разлуки». Для этого вы, Саша, приедете за два часа до концерта. Мой администратор привезет вам кое-что из нашей постановки «Маскарада».

Так и произошло! В день концерта Н. Савиной ее муж приехал заранее в Дом культуры имени Чкалова. И, когда актриса вышла на сцену этого прекрасного камерного зала, она не удержалась и ахнула от восхищения, ибо очутилась в уютном салоне, достойном княгини Волконской. Все соответствовало той далекой эпохе: кресло, канделябры, драпировки, ковры. За столиком сидел ведущий — ныне покойный талантливый чтец Валентин Миронов. Весь концерт был объединен единым сюжетом: поэзия, которой отвечал романс.

Вечер прошел с громадным успехом. К сожалению, по состоянию здоровья Юрий Александрович не смог присутствовать и не увидел своего последнего творческого детища. Памятью остались лишь отзывы прессы да созданный под влиянием этого представления музыкально-поэтический театр «Камелия».

Его душа — Нелли Савина. К сожалению, двух ее собеседников на аллеях Переделкино — мужа и Завадского — уже нет в живых. Я был на концерте Нелли. Он длился сравнительно недолго, но впечатление оставил огромное.

Сразу же оговариваюсь: я высказываю только свое личное мнение, хотя убежден, что в зале у меня нашлось бы немало единомышленников. Я в этом твердо уверен и сейчас объясню почему.

Нелли Савина исполняла романсы. Русские. Старинные и новые.

А русский романс — к какой бы эпохе он ни относился — психологический удар огромной силы. Ибо русский романс воскрешает в тебе, слушателе, все твое прошлое, а молодым передает величие и удивительную теплоту русской души, представляет всю красоту и величие близкой тебе русской природы и облик такой простой, такой обаятельной русской женщины.

Я родился еще в XIX веке. Поэтому слышал всех первых жриц этой особой глубокой музыкальной религии.

Проникающий в сердце русский романс родился давно, навеянный русской народной песней. Чувствовались в нем иногда и чужие напевы, цыганские, например. Но основа — как языковая, так и душевная — всегда оставалась русской.

Мне выпало огромное счастье слушать великую Анастасию Дмитриевну Вяльцеву. И великую Варю Панину, а также великую Надежду Плевицкую.

Полагаю, что предшественницей этого потрясающего трио была знаменитая в свое время Вера Васильевна Зорина, рано ушедшая в лучший мир, успев только справить свое пятидесятилетие.

Недолговечны были и Вяльцева (умерла сорока двух лет), и Панина — не дожившая до сорока.

Дольше всех продержалась Плевицкая. Эмигрировав после Октября в возрасте тридцати трех лет, она еще очень долго пела за границей.

За этой великой плеядой последовали наши — советские — исполнительницы русского романса.

Знаменитая пятерка двадцатых — тридцатых годов: Екатерина Юровская, Тамара Церетели, Анна Орлова, Лидия Русланова, Изабелла Юрьева. И конечно, Надежда Обухова.

Все они до Великой Отечественной войны и после нее триумфально шествовали по нашим сценам, радуя души слушателей чистотой и задушевностью русского романса.

Потом пришла Клавдия Шульженко. И снова зазвучали удивительные напевы, проникновенные слова, призывающие нас к любви и добру, к душевной чистоте.

Все это я пишу для того, чтобы твердо заявить: сегодня законной наследницей этого великого музыкального прошлого, этих блестящих представительниц бессмертного русского напева является Нелли Савина.

Последние годы своей жизни Завадский часто простуживался.

Насморк или кашель беспокоили его постоянно. Как-то мне случайно стало известно, что в Москву приехал знаменитый сибиряк — доктор Бутейко. Встретившись с ним, я попросил его выступить со своим показательным сеансом в Центральном Доме работников искусств. Когда он дал согласие и был установлен день, я на это мероприятие пригласил Юрия Александровича. Из его носа текло, как из водосточной трубы. Познакомив с ним доктора Бутейко, я попросил, чтобы тот сегодня особое внимание уделил Завадскому.

И что вы думаете?! После двухчасовой лекции этого чудо-доктора Юрочка стал абсолютно здоровым: насморка как не бывало! На долгие месяцы Завадский избавился от столь беспокоивших его простудных заболеваний.

Не помню уж, в каком году, нас, работников искусства, собралось много на церемонии открытия нового памятника Николаю Васильевичу Гоголю на Арбатской площади (старый был перемещен в один из дворов Никитского бульвара). Когда мы с Завадским шли обратно, я не удержался и сказал:

— Мне кажется, что тот, кто сидел здесь раньше, безусловно, мог бы написать «Мертвые души».

На что Завадский ответил:

— А этот — бодренький — вряд ли их читал.

В тридцатых же годах мы провели каникулы на Украине. Наши друзья — актеры Русского драматического театра в Киеве — предложили совместную поездку для посещения чудесной местности на Днепре, расположенной в 100 километрах к югу от столицы Украины.

Из Москвы тронулись вчетвером: Ирина Сергеевна Вульф, Юрий Александрович, Павел Александрович Марков и я.

По прибытии на место нас прекрасно устроили в уютном домике у великолепной хозяйки, пятидесятилетней вдовы Матрены Гнатовны.

Утром следующего дня Ира и Павел пошли знакомиться с местностью и рынком, а Юрий Александрович вышел посидеть под окнами — на завалинке.

Я что-то записывал в комнате, возле открытого окна, и услышал такой разговор между Завадским и хозяйкой:

— Ну, раз вы вже у моей хате, так расскажите, Юрий Лександрович: хто з вас хто?

— Я — режиссер! — ответил Завадский.

— Это ж як понять?

— Режиссер — человек, который руководит всем на сцене. Вы

бывали в театре?

— Ну як же?! Була. У Полтави: смотрела «Запорожца, шо був за Дунаем»! Добре грали!

— Значит, я — режиссер: объясняю артистам, как надо двигаться, как произносить слова, как быть одетыми, и так далее…

— Ясно. А Воня хто? (Это, естественно, про меня.)

— Иосиф Леонидович — драматург. Он пишет все то, что артисты говорят и делают.

— Ага, писменник!.. Ну, а Арина Сергеевна?

— Она — артистка.

— Спивает? Може, танцует?

— Если надо, и поет, и танцует.

— Разумию. За вас — ясно. Ну, а той малый, шо вы Пашкой кличете?

— Павел Александрович — критик.

— Это чево?

— Вот Иосиф Леонидович напишет пьесу и прочтет ее труппе. Артисты, в том числе Ирина Сергеевна, выучат все наизусть. Затем я объясню артистам, как надо играть. А когда все уже будет готово, — приходит Павел Александрович, смотрит представление от начала до конца и потом говорит всем нам, что ему кажется плохо, что не годится, чему зритель не поверит…

— Стой! Значит, Осип робыть, робыть, робыть; Арина Сергеевна — робыть, робыть, робыть; вы — робыте, робыте, робыте… А Пашка прийде, гляне, да тильки каже, шо це гавно, та то — гавно, — так ему за это ще и гроши платють?!

Завадский ничего не мог ответить, не имея возможности что-либо противопоставить столь «железной» логике. Он только развел руками: очевидно, Матрена Гнатовна была права.

Не очень удачным для Юрия Александровича оказался «ростовский период», когда его направили работать в драматический театр Ростова-на-Дону. Длилось это с 1936 года до возвращения в Москву после окончания войны. Короче это была пятилетняя ссылка. Кроме того, крайне тяжело проходило объединение московской и ростовской трупп… Получился малоудобоваримый коктейль: всех «новеньких» (а фактически *старых* ростовских артистов) Завадскому приходилось «переучивать»… Но среди них были и такие, которые привыкли к *своей* манере игры, имевшей у местных зрителей огромный успех благодаря именно такому, присущему *только им,* исполнительскому мастерству (это были люди уже не молодые, вполне заслуженные — любимцы публики). Популярность корифеев была велика, и они искренне полагали, что *своей*

трактовкой ролей бесспорно помогают новому главному из столицы поднять театр на еще большую высоту. И в этом была их ошибка: произошло столкновение двух — совершенно разных — творческих систем. У Завадского ушли годы для приведения объединенной труппы к общему знаменателю.

Наконец сам Завадский, за многие лета привыкший к студийной работе, к студийным размерам зала и сцены, к шепоту, доходившему до последнего — недалекого — ряда, вошел в гигантский сарай, вмещающий более двух тысяч зрителей и к тому же с ужасающей акустикой: новое здание Ростовского драматического театра, «подарок городу» периода сталинской эпохи.

Труппа театра при слиянии со студийцами Завадского разделилась на две почти равные части. Одна — категорически не приняла метод нового главного, а вторая — во главе с прекрасным актером Григорием Леондором — всей душой отдалась во власть нового худрука, полностью ему доверяя и сбрасывая с себя груз многолетних штампов. В общем, Завадский «хлебнул» на Юге!

Я приехал в Ростов повидаться с ним в конце 1937 года, когда шла работа над выпуском, к двадцатилетию Советской власти, спектакля «Дорога на Юг». Он заканчивался апофеозом — освобождением Ростова от деникинских полчищ.

Я был автором этой пьесы, я — местный житель, я — личный друг многих участников представления: все это создавало особый порыв в актерской среде. Заняты были все корифеи объединенной труппы: главную женскую роль играла Вера Марецкая, а генерала Деникина — Григорий Леондор.

Спектакль имел шумный успех, я был счастлив, Завадский — меньше. Он все еще не мог забыть родные пенаты…

Мой театр

Тридцатые годы — с точки зрения не только моей, но и многих моих коллег — были периодом расцвета советской литературы, драматургии, кино.

Лично я называю Театр Красной Армии — своим. С ним связана моя жизнь тех десяти лет, которые значатся годами тридцатыми.

Я позволяю себе считать Театр Красной Армии моим и потому, что *семь* раз появлялось мое имя на строгой афише этого — теперь ставшего академическим — театра.

Семь моих пьес, поставленных в этом театре; количество спектаклей, сыгранных на его сцене… Пожалуй, *я, как автор, занимаю первое место.*

Центральный Театр Красной Армии явился подлинным детищем наших вооруженных сил. И я счастлив, что был участником и свидетелем его становления!

В конце 30-х или в 40-м году в Советский Союз приехал министр культуры Франции. Побывав на одном из спектаклей ЦТКА, он спросил меня:

— Что надо сделать, чтобы и в Париже появился такой театр?

Я ответил:

— Создать Красную Армию!

А с людьми, творцами этого удивительного начинания — армейского театрального коллектива — я встретился, конечно, значительно раньше.

Все началось с того, что у энтузиаста и мечтателя — режиссера Павла Ильина и композитора Александра Александрова появилась мысль о создании красноармейского хора и солдатского театра: базы, так сказать, культурного отдыха для наших воинов.

Александров и Ильин добились осуществления своих замыслов. В 1929 году Главное Политическое Управление дало команду об организации драматического театра при Центральном Доме Красной Армии — для обслуживания наших армейских частей и флота. Его начальником был назначен бригадный комиссар Леонид Борисович Орловский. Руководимый им синтетический организм поначалу включал в себя четыре компонента: драматическую труппу, театр малых форм (миниатюр), кукольный театр и ансамбль «Красноармейская песня», который и возглавил Александр Васильевич Александров, мой старый добрый знакомый.

Два года перечисленные коллективы работали вместе. Затем

отпочковалась и обрела самостоятельность драматическая труппа.

Только что родившийся в столице театр начал свою жизнь, прямо скажем, в очень небольшом помещении. Им оказался актовый зал бывшего Института благородных девиц, ныне — актовый зал Центрального Дома Российской Армии.

На маленькой эстраде, обрамленной колоннами, Павел Ильин поставил «Первую Конную» Всеволода Вишневского — моего друга и соратника по Гражданской войне. Оба мы служили в Первой Конной: я — в строю, Всеволод — на бронепоезде.

На эстраде, где в течение многих десятилетий выступали милые девочки, то бишь «благородные девицы», где они читали «Белеет парус одинокий…», на этой маленькой сцене родился будущий армейский театр.

Во главе труппы, которая формировалась очень бурно, встал выдающийся организатор театрального дела Владимир Евгеньевич Месхетели. Ему удалось привлечь к работе замечательных актеров и актрис, увлечь их своими репертуарными замыслами, зажечь в их сердцах великий творческий огонь. Владимир Евгеньевич убедил Юрия Завадского, а затем Алексея Попова возглавить художественное руководство театром. И именно эти два крупнейших мастера советской режиссуры вывели наш театр, армейский, в первый ряд именитых театров Москвы.

Я пришел, когда он существовал уже почти два года. Принес туда свою пьесу. И был счастлив, что ее поставили именно там, потому что после моего «Мстислава Удалого» в Театре Красной Армии появились такие спектакли, как «Гибель эскадры» и «Слава» Корнейчука, «Последняя жертва» Островского, мой «Год девятнадцатый», знаменитое «Укрощение строптивой» и еще многие-многие другие, принесшие нашему театру известность.

Скажу прямо: образы, которые были созданы на сцене этого театра, — незабываемы! В названных пьесах играли актеры «первого призыва» — такие, как Алексей Митрофанович Петров, Александр Евгеньевич Хохлов, Павел Иосифович Герага, Дарья Васильевна Зеркалова, Фаина Георгиевна Раневская, Александр Панкратович Хованский, Антонина Павловна Богданова, Владимир Сергеевич Благообразов, Марк Наумович Перцовский — просто всех не назовешь… Это был удивительный по тем временам коллектив. Была — воистину — героическая эпоха, можно сказать, период бурного, невиданного роста. И вот именно тогда утверждалась и развивалась военная советская драматургия.

Считаю необходимым заметить, что *метод* поиска сюжета

мне подсказал Юрий Завадский… Этим методом я пользовался всю последующую жизнь в литературе и драматургии театра и кино.

— Пиши, Оня, — сказал мне Завадский, — о том, что знаешь лучше всего! А знаешь ты лучше всего — судя по твоим рассказам — героическое прошлое нашей армии. Будь я на твоем месте, да еще таким «нафаршированным» исключительными воспоминаниями, вообще давно бы написал книгу! Одни твои рассказы о Буденном, Ворошилове, Городовикове, Апанасенко, Жлобе, Тимошенко — уже книга! Какая галерея! Какой изумительный парад героев, таких разных личностей! Вот о них и пиши. А для начала, что еще лучше — о самых рядовых бойцах, твоих непосредственных товарищах!

И я послушался Завадского. До высоких командиров мне было далеко, поэтому задумал пьесу-реквием: о моих соратниках, самых мне близких в ту тяжелую пору, о тех, кого уже нет в живых, кто отдал жизни за нашу победу. Я назвал ее «Князь Мстислав Удалой» — такая надпись была на белогвардейском бронепоезде, отбитом нами у деникинцев.

Работа спорилась. Я закончил пьесу в три месяца и первый, кому ее прочитал, был Владимир Евгеньевич Вольф, художественный руководитель Ленинградского Красного театра. Он остался доволен, похвалил меня и сказал, что будет режиссировать лично:

— Дайте нам право первой постановки, после чего везите ваше сочинение в столицу.

Что я и сделал. Встретился с Юрой, рассказал ему о цели моего приезда в Москву (в те годы я еще жил в Ленинграде, писал киносценарии для «Ленфильма», как говорил об этом выше) и предложил прочитать пьесу. Мое чтение Завадский не любил. У него были на то причины:

— У тебя, Оня, никогда не поймешь, что фактически написано, а что еще нет. Читаешь ты так, будто играешь за всех на сцене, прибавляя по настроению половину текста. А когда я, после твоего ухода, перечитываю тобой написанное, — нет ничего похожего на то, что мы слышали!.. Всеволод Вишневский — тоже такой: наверное, ты от него и заразился! Оставь мне рукопись, я прочту ее сам.

Естественно, я с трепетом ждал результата. На следующий день Юра позвонил мне в гостиницу:

— Пойдет. Я предложил Владимиру Евгеньевичу Месхетели. Если она ему понравится, то буду ставить эту твою железнодорожную историю у него в Центральном Театре Красной Армии: он там начальник.

Я никак не отреагировал на подковырку — «железнодорожную историю», тут было не до полемики и перебранки. Передо мной открывался путь театрального драматурга. И к пятнадцатилетию Советской власти 7 ноября 1932 года в Москве состоялась премьера «Мстислава».

Ленинградцам эта пьеса — чудесно поставленная Вольфом — так и не была показана: накануне премьеры здание Красного театра сгорело дотла вместе с готовыми декорациями моего первого шага на театральной сцене.

Но через два года Леонид Сергеевич Вивьен, режиссер и актер Александринки, став художественным руководителем Драматического театра Ленинградского военного округа, поставил «Князя Мстислава Удалого» на сцене Дома Красной Армии.

Главные роли исполняли: Степы Суслова — Василий Меркурьев, комиссара — Юрий Толубеев, а командира играл сам Леонид Вивьен. В спектакле были также заняты молодые Евгений Самойлов и Михаил Екатерининский. Пьеса шла там до момента перехода основных исполнителей в бывший Александринский — ныне Академический театр имени Пушкина.

Юрия Александровича Завадского и Алексея Дмитриевича Попова можно назвать людьми самого разного мироощущения, мировоззрения, миропонимания, самого полярного восприятия и отношения к искусству.

Однако, когда Попов пришел на спектакль «Мстислав Удалой», он — после окончания действия — сказал:

— Я поставил бы эту твою пьесу точно так же.

И Завадский — после просмотра моей пьесы «Год девятнадцатый», поставленной Поповым, — в точности повторил его фразу!

Для того чтобы войти в драматургию самостоятельно, вовсе не нужно «изобретать» в Баку или Новосибирске, а то и в Москве нечто уже давно изобретенное в других городах или иностранных державах, как, например, велосипед. Важны степень подготовки автора, пишущего для театра или кино, объем его знаний, образованности, элементарной начитанности — и не только в отечественной литературе.

Что крайне удивляет, так это современный авторский диапазон: от яркой вспышки, осветившей экран или театральные подмостки, до беспредельной безвкусицы, зачастую — просто пошлости… Огорчает!

В этой фразе, звучащей как приказ, было желание приобщить

меня — автора пьесы — к созданию спектакля, подчеркнуть недостаточно удачную реализацию актером режиссерских указаний, а вовсе не демонстрация собственного неумения объяснить исполнителю роли свою режиссерскую, творческую трактовку.

Как-то я рассказал Пете и Лёне Турам историю одного иностранного легиона. Они написали пьесу и попросили меня ее откорректировать. Так появился «Восточный батальон» и надпись в афише «при участии И. Прута».

А потом последовали адресованные мне стихи Александра Жарова:

Ты бы мог войти в литературу,
Я тебе бы в этом подсобил,
Если бы ты с этим грязным Туром
Смердяковщину б не разводил!

Пьеса «Пятьдесят седьмая страница» была задумана мною специально для трех актеров Студии Завадского: Марецкой, Мордвинова и Абдулова.

Юрий Александрович сразу же начинает ее репетировать. Спектакль был создан в самые короткие сроки. Он сдается Главреперткому, и… наши цензоры запрещают ее публичный показ! Мотивировка: «Вы что хотите этим сказать? Что партия ослепла?!» (Один из действующих лиц — терял зрение.)

В это же время было принято решение отправить Студию Завадского в Ростов-на-Дону. (Я уже рассказал читателю, сколь тяжкой была для Юрия Александровича эта «высылка».) Делалось сие якобы для усиления тамошней драматической труппы.

Актеры Студии во главе с ее руководителем написали в Центральный Комитет партии мольбу о жизни: просьбу оставить Студию самостоятельной, не разрушать сложившийся коллектив.

В тот момент я — за то, что сделал сценарий будущего фильма «Тринадцать» (в течение тринадцати дней), — удостаиваюсь чести стать делегатом Всероссийского Стахановского совещания. Зная, что буду приглашен в Кремль, я взялся передать послание коллектива Студии высокому руководству.

В кремлевском зале я сидел в первом ряду. И, когда был объявлен перерыв, передал это заявление прямо в руки Сталину.

Увидя мой поступок, тогдашний нарком просвещения, Андрей Сергеевич Бубнов (а он в тот момент стоял в кулисе), пришел в ужас. Я же спокойно объяснил ему, что, будучи делегатом Съезда, имею, по моему разумению, полное право

обратиться с личным письмом в Президиум.

К сожалению, несмотря на мое «героическое» деяние, положительной реакции на заявление не последовало: Студию отправили в Ростов.

И вот я снова возвращаюсь к первой постановке «Мстислава Удалого».

Вместе с Завадским работал Михаил Михайлович Яншин — будущий народный артист Советского Союза, великий актер Художественного театра. Он помогал Юрию Александровичу в режиссуре спектакля. И надо сказать, что на маленькой сцене (на этой полуэстраде) было создано грандиозное театральное зрелище.

Представление потрясало зрителей тем, что Завадский и его актеры заставляли их забыть о времени, в котором они находились, полностью перенося всех сидящих в зале в незабываемую эпоху Гражданской войны.

Завадский работал с каждым актером, какое бы количество текста тому ни было отпущено, уделяя всем одинаковое внимание и одинаковое терпение.

Бывало, что работа отдельных артистов, а вернее, отдельные куски в трактовке отдельных персонажей не удовлетворяли Юрия Александровича. Он утверждал, что лишь тогда задача актера может считаться выполненной до конца, когда в его роли абсолютно отсутствуют пробелы и нет никаких, даже самых маленьких, творческих простоев. Роль должна идти на одном дыхании! Так учил он своих артистов и меня также.

Посещение репетиций дало мне многое. Если прежде я сомневался в том, что смогу написать вторую пьесу, то после уроков Завадского, после наблюдения за его работой с актерами понял, что написать вторую пьесу для этого театра и для этого режиссера — мой долг!

Репетиции приближались к той стадии, когда можно было начать думать о музыкальном оформлении пьесы. Юрий Александрович сказал мне:

— Я чувствую, спектакль получается… И боюсь тебе сказать, но мне кажется, что он получится хорошим. Меня все удовлетворяет уже в начальной стадии. Но для такого спектакля должна быть и высокого качества музыка!

Для музыкального оформления Завадский пригласил Дмитрия Кабалевского, в то время уже известного композитора. Этот человек — мудрый и строгий к своим работам — после прочтения пьесы и просмотра первых репетиций отнесся чрезвычайно требовательно к тому делу, которое ему было

поручено. Он создал не просто музыкальную иллюстрацию или сопровождение того, что происходило на сцене, нет. Кабалевский написал сюиту и назвал ее «Князь Мстислав Удалой». Это большое эпическое произведение, состоящее из нескольких частей, живет по сегодняшний день как самостоятельный музыкальный опус композитора Кабалевского периода тридцатых годов.

Я сказал бы, что не менее ответственно, чем к своей режиссерской работе, Юрий Александрович отнесся к оформлению спектакля. На сцене появилась площадка бронепоезда. Создали ее художники Андрей Гончаров и Леонид Попов. Зрителю представал подлинный бронированный вагон со всеми достоинствами и недостатками, — присущими подобным машинам того времени. И это тоже помогало воссоздавать ощущение, что зритель находится не в сегодняшнем дне, а в героической эпохе Гражданской войны.

В общем, в театральной жизни столицы появился букет, созданный из великолепных актеров, великолепных художников, прекрасного композитора и прекрасного режиссера. Сколько мне ни приходилось впоследствии сталкиваться с театрами, такое наблюдал лишь еще раз: несколько позже, когда во главе Центрального Театра Красной Армии встал Алексей Дмитриевич Попов (Юрий Александрович тогда уже руководил созданным им коллективом, который из Театра-студии Завадского стал теперешним Театром имени Моссовета).

Следующей моей работой в этом великолепном театре была пьеса «Я вас люблю» о советских героях-летчиках. Поставили ее Виктор Типот и Вениамин Пильдон — те, кто под руководством Юрия Александровича Завадского работали в ту пору в театре.

«Я вас люблю» — лирическая комедия. Музыку к ней написал возглавлявший ансамбль песни и пляски Советской Армии тогда еще молодой композитор Борис Александров.

Чтобы закончить рассказ о Юрии Завадском, напомню, как на студии «Межрабпом-Русь» готовился к съемкам фильм по роману А. Толстого «Аэлита». Было это аж в 1924 году. Я порекомендовал Завадского на роль Гора, хранителя энергии Марса. Яков Александрович Протазанов пригласил Юру в ателье. Там сделали фотографию, а затем и кинопробу. Завадский был утвержден Художественным Советом на эту роль.

Мои восторженные слова о друге услышал через год и режиссер Константин Эггерт. Он приступал к работе над воплощением сценария «Медвежья свадьба» по мотивам пьесы Луначарского. И Юрий Александрович предстал перед кинозрителями в роли красавца Ольгерда. На этом, по-моему, его

непосредственное участие в кино закончилось. В 1925 году он в первый раз женился.

Вера Петровна Марецкая родилась 31 июля 1906 года, а ушла от нас навсегда 17 августа 1978-го. Восемнадцатилетней девочкой, окончив Студию при будущем Театре имени Вахтангова, была принята в Студию под руководством Завадского, где сразу заняла ведущую роль в спектаклях репертуара коллектива.

Мать Юры — Евгения Осиповна — сердечно приняла сноху, раскрыв ей свое благородное сердце. Она сказала мне: «Кажется, наконец укротили строптивого!» Эти слова были произнесены уже в следующем году, когда у молодоженов родился сын. Назвали его в честь бабушки Евгением. В тот момент, когда пишутся эти строки, упомянутый «ребенок» сам уже дед.

У Завадского, в силу некоторых скрытых черт характера, кроме матери, не было личных близких друзей.

Когда Евгения Осиповна узнала о том, что ее сын был на вечере ВТО с Галиной Улановой, я спросил у старой дамы: какие у нее мысли по этому поводу и что это могло означать?

Она усмехнулась и ответила:

— Возможно, Юра хочет проверить свои режиссерские способности в балете. Он всегда во всем слышал музыку — от Моцарта и Чайковского до аргентинского танго. А уж экспрессия, жест, мимическое выражение — для него имеют первостепенное значение.

Когда достигаешь определенного возраста, начинается пора воспоминаний. Мы часто говорили с Завадским о нашем прошлом. Как-то коснулись его работы в ЦТКА. Юра оживился и сказал много лестного о том периоде своей творческой жизни.

Алексей Попов

Теперь хочу вспомнить другого крупнейшего режиссера, имя которого тоже связано с Театром Советской Армии.

Алексей Дмитриевич Попов прошел вахтанговскую школу и школу Театра Революции. В армейском коллективе он появился уже зрелым, мудрым человеком, режиссером с большим опытом. Но ему предстояло работать со сформировавшимся до него великолепным коллективом.

Попов повел себя так, будто бы он сам только начинает вместе с ним свою творческую деятельность.

И опытные, и начинающие актеры одинаково были обязаны посещать учебные занятия, которые шли, конечно, вне репертуарного и репетиционного времени.

Алексей Дмитриевич мне однажды сказал, что им владеет идея создания театра предельно правдивой игры. То есть театра, где правда жизни была бы выше актерского исполнения. Эту мысль он реализовал моей пьесой «Год девятнадцатый» — своей первой постановкой в Центральном Театре Красной Армии.

Пьесу я посвятил великому большевику — Сергею Мироновичу Кирову, которому дал сценическую фамилию Лукин.

В основе сюжета — реальные события: осажденная Астрахань, подпольщики, которые выезжают на работу в тыл к белогвардейцам для того, чтобы попытаться снабдить Астрахань нефтью, привести в действие заглохшие моторы наших броневиков и самолетов.

В пьесе была доля и приключенческого жанра. Сама посылка трех женщин в тыл к противнику уже являла собой, я бы сказал, специфический сюжетный прием. Но это не оттолкнуло Алексея Дмитриевича. Он, казалось бы, человек, привыкший к классическим произведениям, очень тепло отнесся к пьесе и сделал все возможное, чтобы написанный мною центральный образ и наполненная драматизмом ситуация были достаточным основанием для поиска именно правдивой игры.

Помогал режиссеру художник Ниссон Абрамович Шифрин, который ухитрился на крошечной сцене изобразить Каспийское море и баркас и даже устроить его взрыв.

Спектакль, поставленный Поповым, зрители приняли замечательно. Сейчас очевидно, что некоторые военные пьесы, реализованные на сцене этим режиссером, испытание временем не выдержали, а громкий, подчас ошеломляющий, успех, который они тогда имели, во многом объясняется характером самого времени и ни с чем не сравнимой способностью Алексея

Дмитриевича, а также тех, кто верил ему, зажечь светом истины слова, вложенные в уста исполнителей!

В общем, военная драматургия рождалась трудно, но Театр Красной Армии делал для нее все возможное: с точки зрения театрального искусства это, можно сказать, было освоением целины.

Характер развития армейской темы и самого подхода к ней довольно отчетливо проявился в работе Попова с одной из самых знаменитых довоенных пьес Николая Погодина: «Падь Серебряная» (1939 год).

Следует отметить, что Центральный Театр Красной Армии не сидел в Москве. Его бригады разъезжали по армейским частям. Был знаменательный случай, когда театр на полгода уехал на Дальний Восток. Знакомство с Дальним Востоком, создание Николаем Погодиным — талантливейшим драматургом — упомянутого произведения было важнейшей вехой в становлении ЦТКА. Актеры окунулись в саму военную жизнь. Оказавшись в воинских частях Особой Краснознаменной Дальневосточной дивизии, они дышали специфическим военным воздухом, находились на самом рубеже нашей страны. На рубеже, которому в ту пору грозила опасность со стороны недружественных нам сил. Эта поездка явилась также важным фактором для создания нравственной атмосферы в коллективе театра, поскольку проходила, как я уже сказал, в трудных условиях: в суровую зиму актеры выступали в палатках и землянках, на маленьких таежных заставах, иногда буквально перед несколькими бойцами, а подчас — перед массой во много тысяч человек, и тогда спектакль или концерт превращался в митинг. В такой обстановке рождалось творчество Алексея Дмитриевича Попова в Центральном Театре Красной Армии. Таким театром в тридцатые годы руководил он и такого великолепного руководителя получил ЦТКА!

К Алексею Дмитриевичу Попову меня как-то сразу же потянуло, хотя он не был ни моим ровесником, ни коллегой. Да и точки зрения наши в беседах о тогдашней театральной атмосфере столицы были диаметрально противоположными. Вероятно, это и сблизило нас. Алексей Дмитриевич однажды мне так прямо и сказал:

— Приятно иметь такого яростного оппонента! Значит, все-таки обладаете какими-то принципами.

— Прощаю вам эту дерзость, уважаемый Алексей Дмитриевич, поскольку не так уж давно с вами знаком. Да и дуэли теперь не в моде.

— Просто о вас хорошо отзывался Рубен![4] Поэтому…

— Симонов и я — почти однолетки…

— Да, я, очевидно, лет на восемь старше вас! Но мне с вами интересно.

— Позвольте узнать причины?

— Вы в курсе того, что творится в нашем артистическом мире. Значит, у вас может выработаться довольно редкая по теперешним временам точка зрения. А вокруг меня все говорят только о своем.

— И все же, уважаемый Алексей Дмитриевич, я хотел бы вести обсуждение затронутых вами тем в более спокойных тонах.

— Хотите сказать: более пристойно? Ладно. Но для этого надо… Как вас зовут, товарищ Прут? Ваше имя?

— Иосиф.

— А уменьшительное?

— Оня.

— Странно. Никогда такого не слыхал. Имею еще один вопрос: почему, обращаясь ко мне, вы начинаете всегда со слова «уважаемый»? Небось этого «уважаемого» приклеиваете каждому и всякому?

— Ошибаетесь. Далеко не каждому, далеко не всякому. Вас лично я уважаю за ваше умение своим решением действия пьесы взволновать меня. Именно это и вызывает мое к вам уважение.

— А что вы, собственно говоря, в этом так уж понимаете?

— Ну, все-таки кое-какая способность у меня имеется, потому такое именно впечатление у меня и создается. Если б я ошибался, вы, Алексей Дмитриевич, не были бы персоной номер один в этом театре.

— Вот-вот! Я — номер один! Значит: первый! А и то, и другое — в арифметике — изображается цифрой. И цифра сия — единица. В школе это была бы не лучшая отметка. Раньше она называлась — кол!

— Разрешите записать такую «мудрость»?

— Валяйте. Для меня уважаемыми в подлинном, а не подхалимском смысле этого слова были пока что только три близких мне человека: Станиславский, Немирович и Вахтангов. А вас я «уважаемым» пока считать не буду. Подождем! Предлагаю другое. Внимание, Оня! Так ведь вас многие зовут? С сегодняшнего дня, когда мы станем дискутировать, я буду вас называть Оней, а вы меня — Алешей! Договорились?

— Нет. Вы будете называть меня Оней — всегда. А я вас — Алексеем Дмитриевичем. В крайнем случае, только когда мы будем вдвоем, позволю сокращенное: А. Д.! Но на людях…

— Ладно.

И так всю жизнь, в театре, на собраниях, во время работы над спектаклями, он для меня был Алексеем Дмитриевичем.

О режиссере Попове все, в общем, известно: я имею в виду его послужной список и важнейшие события жизни этого огромного мастера. Многие артисты, режиссеры, композиторы и художники, с которыми он встречался, работал, делился своим мнением, давал советы, выводил «в люди» — все они, благодарные своему учителю, написали о нем самые теплые слова. Поэтому, казалось, мне добавить уже ничего не придется. Но нет! Кое-что нашлось: и в памяти, и в давних записях. Роясь в своем огромном архиве, открыв одну из папок тридцатых — сороковых годов, я обнаружил в этом далеком прошлом такое, что дало мне возможность восстановить отдельные мысли, фразы, высказывания Алексея Дмитриевича и некоторые факты его биографии. Позволю себе напомнить читателю, что А. Д. Попов родился 24 марта 1892 года, а умер 18 августа 1961-го, не дожив немного до семидесяти лет. Каково мне писать об этом, когда 18 ноября, если я доживу, мне стукнет 90!

Народным артистом Советского Союза он стал в 1948-м, имея право на это высокое звание значительно раньше: я подразумеваю его огромные заслуги в создании советского театра.

Вот некоторые его замечания и слова:

— Органически ненавижу войну. Это чувство вошло в меня, когда началась русско-японская. Разговоры родителей об убитых, раненых, о жестокостях, проявленных обеими сторонами на суше и на море, вызывали у меня — двенадцатилетнего парнишки — чувство ужаса. Это очень страшно, когда люди обязаны непременно убить друг друга. Поэтому был счастлив, что избежал участия во всех последующих наших войнах. Но, поверь мне, остался патриотом и делал все, что мог — на своем боевом участке для нашей победы. Руководил формированием фронтовых бригад, ставил пьесы о мужестве советского человека, о близком разгроме врага.

Когда мне исполнилось двадцать, можешь поверить, я уже кое-что соображал. Поэтому решил себя испытать: сунулся в Московский Художественный театр, предстал пред светлые очи обоих стариков. И Константин Сергеевич, и Владимир Иванович удостоили меня разными вопросами. Они — сами — тоже были очень разными. И если первый спрашивал об одном, то второй интересовался абсолютно противоположным.

— Так чем закончилась эта встреча титанов?

— Тебе все шуточки! Старики взяли меня «на пробу» к себе в театр. Тогда это называлось стажировкой.

— Что же там делал А. Д.?

— Пол не подметал. Дали играть крошечные ролишки. И у себя, и в Первой студии. Там главным был Леопольд Антонович

Сулержицкий. Может, слыхал? Попробовал у него даже заняться режиссурой: как-то вдруг почувствовал, что у меня может получиться.

— И — что? Получилось?

— Это — долгий рассказ…

— Интересно, какую пьесу выбрали?

— Решили ставить «Незнакомку»! До сих пор кажется, что задуманное мною было интересно, однако… В общем, спектакль — не состоялся. А время шло! Уже Андрюха у нас с Анечкой родился.

Надо вам знать, дорогой читатель, что жена Алексея Дмитриевича — Анна Александровна — была чудесной женщиной, очаровательной во всех смыслах этого слова. Будучи несколько старше своего муженька, она стала его первой советчицей, каких бы вопросов жизни это ни касалось. И я абсолютно уверен, что — несмотря на свою мудрость и тончайшее понимание всего, связанного с театром, — Алексей Дмитриевич и в этом деле с мнением своей супруги считался. И сына — достойного продолжателя дела славного родителя — воспитала она. Мужу, а затем Андрею Анна Александровна была поддержкой до последних дней своей жизни. Она умерла в 1972-через одиннадцать лет после мужа. А их сын — в 1983-м, через одиннадцать лет после матери: трагическое совпадение!

— Итак, в поисках радости, — продолжал Попов, — я подался в Кострому: мне там предложили самостоятельную работу. Приехали. Шла Гражданская война. Нас она пощадила. Театрик был славный, видавший всякие виды. Народ, его посещавший, привык к гастролерам. И в этом — бывшем губернском — городе я почти пять лет тешил зрителей своими постановками. Площадка — подходящая. Много молодежи, тянущейся к сцене: ребята оказались способными. Да и с теми, кто был постарше в труппе, мне было работать легко! Я отдал им весь накопленный в Москве опыт и еще своего кой-чего добавил. Надо тебе сказать, что в процессе работы, если ты отдаешь ей всего себя, все свои силы, тогда — учти и запомни это — появляется некий собственный метод, что-то присущее только одному тебе. А может, мне лишь кажется, и в действительности все имеет другую основу… Не знаю: боюсь утверждать… в общем, есть о чем подумать, чтобы правильно решить этот вопрос, решить безошибочно. Короче: в двадцать третьем возвращаемся в Москву. Но из Костромы я имел полную возможность наблюдать за работой человека, последователем и продолжателем учения которого я мечтал стать. Говорю о Евгении Багратионовиче. О Вахтангове. Беспрестанно наблюдал за ярким развитием его

таланта постановщика. Был на всех спектаклях Вахтангова. Его я обожал! Но, когда мы вернулись в столицу, живым мне застать Евгения Багратионовича уже не довелось. Студия почти год действовала самостоятельно, медленно превращаясь в профессиональный драматический театр. Там я и начал работать, ибо на его сцене продолжалось дело, основу которого прочно заложил Вахтангов!

Об одном А. Д. никогда не вспоминал, во всяком случае при мне. Я говорю о его работе в кино. А ведь он трижды прикасался к этому виду искусства.

Первый опыт был совершен в 1928 году. Фильм назывался «Два друга, модель и подруга». Попов сам участвовал в создании сценария, сам ставил и сам играл роль капитана в этой чудесной комедии.

Вторая работа — через два года: «Крупная неприятность». И снова А. Д. выступает как сценарист и режиссер. На главную роль — по моей рекомендации — берет чемпиона Советского Союза, молодого, очаровательного Константина Градополова. Последняя картина с участием Попова — перенос его спектакля со сцены ЦТКА на экран. Ставила «Учителя танцев» Татьяна Лукашевич. Создавала она этот фильм под бдительным оком А. Д. Произошло сие уже после войны, по-моему, в 1952-м. Больше Попов в кино не работал.

Как-То мы сидели в партере Центрального Театра Красной Армии. Его коллектив еще занимал старинное здание с колоннами, до сегодняшнего дня украшающее площадь Коммуны. Я напомнил Попову о нашей давней беседе. И он, как бы продолжая свой рассказ, сообщил мне:

— Потом — ты же это знаешь — был московский Театр Революции, а с тысяча девятьсот тридцать пятого года я — здесь.

— Надеюсь, надолго!

— И я — надеюсь. Сижу, брат, рядом с тобой в этом зале, а перед нами площадка, громко названная «сценой», где уже прошел твой «Мстислав Удалой» и еще кое-что. А между прочим, до революции на ней выступали барышни из дворянских семей: читали пристойные стихи и пели приличные песни, ибо в этом здании помещался Московский институт благородных девиц. Как же все-таки случилось, что после Завадского я стал здесь главным?

— Вполне достойная замена.

— Мерси. Однако не думай, что это было так просто, поверь мне. Я очень долго колебался. Но после обстоятельного разговора с Аней — все-таки решился. Ты же знаешь мое отношение ко всему военному. Последнюю точку поставил человек, которому я

очень верил: мой добрый знакомый театрал — Владимир Евгеньевич Месхетели. Он был органическим, организационным — подчеркиваю это слово — руководителем любого театрального коллектива. Там, где был Месхетели — там был и успех. Фактически это он поднял на такую высоту Бакинский русский театр драмы.

Попов вдруг улыбнулся. На мой вопрос о причине такой неожиданной реакции сразу ответил:

— Это было лет шесть назад. Месхетели дал из Баку телеграмму Борисову. Вот ее примерное содержание: «Предлагаю и очень хочу, чтобы вы приехали на год поработать у нас. Месхетели». Телеграфистка ошиблась и переделала фамилию отправителя: «Мысхотели». Борис Самойлович ответил: «Вы схотели, а мы не схотели!» Но это — так, просто к слову. Тематика театра, созданного для армейской аудитории, была предельно специфической. Превалировали военные темы. Там были уже поставлены… — Алексей Дмитриевич вынул записную книжку, открыл ее и продолжил (надо отметить, что, желая всегда быть абсолютно точным, он пользовался записной книжкой очень часто): —…Такие пьесы, как «КВЖД», «Первая Конная», «Махновцы», «Междубурье», «Удар в степь», «Компромисс Наиб-хана», «Военком», «Мирное время», а потом твой «Мстислав Удалой»… и многие другие: по-моему, еще пять. Так что ты понимаешь мое положение! Я знал отлично, что наш зритель будет в основном армейский: солдаты, офицеры, генералы. Сказать тебе по правде, я — за все то, что будет в дальнейшем происходить на сцене и за разность аудитории — не очень беспокоился. Рассуждал так: во-первых, тогдашние комкоры, комдивы и комбриги уделили значительно меньшее время самообразованию, нежели современные солдаты, успевшие уже окончить среднюю школу. Во-вторых, если Центральный Театр Красной Армии был создан для того, чтобы своими спектаклями повышать интеллект военного зрителя, то этого можно было достичь, знакомя его и с классикой драматургии. А если так, то я мог — наряду с военной тематикой — ставить пьесы великих авторов прошлого.

Я позволил себе прервать собеседника:

— Все остальное, дорогой А.Д., мне известно. Те двадцать пять лет, что ты здесь хозяйничаешь, вывели этот театр в первые ряды его московских собратьев, и ты памятник себе воздвиг нерукотворный, сюда не зарастет поклонников толпа! Счастлив, что под твоим присмотром были поставлены еще четыре мои пьесы и что одну из них ты режиссировал лично! Спасибо, Алексей Дмитриевич!

Сейчас, больше полувека спустя, я вспоминаю наши беседы во время постановки этим удивительным художником моей пьесы «Год девятнадцатый».

Кстати, через несколько лет, когда мой друг и коллега, талантливый во всех литературных проявлениях, — Всеволод Вишневский — выпустил сначала в Малом театре, а затем в ЦТКА свою пьесу «Незабываемый 1919-й», Попов заметил: «Знаешь, почему он так назвал свой опус? Потому что Всеволод никак не может забыть твой “Год девятнадцатый”»!

Я ответил, что эту мысль первым высказал Александр Фадеев. А. Д. тут же сознался, что это он слышал именно от него.

Когда Попов ознакомился с моей пьесой, он сказал, что, прежде чем прочтет ее актерам, хочет детально поговорить со мной. И эту длительную беседу я никогда не забуду, потому что в каждой моей следующей работе, до самого сегодняшнего дня, присутствует крупица его мысли. Умение оценить события, проникновение в душу и поступки действующих лиц, взгляд на событие с разных сторон, огромное досье на каждого персонажа. Бесценным советчиком был мой ушедший друг!

— Название меня устраивает, — начал Алексей Дмитриевич. — Можно, в скобках, предложить и второе: «Член Реввоенсовета». Это — деталь. Надо тебе сказать, что я всегда сначала стараюсь увидеть актеров, исполнителей главных ролей, такими, какими были бы они, играй эти роли я сам.

— Надеюсь, речь идет об артистах-мужчинах?

— Перестань острить! Мы говорим о постановке твоей пьесы, о передаче зрителю *твоих* слов и желаний. Начнем с основного персонажа — Лукина. Всем станет понятно, чей это псевдоним. Ты — лично — был знаком с Кировым?

— Да. Служил его порученцем.

— Это с его слов знаешь все происходившее?

— Нет. Но из бесед с очевидцами — участниками событий.

— Лукин — душа обороны Астрахани. В нем сосредоточены качества организатора войск гарнизона, жизни города, подъема духа его населения в совершенно, казалось бы, безнадежном положении. И при всем этом — остаться человеком! Когда я так говорю о нем, слово Человек действительно звучит гордо! Лукин, как и я, а вернее, я — как Лукин, стараюсь проникнуть в сердце каждого своего собеседника — подчиненного, противника или друга. Все, чему меня учили мои великие наставники, я использую для того, чтобы придать любому из действующих лиц наибольшее количество человеческих черт, хороших или плохих, — но правдивых, таких, чтобы самый искушенный

зритель в них поверил и, возможно (для этого я и работаю!), стал бы лучше сам, стал справедливее. Театр — это школа жизни. Если актер всей душой отдается роли, если он верит тому, что и я — режиссер— отдаю ему, исполнителю, свои душу и сердце, то и зритель получит от увиденного на сцене свою вполне заслуженную долю. Когда уже идет поставленный мною спектакль, я — главным образом — слежу не за исполнителями, а за сидящими в зрительном зале. Мне непременно надо знать: доходит ли до них то, что я хотел им передать своим решением характеров действующих лиц. Поэтому для меня твой Лукин — это все самое лучшее, что создала революция! Самое яркое, чистое, бескомпромиссное. О, он — далеко не ангелочек с крылышками, изрекающий только всем осточертевшие истины, кстати достойные лишь одних тогдашних «небожителей». Нет, твой и мой, а значит — наш — Лукин весь от земли, от настоящего знания жизни, знания ее подлинной цены, разбирающийся в сущности каждого из своего окружения. Он с любым из своих постоянных собеседников и соратников говорит по-разному, на том языке, который больше всего доступен данному лицу. Да и внешне Лукин меняется — в зависимости от того, кто перед ним: бывший царский офицер, а ныне — начальник его штаба, или Ильинична — заведующая его несложным хозяйством. Он с почтением относится тут, в осажденном городе, в почти безнадежном положении, к случайно встретившемуся инженеру-мечтателю. Лукин разговаривает с ним так же уважительно, как если бы их беседа велась в мирное спокойное время — в одном из кабинетов Академии наук. И все это объясняется лишь тем, что твой герой (а его прототип был именно таковым) настоящий ленинец! Он точно знал, что после военной победы, в которую верил, наступит долгожданное мирное время, пора восстановления страны, где земля будет отдана крестьянам, а фабрики и заводы — рабочим. Он верил в то, что деревня обеспечит город питанием, а город деревню — всем необходимым. Он также верил в то, что рабочим и крестьянам непременно полное содействие окажет наша интеллигенция, что она, кстати, и делала спокон веку! Лучшие умы и специалисты станут во главе всего нашего восстанавливаемого хозяйства. И произойдет это во всех сферах — землепользования, индустрии, культуры, науки, всего того, что движет народ вперед. И при всем при этом, Лукин никому не простит преступления, даже проступка. Заметит малейшее этическое нарушение и укажет на него любому, кем бы этот нарушитель ни был. У тебя в пьесе чрезвычайно скупые ремарки. Я же стараюсь наделить Лукина реакциями, по логике и

поступкам доступными только *ему*. А, если по правде, то подобные реакции могли бы быть и моими. Это и едва заметная усмешка, и открытая улыбка, и неожиданная задумчивость, а также — что весьма редко — и откровенный гнев. Я мог бы тебя спросить: согласен ли ты с такой моей манерой работы над ролью? Но я этот вопрос тебе не задаю: ты, автор, отвечаешь за пьесу. Я, режиссер, — за спектакль. Поэтому сразу перехожу к основной женской роли. Тетя Шура. Скажу тебе честно: тут я долго не задумывался. Вот уже почти двадцать лет она всегда рядом со мной. Если бы моя жена попала во время Гражданской войны в такую ситуацию, стала бы участницей и действующим лицом в описываемых тобой событиях, моя Анна Александровна поступила бы точно так же. Ты не подумай, что я хвастаюсь. Она действительно именно такая. Поверь: это обогатит роль тети Шуры, равно как и обогатит зрителя, сделает его чуть выше, чуть благороднее, чуть добрее, разумнее.

— И он вспомнит, этот многострадальный зритель, что существует такое понятие, как честь?

— Если оно в нем еще кое-как сохранилось, бесспорно! Следующий: Сашка-шайтан. Чекист или особист, неважно. Кого из них ты помнишь по тем временам?

— Атарбекова. И еще многих других…

— Я понимаю, что ты постарался сделать некий обобщенный тип этакого представителя той страшной тогдашней профессии. Я подобрал интересного исполнителя на эту роль. Он даже внешне будет похож на задуманный тобою образ. Постараюсь наделить его чувством, не характерным для сотрудников той организации. Это усилит к нему симпатию и его компаньонов по сцене, и сидящих в зале. Сашка будет иногда вызывать улыбку. А вообще, в данном конкретном случае — имею в виду постановку твоей пьесы — я в работе над каждой ролью учитываю все то, что ты мне рассказывал о каждом персонаже. Так что не удивляйся, если почувствуешь в идущем спектакле что-то свое… Но заранее — не радуйся: значительно больше будет моего! Ивина и Нестора — двух опытных подпольщиков, которых Лукин посылает в Баку — играть легче. Для них подпольная работа — родное дело. Поэтому и мне они облегчают их перенос из пьесы на сцену. Они оба, вполне умело, переправившись на другую сторону Каспия, трансформируются в дворника и сторожа.

Парадокс заключается в том, что Попов также детально разобрал, разработал — дабы представить их зрителю — и всех остальных действующих лиц «Года девятнадцатого». А ведь таковых насчитывалось ни много ни мало — тридцать шесть

человек! У одних — большое количество текста, у других — поменьше, у третьих его и вовсе не было. Но несмотря ни на что, каждому исполнителю режиссером уделялось и соответствующее время, и безусловное внимание.

С каждой и каждым велись беседы один на один. И каждый перед выходом на сцену, вводом в спектакль держал соответствующий экзамен: показ реализации своей роли постановщику и его штабу.

Ох! Вспомнил вдруг одну любопытную историю: в пьесе действие двух картин разворачивалось в открытом море. Пять человек — Нестор, Ивин, Багиров, Акопян и Василий — «рыбаки» — экипаж баркаса. Они должны быть постоянно заняты ведением своего маленького корабля. Во время работы что-нибудь напевают. Я предложил для написания рыбацкой песни кандидатуру совсем тогда молодого Саши Галича. Попов согласился. Не помню точно, кто сочинил музыку: быть может, это было творение самого автора стихов… И вот наступил момент прослушивания. Рыбаки запели. Я запомнил один из трех куплетов:

Нашу сеть не утаскивай,
Зла на нас не таи!
Ох ты, Каспий неласковый!
Ведь мы — дети твои…

Когда вся песня была пропета, Галич ждал решения Алексея Дмитриевича. Тот ответил не сразу. Попросил повторить песню, что было тут же сделано. Попов задумался, а затем сказал Галичу:

— Прекрасная песня! Слова просто берут за душу. И мотив… Говорю честно и поздравляю. Но, к сожалению, мне она не годится.

И на недоуменные взгляды-вопросы присутствующих, мой в том числе, ответил:

— Представьте себе, дорогие товарищи: она… слишком хороша! И я боюсь, что зритель будет слушать только эту песню, а не следить за действием, в которое он… не поверит! Почему? Да потому, что такую песню простые рыбаки не могли бы петь в то безумное время! И словосложение ее абсолютно чуждо для обычного разговора тех действующих лиц. В общем, лексика не та! Очень сожалею… Обойдемся без специальной песни. Мои рыбаки станут мурлыкать что-то знакомое, то самое, что впоследствии и послужит сигналом к взрыву баркаса. А ваш труд, Саша, уверен — не пропадет!

Действительно, труд Галича не пропал: два года спустя

режиссер «Ленфильма» Илья Трауберг поставил по моему сценарию кинокартину «Год девятнадцатый» (я переработал для экранизации свою пьесу). И в ней — полностью — прозвучала эта прекрасная песня Александра Галича. Вот такая история!

А как интересно актеры в спектакле играли, вызывая бурную реакцию молодых зрителей (пьеса часто шла в утренние часы), юных Асю, Нюсю и, конечно, Леню. Упомянутые три персонажа — те, на кого может рассчитывать Лукин в будущем, когда наступит наконец такое желанное мирное время. Но Ася не доживет до этих счастливых дней!..

Разбирать все роли, поразительные образы, воссозданные Поповым в этом спектакле, — дело театроведов. Вот почему этот раздел я заканчиваю. Хочу только отметить еще одну черту характера Алексея Дмитриевича. Он никогда не навязывал своего мнения моим коллегам, тем, кто приносил ему пьесы, ибо отлично понимал, что у каждого из нас — индивидуальный метод изложения материала, свой взгляд, своя фразеология. И считал сие вполне естественным, а потому стремился сохранить в спектакле авторское своеобразие… Но уж тем, кого он — как педагог — обязан был «вывести в люди» — им передавал все, накопленное годами, и вдобавок еще — свое сердце! Когда А. Д. чувствовал, что его слова убедили, что все им предложенное принимается полностью, тогда он словно загорался, требуя от своих учеников тончайшей реализации им указанного.

У меня сложилось впечатление, что в те давние времена всё мои настоящие друзья переселились в «Дом Вахтангова» на улице Щукина. Туда въехали и Олег Леонидов — мой учитель сценарного дела, и его жена, знаменитая в прошлом актриса — Маргарита Ивановна Ртищева (здание ее театрика пока сохранилось: это второй дом направо по набережной Москвы-реки, — перед Большим Каменным мостом), Антокольские, Симоновы, Поповы. Все они дружили семьями, помогали друг другу советом и всем возможным. А ведь послевоенное время было особенно тяжелым, страшным: «карающая рука великого Сталина» не щадила никого. Друзья и соратники исчезали один за другим… Неожиданно скончался Олег Леонидов. Когда я спросил у Алексея Дмитриевича, каковы причины этой странной смерти, он ответил:

— Олег умер от страха. Ждал ночного звонка ежедневно. Хотя никаких причин…

— А вы считаете, что нужны причины?

— Он боялся возможных мучений, тюрьмы, ссылки.

В 1954 году Попов вступил в партию. Он верил, что перемены

неизбежны и что лучшие из оставшихся в живых коммунистов, работающие в области искусства, смогут сказать свое честное слово.

У Алексея Дмитриевича был сын — Андрей. Мальчик вырос и стал актером. Отец взял его к себе в театр. Но когда он работал со своим отпрыском, не делал ему ни малейших поблажек. Наоборот: строгость была двойной, а требовательность — пятикратной. Чтобы никто, упаси Бог, не мог сказать: Андрей получает роли только потому, что он сын Главного! И Алексей Дмитриевич своего добился. Сын стал крупнейшим актером в труппе театра совершенно законно.

Когда отмечали шестидесятилетие ЦТСА, я подумал: «А ведь сегодня еще и другие юбилеи: пятьдесят пять лет, как сюда пришел народный артист Советского Союза, мой дорогой друг Алексей Дмитриевич Попов, и тридцать лет, как его здесь нет. Он года не дожил до своих семидесяти. Рано ушел!»

Хочу добавить к уже названным — подлинно бессмертным — имена артистов, принимавших участие в формировании труппы этого замечательного театра: В. Благообразов, Д. Ильченко, А. Хованский, А. Петров, А. Богданова… Позже, когда уже были поставлены «Гибель эскадры» Александра Корнейчука, «Бойцы» Бориса Ромашова, «Слава» Виктора Гусева, «Укрощение строптивой» Шекспира, в труппу приходят Любовь Добржанская, Нина Сазонова, Татьяна Алексеева, Петр Константинов, Андрей Петров и Андрей Попов, а после войны — Людмила Касаткина, Даниил Сагал, Владимир Зельдин и другие…

Повторю: я не театровед и не историк. Рассказать и написать о деятельности и дальнейшем пути этого неординарного коллектива — удел специалистов. У меня лишь пожелание: чтобы *Мой* театр и в будущем славно отмечал свои грядущие юбилеи…

Теперь небольшое отступление, объясняющее мое сопротивление жене — Леночке — в написании мемуаров…

Звоню я как-то в *Мой* театр.

— Центральный Академический Театр Советской Армии слушает вас! — раздается в трубке молодой девичий голос.

— Литературная часть?

— Да. Кто говорит?

— Прут.

— Откуда вы?

— Из… дома… — удивился я вопросу.

— Вас спрашивают: от какой организации?

— А я не от организации. Я от себя лично.

— Тогда не понимаю! — уже с раздражением послышалось в

ответ.

— Скажите, — спросил я, — вы давно были в музее театра и как долго тут служите?

— Два месяца. А в музее, конечно, была!

— Когда вы туда входите, какая афиша висит слева? Не вспомните?

— Почему? «Князь Мстислав Удалой».

— А — справа?

— «Год девятнадцатый».

— Ну, и кто же автор этих пьес?

— Кажется, Прут…

— Так что же вам тогда непонятно?

— Как? Вы еще живы?!

Это, уважаемый читатель, я рассказал, чтобы вы поняли: во-первых — я человек уже забытый, а во-вторых — именно поэтому мне многое разрешается.

Анатолий Васильевич Луначарский

Хочу рассказать несколько историй, связанных с именем Анатолия Васильевича Луначарского, человека, которого я любил. И я горжусь тем, что он ко мне очень хорошо относился.

Анатолий Васильевич жил в переулке на Арбате. В том, на углу которого находился диетический магазин.

Он жил в чудесной квартире с женой — Наталией Александровной Розенель — артисткой Малого театра, и ее девочкой, которую он удочерил — Ирочкой.

Дело было году в 25-м. Отгремели залпы Гражданской войны. А я, как вы знаете из вышеизложенного, занимался в ту пору журналистикой.

Анатолий Васильевич был тогда наркомом просвещения. И я довольно часто посещал его дом. Часто… как мог бывать двадцатипятилетний молодой человек в доме у наркома. Но, во всяком случае, меня приглашали на все торжества.

Сначала об одном событии необычайно интересном.

Праздновали очередной день рождения. Собрались гости… Надо упомянуть, что в доме этом я бывал не только у Анатолия Васильевича, но и когда собирался кружок Наталии Александровны.

Однажды я рассказал об одном эпизоде из своей жизни. Очевидно, Наталия Александровна его запомнила и как-то при Анатолии Васильевиче попросила меня повторить рассказанное хозяину дома. Речь шла, если можно так выразиться, о первом моем революционном поручении.

Напоминаю, что за время моей долгой жизни в Швейцарии перед моими глазами прошло много великих людей. Великими они были по-разному: и по своей общественной значимости, и по человеческим качествам, а некоторые просто по скандальным историям. Но даже в этой области занимали они самое высокое положение!

К примеру, барон Стромболи — знаменитый авантюрист, о котором нам с мамой рассказал Максим Горький и о котором писал весь мир.

А я видел барона Стромболи во время Первой мировой войны, когда (в начале 1918 года) он, уже как приватное лицо, которого никто из-за войны не преследовал, отдыхал в Монтрё и играл в пятифранковую рулетку в казино этого приозерного городишка.

В ту пору в Швейцарии проживало много, я бы сказал, удивительных людей.

Начну с Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской. Они жили в местечке Шаи над Клараном. Кларан — это маленький городок на берегу Женевского озера вблизи Монтрё. Там находилась дача тети и дяди, поэтому мои старики были хорошо знакомы с упомянутой четой.

В том же районе жил великий русский библиофил Николай Александрович Рубакин, который, как я уже упоминал, завещал своей родине — России — удивительную библиотеку в 85 тысяч томов! Ее — чуть ли не в целом поезде — привез сын Николая Александровича, профессор Александр Николаевич Рубакин, сравнительно недавно — лет 20 тому назад. Он был профессором Московского университета (по-моему, филологии).

Достаточно сказать, что после разгрома Австро-Венгрии в Швейцарии находился император Карл VI со своей супругой — императрицей Зитой… Если память мне не изменяет, жил там и египетский правитель, свергнутый в своей стране. Известных людей было много.

Как-то раз, гуляя по берегу Женевского озера с Николаем Александровичем Рубакиным, который меня очень любил, мы встретили Ленина с Крупской.

Владимир Ильич держал в руке книгу. Мы поздоровались. Тогда старшие разговаривали, а те, кто помоложе — как я в ту пору, — слушали, не вмешиваясь в беседу.

Николай Александрович спросил у Владимира Ильича, кивнув на книгу:

— Чем увлекаетесь, Владимир Ильич?

Ленин ответил:

— Перечитываю Лукиана. Удивительная, знаете ли, сатира на тогдашнее общество, которая абсолютно может быть использована как сатира на общество современное! Несмотря на то что прошло две тысячи лет, в общем, ничего существенно не изменилось…

У них был свой разговор. Коснулись работы Владимира Ильича в Кларане.

Николай Александрович улыбнулся и, показав на меня, сказал:

— А вот Оня все время говорит, что мечтает умереть за революцию!..

Владимир Ильич улыбнулся, а Надежда Константиновна заметила:

— Мне кажется, главным образом надо не так умирать, как постараться жить для революции.

Николай Александрович, увидев, что я покраснел и опустил

глаза, продолжил эту тему:

— Оня мечтает о каком-нибудь революционном поручении.

Владимир Ильич пояснил, что в Кларане он практикой революции не занимается: работает, пишет. А революционное поручение могут дать в Цюрихе, где находится революционный центр. Возглавляет его Анжелика Павловна Балабанова.

— Вам, Оня, сколько лет? — спросил Владимир Ильич.

Я сказал, что шестнадцать, хотя до шестнадцати не хватало трех месяцев.

— Ну что ж, шестнадцать лет это уже тот возраст, когда можно сделать многое… Я убежден, если вам удастся оказаться в Цюрихе, для вас всегда найдется работа.

И я затаил мечту о том, чтобы попасть в Цюрих и связаться с революционным центром — организацией в ту пору вполне легальной. Адрес ее был известен.

Когда наступили осенние каникулы и период сбора винограда, у меня образовался двухнедельный перерыв в занятиях. *Я* принял приглашение своего школьного товарища Федерико Фридзони провести у него каникулы в городе Бергамо в Северной Италии. Федерико уехал первым, а я, собравшись в дорогу, решил не ехать прямым путем, а отправиться в Италию через Цюрих, чтобы получить там какое-нибудь задание.

Но когда я предстал пред светлые очи Анжелики Балабановой, я понял, что готов умереть не так за революцию, как готов умереть за Балабанову. Передо мной сидела красавица женщина, заложив ногу за ногу, и обнаженное колено в шелковом чулке меня в ту пору очень взволновало.

Анжелика Павловна спросила, где я собираюсь провести свои каникулы (это, конечно, после того, как я представился и сказал, что я от Владимира Ильича Ленина).

Услышав, что я еду в Италию, она заявила:.

— Вот вам сразу и революционное поручение! — Написала несколько строк. Вложила в конверт. Заклеила его и передала мне. На конверте не было адреса.

Я говорю:

— Кому позволите его передать? Тут нет адреса.

— Революционеры, — сказала она, улыбаясь, — адресов не пишут. Их запоминают.

Кстати, я его помню до сих пор: «Улица короля Виктора Эммануила III, дом 27, 2-й этаж».

Балабанова добавила:

— Передадите лично в руки главному редактору газеты «Аванти». — При этом у нее сверкнули глаза. — Это самый крупный и самый могучий рупор революции! Социалистическая

газета «Аванти» — «Вперед»! Но только в руки главному редактору!

Я принял поручение. Сел в поезд. Поехал. Как я переезжал швейцарско-итальянскую границу, вам рассказывать не надо: я понимал, что не сдамся! (Хотя на меня никто не нападал.) Что я умру! (Хотя этого никто не требовал.) Что я выброшусь в окно! (А это было почти невозможно: стекло закрыто и поезд стоял!) Никто из жандармов на меня не посмотрел. Один, правда, удивленно покосился, увидя, что я все время пытаюсь проникнуть лбом через стекло наружу. Решил, очевидно: юноша со странностями… В общем, я благополучно переехал швейцарско-итальянскую границу. В Бергамо на вокзале меня встречал Федерико Фридзони. Я переночевал у моего друга и наутро бросился выполнять поручение, тем более что какой-то трамвай, по-моему, ходил из Бергамо в Турин.

Я отправился по адресу, который запечатлел в своей памяти, быстро нашел дом, поднялся на второй этаж и вошел в помещение редакции.

Первой особой, с которой я встретился, была секретарша. Я сказал, что приехал из Цюриха с письмом от товарища Балабановой. Она протянула руку, чтобы взять письмо. Но я возразил:

— Нет! Только лично главному редактору.

Женщина открыла дверь в соседнюю комнату:

— Пожалуйста, пройдите.

Там за столом сидел и работал человек. Он поднял на меня глаза. Что бы вам сказать?.. Такие два черных глаза! Высокий лоб. Много лет спустя я понял: он был похож на советского грузинского актера Акакия Хораву.

Я объяснил редактору цель своего приезда. Передал письмо. Он открыл его, прочитал. Подошел, пожал мою руку и поцеловал в лоб:

— Спасибо тебе, товарищ, от имени революции!

Я уехал обратно в Бергамо…

Почти без преувеличения: лоб я не мыл, наверное, год! Руку, сколько можно было: что-нибудь около месяца… Все время чувствуя запечатленный на моем челе поцелуй и это рукопожатие великого революционера.

Потом были: французский фронт, Русский Экспедиционный корпус, Первая Конная, Средняя Азия, восстановительный период. Наконец, я — журналист в Москве.

Присутствующих рассказ очаровал. Я был «в посыле», говорил с волнением… Изображал действующих лиц, как мог, чтобы

придать еще большую красоту и убедительность своему рассказу. Все отреагировали очень живо. Усмехнулся только Анатолий Васильевич. Он снял пенсне и сказал:

— М-м-да… Этот рассказ безусловно напечатают. Думаю, напечатает Воронский, с большим удовольствием. Но, конечно, не меньшее удовольствие получит от прочитанного Феликс Эдмундович Дзержинский.

Я немножко смутился. Ничего не понял и спросил:

— Анатолий Васильевич, не понимаю, при чем здесь председатель ВЧК?

Он ответил:

— А вы знаете, милый Оня, как имя и фамилия человека, «великого революционера», отпечаток губ которого вы так тщательно хранили, как вы изволили выразиться, «на своем челе»?

Я сказал:

— Нет. Не знаю.

— Так я вам скажу: это был Бенито Муссолини.

Самое интересное, что в течение тридцати или сорока лет, даже, точнее, пятидесяти я молчал и боялся об этом рассказывать. Как-то с моей женой Леночкой мы сидели у моего друга Фредерика Сиордэ на берегу того же самого Женевского озера. В местечке Кларан, то есть там, где проходила моя молодость и где жил он — мой дорогой школьный товарищ. И я поведал ему эту историю.

И Фред сказал:

— Знаешь, при всей гигантской эрудиции Анатолия Васильевича, господина Луначарского (он сказал «Луначарски»)… Когда-то Бенито редактировал «Аванти». Однако в ту пору, о которой ты говоришь, редактором был Муссолини, но не Бенито, а его родной брат: истинный революционер, который не пошел путем фашизма и рано умер. Кажется, его звали Арнальдо…

Анатолий Васильевич Луначарский был грандиозным эрудитом! Мог говорить по любому поводу с одинаковым знанием предмета.

Как-то в здании Малого театра — в основном зрительном зале — собрались замечательные ребята — слушатели Свердловского университета. Это были парни экстра-класса! Комсомольцы первых лет революции. Они были символом революции! Никому из них не пришло бы в голову надеть галстук. Они знали произведения Ленина от первой строчки до последней и могли перечислить их в направлении от первого тома к тридцатому и в обратном порядке.

Анатолий Васильевич Луначарский читал им лекцию по этике и эстетике Ленина. Я сидел в левой ложе и с открытым ртом слушал эту музыку — его! Когда Луначарский говорил, в ушах звучала музыка!

Он процитировал Ленина, и вдруг из второго ряда вскакивает парень в кепке и говорит:

— Анатолий Васильевич! Вы ошиблись!

Луначарский, по своей привычке, снял пенсне, посмотрел в зал и сказал:

— Что-что?

— Вы ошиблись, товарищ Луначарский! Ленин этого не говорил! — выкрикнул парень в кепке.

Луначарский надел пенсне и спокойно ответил:

— Вам не говорил, молодой человек. Мне он это говорил.

Запомнился другой случай, когда Ирочке исполнилось, по-моему, пять лет. Собрались дети. На дне рождения дочери присутствовал Анатолий Васильевич. И в это время он вспомнил, что у него лекция в клубе Зуева. Причем лекция ответственная: предстоит выступать перед московской пожарной командой, в связи с ее 125-летием.

А надо сказать, что Луначарский пользовался всегда одной и той же машиной из гаража ВЦИК, с одним и тем же шофером. Машина из царского гаража: огромное сооружение, высокое, в котором можно было стоять в полный рост!

Извинившись перед присутствовавшими, Анатолий Васильевич вышел.

Наталия Александровна, зная своего мужа, попросила меня поехать с ним для того, чтобы я его немного поторопил, напомнив, что сегодня торжественный день в семье, и проследил, чтобы он не увлекался и постарался уложиться в максимально короткий срок.

Когда мы сели в машину, Анатолий Васильевич сказал:

— Только не обращайтесь ко мне ни с какими вопросами, я хочу немножко сосредоточиться: сами понимаете, для меня тема не такая уж обычная…

Мы приехали на Лесную к клубу имени Зуева. Поднялись по лестнице. Навстречу выскочил заведующий клубом, безумно растроганный тем, что приехал сам нарком просвещения. Сразу же вывел его на сцену и громко провозгласил:

— Дорогие товарищи! У нас сегодня почетный гость: Анатолий Васильевич Луначарский!

Гром аплодисментов. Я стою в кулисе — рядом с кафедрой. Возле меня — завклубом.

Анатолий Васильевич, подняв свою прекрасную голову, начал:

— Дорогие товарищи! Сегодня, в день стодвадцатипятилетия Московской пожарной команды…

И вдруг зал охнул одним вздохом… Мы услышали этот вздох, и завклубом схватился за сердце:

— Господи!

Анатолий Васильевич повернул к нам голову, снял пенсне и спросил:

— В чем дело?

Заведующий дрожащим голосом пролепетал:

— Анатолий Васильевич! Вы ошиблись! Вы — у пекарей! У московских пекарей!

— М-м-да, — сказал нарком. — У-гу. — И повернувшись к залу, надев пенсне, произнес: — Дорогие товарищи! Вы, наверное, решили, что я оговорился, иначе не было бы такого единодушного вздоха разочарования. Но я не оговорился. Повторяю: дорогие товарищи! Сегодня, в день стодвадцатипятилетия московской пожарной команды, казалось бы, мне следовало выступить там… Но пекари Москвы…

И теперь удержать его было нельзя! Он говорил два с половиной часа! Несмотря на мои взгляды, полные мольбы, Анатолий Васильевич продолжал выступление. Боже мой! Что только он им ни рассказал: о различных сортах хлеба в Соединенных Штатах, во Франции и в Германии. Он говорил о раскатке теста. Он говорил о формах замесов… Он говорил… Я до того одурел, что мне показалось: он говорил даже о чем-то плотницком! О том, как делают хлеб с завитушками — халы. Он объяснял, что их делают в елку и в паз, как выражаются плотники! Я уже не знаю, что он говорил, но говорил он то, что надо! Зал его слушал как зачарованный!

Остановить его было нельзя, ибо он боялся, чтобы люди не подумали, что он вначале действительно оговорился!.. Вот таким был Луначарский!

Когда вместо Анатолия Васильевича наркомом просвещения назначили Андрея Сергеевича Бубнова, этот — бывший начальник Политуправления — многих людей в аппарате сменил. В частности, своего заведующего гаражом — Гандурина — Бубнов сделал председателем реперткома.

Об этом узнал Луначарский и при встрече с Бубновым произнес гениальную фразу:

— Калигула! Твой конь в Сенате!

А чтобы вы поняли, каков был Гандурин… Он был прелестен!

Михаилу Афанасьевичу Булгакову, которого я два раза приводил к нему, Гандурин прямо заявил:

— Эта ваша пьеса запрещается, как и все последующие!..

Во второй раз он ему сказал:

— Бул Гаков, та и нема Гакова!..

Старики

Следует отдать должное руководителям культуры 20-х годов: они с пониманием отнеслись к трудностям в «перестройке сознания» старых работников сцены и на многие их «чудачества» смотрели сквозь пальцы…

21 января 1924 года. Зима. Лютый мороз. Владимир Яковлевич Хенкин и я, будучи в Москве, узнали о печальной вести: умер Ленин.

Расстроенные, поднимаемся по Тверской. Навстречу идет директор Малого театра Александр Иванович Сумбатов-Южин. По его спокойному виду мы понимаем, что он не знает о происшедшем. Хенкин бросается к нему со словами:

— Александр Иванович! Вы знаете об ужасном событии?!

Тот, побледнев, хватается за сердце и бормочет:

— А… что такое?!

— Ленин умер!

Александр Иванович — в ужасе:

— Михаил Францевич?! (В его театре служил актер М. Ленин.)

— Да какой, к черту, Михаил Францевич?! Владимир Ильич! — кричу я.

Сумбатов-Южин облегченно вздыхает:

— Господи! Как вы меня напугали!..

Для того чтобы стало ясно, в какой обстановке мы жили, хочу сказать несколько слов об одном удивительном центре, где собиралась артистическая интеллигенция: режиссеры, актеры, художники, писатели. Это был Клуб мастеров искусств. Помещался он в подвальчике в Старопименовском переулке.

Идея создания Клуба принадлежала Анатолию Васильевичу Луначарскому. В самом начале тридцатых годов Луначарский говорил руководителям профсоюза работников искусств, что актерам нужно дать возможность собираться, так же, как, скажем, художникам и писателям. «Сделайте настоящий советский артистический Клуб, но Клуб интересный, творческий, чтобы люди могли обмениваться мнениями, показывать свои работы. Такой Клуб нужен всем, как воздух! И делать это должны, конечно, сами деятели искусств. Вы доверьтесь им, доверьтесь, и все будет хорошо!..»

И такой Клуб был создан. В маленькое помещение переехало имущество бывшего Литературно-художественного кружка. Первое официальное собрание — открытие — состоялось 25

февраля 1930 года. Присутствовали буквально все ведущие актеры Москвы: Василий Иванович Качалов, Леонид Миронович Леонидов, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Антонина Васильевна Нежданова, Надежда Андреевна Обухова, Леонид Витальевич Собинов, Екатерина Васильевна Гельцер, Александра Александровна Яблочкина, Варвара Николаевна Рыжова, Пров Михайлович Садовский, Степан Леонидович Кузнецов, Борис Васильевич Щукин, Рубен Николаевич Симонов… Ну, в общем, это был парад мастеров искусств, сидящих в крошечном зале, где насчитывалось максимум сто мест.

Торжественный вечер открыл первый председатель Правления этого Клуба — Феликс Яковлевич Кон. Его заместителями были Иван Михайлович Москвин и Валерия Владимировна Барсова.

Надо добавить, что на этом вечере выступил Владимир Маяковский, который прочитал нам вступление к своей поэме «Во весь голос».

Новый Клуб быстро завоевал популярность среди деятелей искусств Москвы. Его посещали не только артисты. Бывали здесь Горький, Луначарский, Демьян Бедный, Алексей Толстой. Тут читали лекции виднейшие искусствоведы. Просто трудно перечислить имена всех тех, чьи творческие вечера состоялись на сцене этого Клуба. Причем мероприятия, проводившиеся здесь, отличались завидным разнообразием: наряду с великими мастерами тут выступали танцевальные кавказские ансамбли, игрались капустники и скетчи, организовывались выступления отдельных артистов. Концерты вели Менделевич и Смирнов-Сокольский. Надо сказать, что, пожалуй, самой привлекательной формой работы стали наши веселые капустники. В них участвовали и молодежь, и крупнейшие мастера театра. Достаточно вспомнить, что в подобном сатирическом представлении в исторический вечер открытия клуба выступил хор (вы не поверите!), который состоял из таких артистов, как Василий Иванович Качалов, Соломон Михайлович Михоэлс, Михаил Михайлович Тарханов, Леонид Витальевич Собинов, Пров Михайлович Садовский, Леонид Миронович Леонидов, Михаил Михайлович Климов, Иван Николаевич Берсенев, братья Роберт и Рафаил Адельгеймы. А дирижировал хором Иван Михайлович Москвин.

Я не могу забыть впечатления, которое на нас произвела сцена, когда великие мастера театра, словно послушные ученики, не спуская глаз со своего дирижера — Москвина, запели:

Колпак мой треугольный,

Треугольный мой колпак,
А если не треугольный,
Так это не мой колпак…

В следующем куплете отпадала первая фраза текста. В третьем куплете — отпадали две фразы. И дело кончалось тем, что пели уже без слов, одну лишь мелодию. Зрелище было феерическое, смешное и неожиданное.

Впоследствии большим успехом пользовались наши сатирические коллективы «Будильник» и «Крошка», в них принимали участие уже более молодые: Ростислав Плятт, Осип Абдулов, Евгений Весник, Сергей Цейц, Николай Парфенов и многие-многие другие.

Я очень любил беседовать со стариками Московского Художественного театра. Однажды посетил Леонида Мироновича Леонидова. Он сидел в чудесном халате в кресле задумчивый. Я говорю:

— Смотрю на вас и думаю: вот сидит передо мной советский Мочалов!

Леонид Миронович усмехнулся и ответил:

— Да, наверное, я, как вы говорите, «советский Мочалов», но почему-то все лучшие роли играет Качалов!

А насчет Василия Ивановича тоже дивное воспоминание.

Мы как-то были в ресторане Центрального Дома работников искусств. И с той же фразой, что к Леонидову, я обратился к Качалову:

— Смотрю на вас — великого русского актера…

А Качалов перебивает:

— Ты думаешь, я — великий?

— Господи! Боже мой, у меня впечатление такое, что нет уголка в Советском Союзе, где бы вас не знали!

Он же — в ответ:

— Понимаешь, мне кажется так: в Москве, скажем, в кольце «Б» — знают. А вот чуть подальше… Ты, по-моему, заблуждаешься!..

— Василий Иванович! Как это я «заблуждаюсь»? Что вы говорите?!

— Пожалуйста, приведу тебе пример. Прошлой зимой что-то я запил… Константин Сергеевич решил меня немножко утихомирить и отправил в наш дом отдыха на Оку. Зима, понимаешь. Ока блестит серебром, и, главное, вместо коньяка мне приказаны были прогулки… Выхожу я как-то погулять: на

мне — доха, бобровая шапка, бурки на толстой подметке — словом, весь я, как на котурнах. Большой, в общем!.. Иду по дороге, а из-за поворота вдруг мужичонка. Просто, ты понимаешь, действительно, будто из некрасовского стихотворения: «Сам — с ноготок…» И лошадка больше на собаку похожа по размеру, и дровни — вроде салазок. И… не знаю от чего: может быть, я неожиданно для нее вышел из-за поворота, — лошадка шарахнулась в сторону. А мужичонка только бросил косой взгляд на меня и цыкнул на свою лошаденку:

— Вот дура, говна испугалась!

Так что ты ошибаешься, Оня, нас мало знают в провинции.

Еще большой актер — Юрий Михайлович Юрьев. Как-то я приехал в Москву уже с фронта (заканчивалась Вторая мировая), и Леонид Осипович Утесов пригласил меня обедать в ЦДРИ. Для того чтобы я смог там поесть, его супруга — Елена Осиповна — отдала мне свою карточку на обед. А до этого Лёдя повез меня к человеку, который распределял артистам папиросы. Можете себе представить, мне тоже перепало три пачки по сто штук «Казбека»! С ними я буду первым человеком на фронте! Леониду Осиповичу дали, конечно, больше.

Мы приехали в ЦДРИ. Милая официантка Маруся кормила меня и, хотя мне не полагалось, поставила сто граммов водки. Сидим, вдвоем с Утесовым за маленьким столиком, обедаем. Входит Юрий Михайлович Юрьев: высокий, торжественный, как всегда, красивый. Увидел нас, спросил:

— Мальчики, можно к вашему столику?

Мы, конечно, вскочили:

— Просим вас, Юрий Михайлович!

Я свои папиросы оставил внизу, под контролем номерка, боясь, что у меня одолжат или выкурят, а мне надо было их довезти целыми до части… А Леонид Осипович взял свой пакет наверх. Юрий Михайлович увидел пакет, спросил:

— Что это у тебя, Лёдечка?

Утесов ответил:

— Папиросы, Юрий Михайлович. Вот сейчас были там у… (назвал фамилию человека, которого тот знал) — получил шестьсот.

Тогда Юрий Михайлович говорит мне по-французски:

— Вот видишь, как я плохо выбрал себе профессию! Мне не надо было быть драматическим артистом, а лучше бы дирижером джаз-оркестра!

Леонид Осипович, который немного знал французский, сказал (уже по-русски):

— Ничего не понимаю: вы — великий русский артист и завидуете мне — скромному джазовому оркестранту? Почему?!

— Есть основания, — ответил Юрьев. — Мне дали триста.

Утесов повторил:

— Не понимаю: при всем при том, вы же знамениты! С вашей популярностью…

— Да? — усмехнулся Юрьев. — Вот давеча ехал я во Владимир на выступление на своей машине. Вез меня мой шофер, очаровательный мальчик. Проезжаем мы мимо какого-то городишки — не то Ковров, не то Столбов, не помню сейчас, — он говорит:

— Юрий Михайлович, мотор барахлит. Нужно сменить… (не то лапку, не то свечку — я не разбираюсь). Пожалуйста, зайдите в руководство здесь, в правительственный орган…

Как он там выразился, не помню. В общем, мы подъезжаем к зданию местной партии, я — ему:

— Идите!

— Да нет. Зайдите вы. Вам наверняка не откажут!

Ну, я пошел. Спрашиваю:

— Где у вас здесь президент? Или председатель?

Они говорят:

— У нас президента и председателя нет. Есть — первый секретарь.

— Не может же быть секретарь самым главным?!

— Но у нас так… — они объяснили. Странное учреждение!

— Хорошо! — говорю. — Ведите меня к нему.

Привели, Сидит за столом молодой человек, очаровательный! Я представился:

— Здравствуйте! Я — народный артист Советского Союза Юрий Михайлович Юрьев. Вы знаете меня?

Он улыбнулся.

— Вас не очень… А Изабелла с вами?!

Вот и вся моя популярность. Правда, лапку или свечку дали…

В те годы мхатовцы, да и многие старые актеры были поразительно политически невежественны.

Скажем, например, Александра Александровна Яблочкина, которая числилась председательницей Всесоюзного Театрального Объединения (ВТО).

Была годовщина Октябрьской революции. В президиуме я сел рядышком с ней (мало ли что подсказать, если чего…). Она встала и говорит:

— Дорогие товарищи! Сегодня, в день славной Великой Октябрьской Социалистической… (она запнулась. Я ей

подсказываю: «революции!»). Она отмахнулась: — Я знаю! — И говорит: — Республики!..

Такая наивность была не только в этом… Мы показывали «Вампуку» для народных Советского Союза (число их в ту пору было значительно меньше, нежели сейчас!..). В первом ряду сидела Александра Александровна. Я был рядом с ней. Вампуку пела Лидочка Петкер, жена Бориса. Они стоят на сцене и поют:

— Бежим, бежим! — продолжая стоять.

Александра Александровна наклоняется ко мне.

— Странно: говорят «бежим», а не двигаются с места?!

Или, например, делали скетч «Сверхметкие стрелки»: сцена дуэли Онегина и Ленского. Ленский — Козловский, Онегин — Петя Селиванов, а свидетель — Володька Канделаки с наклеенным здоровенным носом.

Я сижу рядом с Яблочкиной. Ну, и вот:

«Куда, куда вы удалились?..» — Идет сцена дуэли. — «Хоть человек он неизвестный, но уж конечно малый честный».

В общем, Канделаки командует: «Сходитесь!» Раздаются два выстрела, и падает «мертвым» Канделаки.

— Это неправильно! — сердито сказала мне Александра Александровна. — Ведь убили же Ленского!

Я заехал за Александрой Александровной Яблочкиной, чтобы отвезти ее в ВТО на юбилейный вечер.

Проезжая мимо Театра Оперетты, наш шофер что-то нарушил и был остановлен милиционером, который подошел и потребовал документы. Но Александра Александровна обратилась к нему со следующими словами:

— Я — народная артистка Яблочкина и спешу на концерт, так что не задерживайте нас, пожалуйста, уважаемый товарищ городовой!

Растерявшийся милиционер отдал честь, и мы поехали дальше…

Клуб мастеров искусств в Старопименовском переулке…

Помню, как однажды присутствовали там Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко. Они сидели в первом ряду. Я — во втором, за ними. Надо сказать, что Константин Сергеевич не знал почти никого из деятелей других театров. Мимо них прошла актриса и поклонилась. Оба старика ответили на ее поклон. Потом Константин Сергеевич спросил у своего коллеги:

— Кто э-эта милая дама?

— Клавдия Новикова — премьерша Театра Оперетты, — с некоторым раздражением ответил Владимир Иванович, ибо уже в четвертый раз объяснял своему великому соседу имена и фамилии тех, кто с ними здоровался.

В проходе появился мужчина с очень черной бородой и усами. Он также тепло поприветствовал двух корифеев и прошел дальше.

— А это кто? — вновь спросил Станиславский.

— Надо все-таки знать своих коллег! — нервно поглаживая бороду, ответил Немирович. — Это — Донатов! Режиссер Оперетты.

Станиславский усмехнулся и, наклонившись к соседу, тихо промолвил:

— Что вы говорите глупости, Владимир Иванович! Режиссер не может быть с бородой!..

В Москву из Ленинграда приехала для работы в Театре Сатиры известная молодая актриса Капитолина Пугачева. Мы — ее друзья — звали Пугачеву Капой.

Первое выступление Капы в Театре Сатиры окончилось триумфально, и она сразу стала московской знаменитостью.

Через несколько дней Капа выразила горячее желание: познакомиться с Константином Сергеевичем Станиславским… Мы придумали способ, и Капа согласилась.

Константин Сергеевич жил в Леонтьевском переулке на втором этаже небольшого особняка. Его балкон выходил во двор. Константин Сергеевич имел привычку после обеда отдыхать в кресле на этом балконе.

И вот однажды во дворе появилась красивая молодая девушка, оригинально одетая — не то украинка, не то цыганка. Она спела под балконом три песни.

К ней спустился камердинер Станиславского — почтенный человек — и предложил деньги за ее работу.

Капа (а это была она) отказалась, пояснив:

— Я не уличная певица, а артистка Театра Сатиры. Спела я Константину Сергеевичу в знак глубокого к нему уважения и прошу его посетить спектакль, в котором я принимаю участие:

Камердинер ответил:

— Ничего не получится! Мы с Константином Сергеевичем в баню и Сатиру не ходим!

Будучи журналистом, я пришел к Ивану Михайловичу Москвину брать у него интервью.

Ожидая выхода великого артиста, я услышал, как его старая

горничная в коридоре говорит хозяину:

— Вот все кричал: «Старая жопа! Старая жопа!» А запонки-то на комоде лежали!

Актер МХАТа Александр Леонидович Вишневский обожал рассказывать анекдоты. Но не всегда точно передавал их смысл. Вспоминаю, как Вишневский сообщил мне следующее:

— Встречаются два еврея. Один спрашивает у другого: «Это Малая Дмитровка?» Тот отвечает: «Нет. Большая».

И еще:

— Еврей приходит в гости, а хозяев нет дома. В гостиной на столе лежали золотые часы. Еврей посмотрел на них и сказал: «Двенадцать часов». Взял, положил их в карман и ушел.

Прослушав эти «анекдоты», я сказал Вишневскому:

— По-моему — не смешно…

— Да, вы правы. Но это оттого, что у меня нет еврейского акцента.

— А кто их вам рассказал?

— Борис Самойлович Борисов.

Вечером в Литературно-художественном кружке я встретил Борисова и поинтересовался: в чем юмор этих анекдотов?

Борисов улыбнулся и ответил:

— Юмор вот в чем. Первый анекдот рассказывается так: «Один еврей спрашивает другого: “Это Большая Дмитровка?” И тот отвечает: “Порядочная…”»

А второй: «Еврей приходит в дом, где нет хозяев. Видит на столе часы. Прикладывает их к уху: “Идете? Так пойдем вместе!” Кладет их в карман и уходит».

Вишневский же всякий раз был убежден, что «юмор» в еврейском акценте!

Один из великих артистов, не хочу тревожить его имени, настолько «перебрал», что допился до белой горячки. У него начались галлюцинации.

После длительного лечения он, наконец, вновь появился в Клубе.

Мы играли с ним на бильярде. Он стоял лицом к открытой двери и вдруг закричал:

— Там лев!!!

Все поняли, что к бедняге вернулось безумие.

— Где лев?! — закричал я, стремясь его отрезвить.

— В раздевалке!

Чтобы убедить нашего друга, что «лев» — результат его воображения, мы взяли великого артиста под руки и повели в

раздевалку. И увидели, что там сидит… живой лев!

Рядом с животным стоял укротитель Борис Эдер, который привел своего питомца, чтобы выступить с ним в Клубе.

На другом конце города — в бывшем особняке графини Олсуфьевой на Поварской улице — стал действовать Клуб писателей. Принимали туда с большим разбором. Помещался он в самом особняке. Конечно, еще не было большого зала, который сейчас выходит на Большую Никитскую, не было теперешних новых помещений. В писательский Клуб приходили наши коллеги из Клуба мастеров искусств. Мы обменивались программами. Действовал Дом печати, в котором была великолепная «живая газета». Артистическая Москва жила большой вечерней и ночной жизнью. Мы видели и знали друг друга, и это способствовало тому, что каждый из нас был всегда рад оказать помощь любому начинанию, если начинание было связано с искусством, если в нем имелась хорошая литературная основа.

Не стану пересказывать, что происходило на сценах творческих клубов, но поверьте мне: это были жизнерадостные, полные юмора и сатиры, талантливые произведения!

У меня такое впечатление, что о том, чему я в своей долгой жизни был свидетелем, могли бы сегодня вспомнить, пожалуй, только Минин и Пожарский. Остальных уже никого нет…

Как воин-ветеран вспоминает былые походы незабываемых дней Гражданской войны, так и я вспоминаю о незабываемых днях открытия и триумфального успеха московского Театра Сатиры.

Это была, пора творческих дерзаний, смелости мыслей, молодости чувств, легкости исполнения. В те дни актер занимался только театром, театр был его домом. Не бегал актер, как борзая, с киностудии на радиозапись, из эстрадного ревю на телевизионную передачу. В те златые дни актер был только актером. Куда же, куда вы удалились, эти чудесные дни?

1924 год… Осень… Виктор Типот, Николай Эрдман и Владимир Масс — первые авторы… Идет обозрение «Москва с точки зрения»… Фейерверк юмора, актерского таланта, режиссерской выдумки. Жанр выбран самый острый, текст злободневный, безжалостный ко всему мешающему. Темы дальнейших спектаклей — бромного диапазона: от самых что ни на есть бытовых, пародийных до резко-политических. Одни названия уже говорят о многом: «Мишка, верти», «Спокойно, снимаю», «Европа — что надо», «А не хулиган ли вы, гражданин?», «Ой не ходи, Грицю, на “Заговор императрицы”».

А какие имена!

С. Близниковская, О. Зверева, Е. Малютина, Е. Неверова, К. Пугачева, Н. Слонова, Я. Волков, братья Зенины, Д. Кара-Дмитриев, Р. Корф, Ф. Курихин, П. Поль, Я. Рудин, Р. Холодов. А вскоре — В. Доронин, И. Любезнов и удивительный В. Хенкин.

Много радости принесли москвичам постановки этого коллектива, много было смешного и вокруг. То художественный руководитель театра Д. Гутман (будучи одновременно постановщиком какой-то музыкальной комедии в Театре Оперетты) по ошибке утверждает гримы актеров Театра Сатиры для артистов Театра Оперетты; то Иван Михайлович Москвин, пришедший на спектакль в гости к П. Полю, любезно соглашается посидеть на сцене в роли бессловесного посетителя сада-ресторана. А Иван Зенин, играющий официанта, возьми да и налей (вместо кипяченой воды) в графинчик… чистого спирта! Иван Михайлович — дабы подыграть и не портить ансамбля — наливает себе «водки» и натурально выпивает залпом приличную стопку… Задохнувшись, знатный гость спокойно ставит стопку на стол, встает и, посмотрев на артистов укоризненным взглядом, четко произносит:

— Ну, братцы… так мы не договаривались!

И под гром аплодисментов с достоинством уходит со сцены.

Но самым ярким воспоминанием тех славных неповторимых дней был спектакль «114-я статья». Тема пьесы — взятка, бич того времени, периода нэпа, незаконных операций, частного предпринимательства и чудовищной коррупции.

В спектакле были заняты лучшие силы, почти все ведущие актеры… Многих из них, к величайшему сожалению, уже нет в живых. Должность заместителя директора театра занимал тогда Виктор Самойлович Пильщиков, человек, влюбленный в театральное дело. Он почти всегда присутствовал в зале во время представлений, с интересом изучая реакцию зрителя. На первом спектакле с первых же реплик на меня напал такой неудержимый смех, что я — взрывами своего хохота — привлек внимание В. С. Пильщикова. Через минуту ко мне, сидевшему у прохода, подкрался дежурный милиционер и вывел из зала — «за нарушение правил поведения в театре».

Удалось посмотреть спектакль от начала до конца только на шестой раз: пять раз Пильщиков «выставлял» меня — при помощи милиции — «за попытку громким смехом сорвать спектакль». А я, зная, что В. С. следит за мной, смеялся от этого еще неудержимее, еще громче.

Все разыгрывали друг друга… Павлу Николаевичу Полю, страстному любителю бегов, официантка, обслуживающая ложу на ипподроме, поднесла блюдо с пирожками. Павел Николаевич

выбрал два из них, но, надкусив, обнаружил, что в обоих запечены использованные билеты тотализатора.

А когда было полное затмение солнца, старика Иткиса, контрабасиста оркестра, убедили, что никакого затмения нет и не будет, что все это придумал помреж Пашка Муховинский для успешной продажи артистам черных стекол. Так старик и умер, отрицая до конца своих дней возможность подобного «атмосферического явления». Правда, иногда Иткис начинал сомневаться и говорил Алексею Григорьевичу Алексееву:

— А все-таки, может, она все-таки есть, эта затмение?! Даже Прут утверждает, что она есть…

На что Алексеев, всплескивая руками, восклицал:

— Не верьте ему, Иткис, это такой врун! Как это можно, чтобы Луна залезла поперед Солнца? Они же не двигаются… Ах, что этот Прут только ни наговорит!

И так каждый день: за кулисами было не менее интересно и весело, чем на сцене… Сейчас иначе: и веселье куда-то исчезло, и сатиры маловато!

Вплотную я столкнулся с Театром Сатиры как один из авторов инсценировки «Милого друга» Ги де Мопассана. Соавтором моим был Е. Штейнберг.

Материал — прекрасный, до сих пор не потерявший своей обличительной силы.

Актерский состав — лучше не подобрать: Е. Уралова, Н. Слонова, В. Жуковская, О. Аросева, Г. Кожанина, З. Путяшева, Б. Дронова, Г. Менглет, О. Солюс, В. Лепко, Г. Доре, А. Папанов, Ф. Димант, Г. Тусузов и другие замечательные актеры… Поставленный Э. Краснянским, спектакль этот прозвучал отлично, он прошел более полутораста раз — при аншлагах и был снят по причине, до сих пор мне неизвестной. Вот так!

Николай Охлопков

Я расскажу вам о людях, которые, надеюсь, еще не забыты… Следующим станет Николай Охлопков. Мы с ним однолетки: оба родились в 1900-м. Если бы Николай Павлович был жив, то в нынешнем — 1995-м году, когда я пишу эти строки, мы отметили бы семидесятилетие нашей дружбы.

Редакция «Кооперативного пути» — органа Центросоюза — заинтересовалась репертуаром театра, руководимого Мейерхольдом. Главный редактор поручил мне побывать на репетициях, а затем посмотреть один из спектаклей мастера, вызывавшего диаметрально противоположные толки в обществе. Редактору нужно было мнение корреспондента, чтобы решить «важный вопрос»: можно ли рекомендовать эго представление для его коллективных посещений членами подмосковных кооперативов.

С разрешения администрации театра я попал на репетицию прославленного режиссера.

В полутемном зале по разным углам сидели участники будущей премьеры. Я устроился рядом с каким-то долговязым парнем, внимательно следившим за происходящим на сцене. Там Всеволод Эмильевич проводил урок по своей системе.

Мой сосед был, я бы сказал, крупным экземпляром человеческой породы: широкие плечи, могучие руки, крепкая челюсть и не менее крепкая посадка. «Наверное, рабочий сцены», — решил я, «опытный» уже физиономист. А парень, не обращая на меня внимания, как-то по-особенному кряхтел, радостно улыбался чему-то, что-то записывал. Реакция его на выполнение актерами указаний мастера была разной и мне абсолютно не понятной.

— Вы — артист? — спросил я шепотом во время небольшой паузы.

— А вы как думаете?

— Полагаю, что сами скажете.

— Наверное, я не похож на артиста?

— Да. Не очень…

— Ну и кто же я, по-вашему?

— Вероятно, руководите одним из цехов?

— В общем, не похож на артиста! Это хорошо. Значит, я нестандартный тип. Так вот, представьте себе, что я все-таки артист, хотя еще и учусь в Гектомасе! У него самого! У Мейерхольда! — Мой сосед при этом кивнул на сцену.

— Давно работаете здесь, в театре?

— Нет. До приезда в Москву был режиссером в Сибири. Работал только с любителями.

— А в столице что думаете дальше?..

— Еще не знаю. Посмотрим, как сложится. Пока мне предложили сниматься в кино. Там Александр Разумный ставит «Банду батьки Кныша».

— Вам повезло.

— Меня рекомендовал Тарич: приличный человек и автор сценария.

— Ну, а тогда… тут вы зачем?

— Набираюсь ума. Пройдут годы, искусство станет другим, а великая метода Мейерхольда останется! Она — революция! А он — велик! Он — революционер театра!

Я в ту пору слабо разбирался в новых течениях, бурной волной захлестнувших литературу и драматическое искусство. Поэтому и не мог поддержать разговор. Досидел до конца репетиции и вместе с моим соседом вышел на улицу.

У подъезда стояли трое молодых людей; они тоже только что покинули зал. Не сговариваясь, мы все двинулись в одном направлении. Они — эти трое — шли чуть впереди. И вдруг один из них, усмехнувшись, сказал:

— Штучки, братцы! Дешевые приемы, рассчитанные на идиотов. И артисты у него липовые: послушный скот! Недаром еще мой дядя пел!..

И мы с соседом услышали на мотив матчиша:

Я — Мейерхольд лиловый
И бестолковый!
В театре я — новатор
И декоратор!

Когда «певец» закончил, мой спутник спокойно сказал:

— Я сейчас набью ему морду.

Уверенный, что он, безусловно, это сделает, я попытался успокоить его:

— Стойте! Не надо! Этим вы ничего не докажете.

— Нет, докажу! Я докажу ему, что за такие песни его будет бить каждый человек, который хочет счастья нашему искусству. А вы отпустите мою руку! — Так как я держал ее довольно крепко, он добавил: — Не то я и вам морду набью!

Он бы, конечно, мог это сделать, столько гнева и ярости было в его лице.

Но произошло неожиданное: пока мы обсуждали возможную схватку, те трое вскочили на ходу в проходящий трамвай. Мы

остались вдвоем, и он тогда сказал:

— Вас бы бить я не стал. Ведь не вы пели эту пошлятину! Давайте знакомиться: я — Охлопков. А для тебя — Николай.

Мы побратались и стали видеться почти ежедневно.

Несмотря на то что я обслуживал ряд газет, заработки мои были малые. И Коля взялся мне помочь.

— Сколько раз ты ешь в день? — спросил он.

— Два: утром и в обед.

— Это не годится! «Мужик должен быть сыт и от этого свиреп!» Так говорил мой дед. Ион был прав. Почему не ужинаешь в Кружке?

— Это же Клуб мастеров! — усмехнулся я. — Ты знаешь, какие там цены?!

— Знаю. Но ты журналист и должен вертеться среди людей большого искусства! Иначе отстанешь от жизни! Что, кроме своей писанины, ты умеешь делать?

— Умею стрелять из винта и нагана, рубить шашкой, крепко сижу в седле.

— А из гражданского обихода не найдется ли чего-нибудь?

— Хорошо боксирую. Знаю классическую.

— Нет, борьба не нужна. А вот первое подойдет. Я устрою тебя в нашу картину: будешь заводить драки!

Но в результате его хлопот я попал не к Александру Разумному, у которого снимался Коля, а на студию «Межрабпом-Русь». Мой первый гонорар — два рубля сорок (двенадцать обедов) был получен за схватку с Борисом Барнетом в фильме Льва Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков».

После просмотра картины Охлопков сказал мне:

— Ты очень хорошо получился.

— Неужели узнал?!

— Конечно, твоя спина весьма выразительна! Отличный боец!

Слышать это мне было исключительно приятно, несмотря на то, что на экране я мелькнул всего лишь на несколько секунд.

Так началась моя жизнь в кинематографе, крестным отцом которой был мой дорогой друг Николай Охлопков. Дружили до последних его дней: он ушел, не дожив до шестидесяти семи…

Когда — после нескольких поставленных сценариев — я принес Охлопкову мою первую пьесу, прочел он ее быстро (хотя и был очень занят: кроме руководства Реалистическим театром снимался еще в фильме «Дела и люди»). Уже на следующий день он спросил:

— Кто-нибудь ставит?

— Да. Театр Красной Армии.

— Режиссер?

— Завадский.

— Это хорошо. У него настоящий талант и богатая фантазия! А где еще?

— Пойдет в филиале Малого и в Первом рабочем художественном.

— Х-м… Три театра в Москве?! Даже для столицы многовато… А жаль, я бы тоже взялся, но четвертым быть не хочу: хватит того, что я сам — бывшая Четвертая студия. А уж следующую пьесу ты, брат, дай мне одному. Только поменьше ремарок! Некто из вашей шатии попросил меня ознакомиться с его очередным шедевром, так там в списке действующих лиц об одном персонаже было написано: «Любит кошек»! А это животное в пьесе ни разу не появлялось. Да, вот еще: пожалуйста, не расписывай подробно и назойливо место действия. Пушкин писал: «Бахчисарай. Фонтан. Луна». Режиссеру вполне достаточно, если он режиссер!

Надо сказать, что, когда дело касалось театра, Охлопков ни с кем из друзей не любил советоваться. Поэтому, если мог узнать что-либо для себя полезное (а он исключительно талантливо умел «выуживать» в разговорах необходимые детали), то всегда прямо говорил: «Как ты отлично понимаешь, я в совете твоем совершенно не нуждаюсь. Мне просто любопытно тебя послушать. Узнать твое мнение».

В таких случаях я не был исключением.

Человеку, впервые попавшему на репетиции к Охлопкову и не привыкшему к его манере, поначалу могло стать не по себе. Дело в том, что Охлопков, прогоняя пьесу с артистами и монтировочной частью, затрачивал столько энергии, что в пересчете на киловатты ею можно было бы осветить любой район Москвы. Николай Павлович заканчивал репетицию только тогда, когда силы уже полностью оставляли его, несмотря на физические данные, вполне достаточные для профессионального борца. Охрипший, обессиленный, Охлопков почти падал в кресло и, запрокинув голову, закрывал глаза. Однажды я не удержался:

— Ну что ты орешь как резаный? Зачем прыгаешь взад и вперед, словно горный козел? Ведь когда-нибудь сердце не к выдержит. «Тик» — мы еще услышим, а уже «так» не получится! Каждый твой рев — это зарубка на сердце. А ранка — ручеек, потом — речка, а много ручейков — Волга, то есть инфаркт или инсульт! Опомнись, Коля!

Он нетерпеливо прервал меня:

— Ничего не получится. Нельзя работать, не отдавая себя всего — вместе с сердцем и другими потрохами. Теперь — по

деталям: во-первых, в тишине хорошо только разводить кур. Это не вопли, я — не ору, а просто громко разговариваю, чтобы актеры лучше слышали. Или выражаю свое впечатление от виденного. Пойми: выражаю впечатление. Стало быть, являюсь одновременно экспрессионистом и импрессионистом! Наверное, тебе не знаком смысл этих слов?

— Почему? «Экспрессной» по-французски «выражение», а «импрессион» — «впечатление».

— Смотри, какой образованный!

— Ладно! Но иногда, Николай Павлович, ты не замечаешь, что ругаешься просто как портовый босяк! Хорошо еще, что не при женщинах…

— Да это не ругань! Актеры великолепно понимают, что я не хочу их обидеть. Это тебе мои слова кажутся бранными, потому что ты — человек, не связанный с театром органически, целиком.

Повторяю: я — не искусствовед и не собирался в своих отрывочных заметках разбирать творчество человека, яркой звездой сиявшего на небосклоне нашего театра. Ярким было не только его творчество, его спектакли. Он сам был яркой личностью — и в быту, и в общении с теми, кто его окружал, с друзьями, актерами, соратниками.

Я горжусь тем, что был его другом, любил его как брата, получая взамен ту же чистую дружбу и братскую любовь. За всю нашу жизнь мы ни разу не поссорились, хотя иногда и ругались до хрипоты. Но брань, которой мы порой осыпали друг друга, если ее перевести на нормальный язык, была лишь текстовым выражением нормального творческого спора, где каждый по возможности четко пытался доказать свою правоту.

Меня привлекали в нем удивительная способность самовыражения, словесная и действенная, и этакая священная одержимость, сочетавшаяся с детской наивностью и безграничным доверием к людям.

Он жил всегда в особом, только одним им изученном и только одному ему видимом мире, накапливая духовные богатства, которыми щедро делился со своими соратниками, не тая от них своих раздумий, догадок, сомнений.

Мы виделись часто, и каждая наша встреча была радостью, надеюсь, для обоих. Мы торопились многое рассказать друг другу. Делились своими замыслами, горестями и удачами, шутили. Вот два примера.

Охлопков поставил «Лодочницу» Погодина. На сцене примадонна гребла по настоящей воде. Когда после спектакля я

зашел к Охлопкову, он спросил:

— Что ты напишешь об этой работе, великий критик мой?

— Не знаю еще точно, — ответил я, — но название уже придумал!

— Какое же?

— «Уходя, спустите воду!»

Когда Николая назначили заместителем Фурцевой по кино, я пришел к нему в новый кабинет и спросил:

— Тебя не пугает должность заместителя министра?

— Чудак! — ответил Охлопков. — Я же царей играл!

Обо мне он был действительно высокого мнения. Каждый сценарий должен был обсуждаться на специальной коллегии Министерства. Не помню уж, какой опус я ему принес, но по сей день в моем архиве сохранилась записка с его подписью, она гласила, что эту работу и все последующие у Прута — принимать без обсуждения на Коллегии…

Исаак Бабель

Данный опус, то бишь — «мемуары» — я назвал «О многих других и кое-что о себе».

Это дает мне право, не соблюдая хронологии, писать о тех неординарных людях, с которыми меня сталкивала жизнь. Среди них, несомненно, заслуживает внимания потомков Исаак Эммануилович Бабель. О нем, как писателе, создана солидная литература. *Я* же хочу ограничиться тем, что поведаю о Бабеле — моем собеседнике, спутнике по будням, рассказчике, о Человеке в самом высоком понимании этого слова. И наконец, о роли, которую он сыграл в моей судьбе.

Бабель прожил менее полувека — всего сорок семь лет: из них почти половину этого недолгого срока — на моих глазах.

Многое — достойное внимания — позабыто: остались лишь отдельные фрагменты не записанных жизненных эпизодов. Прежде чем остановиться на одном из них, хочу дать общую характеристику моего покойного друга, выделить главные, с моей точки зрения, черты его мироощущения и миропонимания.

Бабеля я знал веселым и добрым, предельно целомудренным, абсолютно бескомпромиссным, честным — и в повседневной жизни, и в творчестве. Он был ярым противником примиренчества в любой области, люто ненавидел «все хорошо, что хорошо кончается». Писал только о том, что знал и видел лично.

Мы — все, кто был с ним близко знаком, — любили его за удивительную терпимость, за повышенный интерес к личности.

В своих повестях и рассказах он поражал нас — его читателей и почитателей — сжатостью изложения и одновременно с этим насыщенностью содержания.

Абсолютно восторженным было отношение Бабеля к революции. Он воспринял ее как великое дыхание, очищающий шквал, освободивший народы России. При этом писатель смотрел на происходящее в первые годы становления молодой Советской республики глазами романтика-максималиста: это и формировало его мировоззрение. Пытливый исследователь, взволнованный случайным происшествием, он нередко отождествлял его со значительным событием.

Начал Бабель писать — по тем временам — рано, в двадцать один год: тогда таков был возраст совершеннолетия. Журнал Максима Горького «Летопись» предоставил свои страницы первым рассказам темпераментного южанина. Сразу добавляю: темпераментным Исаак Эммануилович был всю жизнь только в

творчестве, а среди нас, в общении с нами, — спокойным, деликатным, мудрым и рассудительным.

То, что Бабель говорил, — даже сидя в кафе, — оказывалось для собеседника неожиданным. Как-то он повернулся ко мне и вполголоса изрек:

— Надо что-то сделать значительное. Я не толкаю вас на попытку достичь на лыжах Северного полюса или захватить императорский престол. Но общение с писательской элитой — обязывает… Рискинд — моложе вас, и тот взялся — правда, сначала за ум, а затем — за перо. И вот он уже автор рассказов. Их читает Пашенная. Пора и вам тронуться — не умом, а — с места!

— Каламбур! — воскликнул сидящий за столом Юрий Олеша. — Дарите мне его, мэтр?!

— Меняю! Подбросьте и вы, Юра, мне что-нибудь. И пожалуйста, не сразу! Я могу подождать. Знаю: за вами не пропадет! А вы, Оня, пишите! Вспомните недавнее прошлое: сколько было свидетелей тех грандиозных событий, столько будет и различных откликов на прошедшее перед нашими глазами.

— Но-о я же… вообще… пишу! — робко попробовал я возразить.

Бабель, как всегда, был категоричен:

— Вы сочиняете для «Электробиографа». А что такое современное кино? Движущиеся картинки! Несколько строчек надписей и куцая сценарная запись не могут заменить собой новеллу. Кинематограф — новое искусство. Бесспорно, очень важное, но еще далеко не совершенное. Один-два шедевра на тонны свернувшейся в змеиный клубок отснятой пленки. А я говорю о литературе! Возможно, что с появлением звука кино и приблизится к сердцу человека. И либреттист станет нашим достойным собратом. Возможно. А пока… В общем, пишите!

— Мне трудно дается проза. Художественная. Подробности описания природы, событий…

— Тогда пишите для театра. У меня впечатление, что вы владеете диалогом, — смилостивился Бабель. — Попробуйте, наконец! И потом: ведь не боги горшки обжигают?!

— Вы могли бы найти более тонкий аргумент! — Олеша никогда не лишал себя возможности «зацепить» Бабеля.

В их разговоры я не позволял себе вмешиваться: Олеша и Бабель были королями литературных парадоксов.

— Сейчас не время для обсуждения тонкостей оборотов речи! Надо успеть рассказать молодежи о великом недавнем, пока оно не станет забытым. Попробуйте написать хотя бы приличную драму.

— Хорошо! — ответил я. — Попробую! Но с условием: когда закончу пьесу, вы оба даете мне слово быть первыми ее слушателями.

— У нас так много времени уходит на пустяки, что мы найдем час-другой и для вас! — обнадежил меня Бабель.

И что вы думаете? «Драму» я, как уже рассказывал, написал. И читал ее сам — в квартире Всеволода Вишневского. Присутствовали: хозяин дома, его супруга художница Софья Вишневецкая, Юрий Олеша, Лев Никулин, Олег Леонидов и Исаак Бабель. Когда я перевернул последнюю страницу, наступила пауза. Первым взял слово Вишневский, в ту пору уже известный драматург:

— Ну! Значит, мы, конармейцы, умели не только воевать?! Прут — всадник — рассказал о команде нашего бронепоезда! Я, провоевавший в бронепоезде, написал о кавалеристах! Бабель — политработник — сообщил нам совершенно другое о совершенно другом! Ждем вашего мнения об услышанном, патриарх!

Тогда Бабель сказал:

— Вообще интересно. Больше того, как это ни странно, было интересно и мне! Я думаю, будет правильным, если мы, все здесь присутствующие, письменно изложим свои соображения и подпишемся под ними. Для начинающего писателя такой документ станет путевкой в жизнь.

Я эту бумагу тогда никому не показывал. Она не понадобилась. Театры и так оказали мне достойное внимание: пьеса «Князь Мстислав Удалой» прошла по многим сценам страны.

Сегодня — 13 июля 1984 года — пятьдесят четыре года со дня моего знакомства с Исааком Бабелем. Сегодня ему бы исполнилось девяносто…

При всем пиетете к мэтру я не удержался и — в прозе — написал пародию на Бабеля… Когда-то в своем архиве я наткнулся на пожелтевший от ветхости оригинал с надписью Исаака Эммануиловича: «Ончик! Это — гениально!»

Бóльшей похвалы от Бабеля было не заслужить… Поэтому рискну в «мемуары» ввести тот небольшой рассказ, который я озаглавил: «Как это было бы в Одессе».

> «Вы спрашиваете: почему Беню Крика прозвали Королем? Так это знаю я, собирающий милостыню около синагоги биндюжников, старый еврей, у которого на сердце тоска и родная дочка учится ув русской гимназии.

Произошло все это тогда, когда в городе стояла весна. Был тот период года, когда на деревьях набухали почки, рождалась любовь, а у пожилых людей начиналась осень. На бульварах гремела музыка, лихачи носились по улицам круглые сутки, а девушки готовили приданое, ибо весна в Одессе означала замужество.

Молдаванка шумела. Шесть человек соскочили с красной машины французской фирмы «Панар-Левассор» у дома номер шесть по Костецкой.

Эти шесть человек вошли в одноэтажный дом номер шесть и остановились в дверях большой комнаты. В этой большой комнате под тяжестью блюд ломился стол. Рядом на кухне старые еврейки готовили рыбу и потрошили свежезарезанных кур. Они хлопали по жирным задам своих внуков и сотрясали воздух своими криками.

В конце стола сидел Беня Крик. Он был бандит и налетчик, но Беня любил свой город. Он страстно любил свой город. И когда шесть человек молча сели за стол, Беня сказал первое слово. Он говорил мало, но он говорил дело:

— Я просматриваю заграничные журналы и соображаю за ихнюю жизнь. Мы живем, между прочим, как свиньи, и это мне совсем надоело! Наш город — это город Одесса! И город Одесса должен стать заграницей! Что же мы имеем в Одессе? Мы имеем в Одессе солнце и воздух, степ и море, что, как известно, дает людям здоровье. И вовсе не надо оканчивать Высших женских курсов, чтобы это понять!

Имеем ли мы здоровье? Нет, урки, сыночки мои, мы не имеем здоровья! Мы становимся стариками ув тридцать лет — и это совершенно непереносимо! Послезавтра чтобы вся Одесса вышла на воздух, как это делается за границей! Чтоб вышли все: богатые и бедные, старые и молодые, мужчины и дамочки, и мы начнем давать людям здоровье! Да будет так, или я сделаю Одессе несчастье!

Шесть человек тяжело вздохнули, и от этого у каждого жилет лопнул на широкой груди. Это были шесть красавцев — все сплошь в котелках. Фиолетовые брюки обтягивали их могучие ноги, пиджаки топырились сзади от навешанных там револьверов разных систем. Каждый из них мог побороться со знаменитым Иваном Поддубным или перебросить через забор заводского

коня. Но выполнить то, что задумал Беня… — с таким они столкнулись впервые. Однако никто не возразил атаману. Бандиты кушали рыбу и запивали ее водкой, настоянной, на перце и чесноке. Они пальцами вынимали изо рта застрявшую там пищу и снова клали ее в рот. Все молчали, потому что каждый думал о своем. И только Левка Буцис — отчаянный артист своего ремесла — вдруг неожиданно произнес:

— Я ув первый раз слышу подобное, Бенчик… И…

Он не закончил потому, что Беня посмотрел на него. И Левке сразу стало плохо. А стало ему плохо потому, что глаза у Бени блеснули нехорошим огнем, но Левке стало уже совсем плохо, когда Беня, улыбнувшись, сказал:

— Ты это слышал, детка, ув первый раз, так смотри, чтоб на этой земле это не было бы в последний!

Ужин окончился, и шесть человек кинулись обратно в машину.

На следующий день в Одессе творилось что-то невероятное. В лавках не хватало мадаполама, все швеи города шили трусы и майки; красильни создавали такие тона, которые нельзя было найти даже в солнечном спектре. Стон шел по Одессе такой, что невольно вспоминались дни разрушения храма Соломона. Конфекцион Боярского работал до поздней ночи, но хозяин жаловался в кафе Фанкони:

— Что из того, что я продаю ежедневно триста пар спортинвентарю, когда жизнь потеряла для меня все свои прелести!

И многие другие люди не спали от этой Бениной затеи. К нему влетел Тартаковский — старший билетер оперного театра — и закричал:

— Босяк! Я плюю в твою морду, босяк! Что ты выдумал за дело?! Гонять по улицам нормальных людей? Где это видано, чтобы евреи ходили в коротких подштанниках при полном дневном освещении?! Твои парни заставили мою мать — самую старую и самую почтенную женщину в городе — делать какие-то, как они выразились, «вольные движения»! Что это такое?! Или в городе нет полиции?!

Беня сказал:

— Мосье Тартаковский, полиция в городе есть. Но она занята своими делами. Если вы спросите какими, я вам отвечу: полиция у меня будет соблюдать порядок.

Что касается до вашей мамы, так ей от этого плохо не будет, потому что все это есть Мюллеровская система. Система профессора Мюллера дает людям здоровье и силу, и если ваша мамаша будет делать эти движения, она проживет до ста двадцать лет. Что же касается вас, мосье Тартаковский, рекомендую вам быть готовым, вместе с вашей семьей и старшим сыном — врачом ухо-горло. Я знаю его паршивый характер! Скажите ему, что если он завтра не выедет со всеми на своем голубом лисапеде ув степь, так пусть он будет не только доктор, а даже доктор философии, на него будет отпущено на еврейском кладбище всего только три аршина земли.

И прошел еще день. На другое утро — со всех сторон — заиграли оркестры. Они играли любимую музыку Бени, а именно: «Смейся, паяц!» И толпы людей, богатых и бедных, молодых и старых, с женами и детьми двинулись к еврейскому кладбищу. И казалось, что поле цветов приближается к могилам наших отцов. Многие почтенные граждане захватили с собой молитвенники и простыни для одевания мертвых, ибо мало кто рассчитывал вернуться с этой встречи живым.

Сто тысяч человек остановились в степи лицом к входу. У ворот стоял Беня. Он сказал:

— Спасибо, что вы пришли сюда по своей воле и не заставили меня устраивать вам поминки. Сейчас вы будете делать гимнастику. Я хочу вам здоровья и долгой жизни! Пускай те, кто умеет стрелять, идут за моими товарищами. Мои мальчики научат вас пускать пули в черную точку, без промаха снимать яблоко с головы, не задевая волос. Этим стрелковым делом займется Петька Бык, которого не зря зовут «Вильгельм Телль».

Беня поднял руку. В тишине гремел его голос:

— Люди сидячего труда: портные и банкиры, писатели и шамесы — пускай бегают по полю и играют в футбол! Женщины и дети! Заводите хороводы, хапайте воздух полными легкими. Набирайтесь здоровья! Кто хочет, может плавать, лазить по канату или прыгать ув высоту. Тот, кто прыгнет выше сажени, будет мне другом в течение целого года! Кроме того, он получит премию в двадцать рублей, которую я тут же — добровольно — заберу у богатых.

И музыка снова заиграла «Смейся, паяц!» Беня махнул платком, и тогда началось невероятное. Люди стреляли в цель, другие носились по полю, неуклюже

толкая футбольный мяч, стараясь забить гол в пустые ворота, третьи — лезли по канатам, пытаясь добраться до верху без того, чтобы сразу не упасть на землю. Одесситы прыгали через веревку и дрались за право прыгнуть первым, а Беня летал по полю на красной своей машине и подбадривал граждан нашего города. Он лично руководил старухами и членами Общества приказчиков, которые делали действительно вольные движения.

И только тогда, когда на небе зажглась последняя субботняя звезда и люди устали до невозможности, этот спортивный праздник закончился. В свои дома вернулись сто тысяч человек. Их собрать мог только Беня Крик, и с тех пор его прозвали Королем. Он первый привил одесситам спорт, как во время эпидемии прививают холеру. Один он мог это сделать, и в этом, заверяю вас я, старый нищий еврей, чья дочка учится ув русской гимназии, и у которого на душе — осень».

Все это написал я — Иосиф Прут, пародируя моего друга Исаака Бабеля.

Личность удивительной человеческой доброты, исключительной отзывчивости, верности дружбе — Исаак Эммануилович Бабель был, кроме того, еще и выдающимся писателем.

Принадлежа к южной группе литераторов, он дружил, естественно, с Багрицким, Ильфом и Петровым, Татьяной Тэсс, Катаевым и Олешей.

Мне выпало счастье часто общаться с этим удивительным человеком, уход которого из нашей творческой жизни, а затем и из жизни вообще я переживал очень тяжело.

С его исчезновением ушли основные элементы дружбы, товарищеской верности, любви и уважения к своему коллеге. Бабель унес все это с собой.

Он был, кроме всего, еще и веселым человеком. Ценил остроты коллег, да и не только своих литературных собратьев.

О Бабеле написано много. Написано — в большинстве случаев — сердцем, даже когда это было смертельно опасно для автора воспоминаний.

Я ограничусь лишь двумя фактами. С первым — пародией на Бабеля — я вас уже ознакомил.

Второй. Тридцатые годы. Одесса. Лето. В южный город собрались почти все выходцы из этого удивительного во всех

отношениях места.

В Горсовете устроили встречу именитых гостей со своими коллегами — писателями-одесситами.

Я — гость, взявший на себя заботу освещения выдающегося собрания в печати.

Сижу рядом с Бабелем, а слева от него — местный коллега. Бабель представляется ему.

— О! Какая для меня это честь! — дрожит голос одессита.

— А с кем я имею удовольствие познакомиться? — спрашивает Бабель.

— Моя фамилия — Яновский! — слышится в ответ.

Бабель улыбнулся и дружелюбно сказал:

— Я знал Гоголя-Яновского! Вы случайно не родственник?

— Нет. Я просто Яновский. Сам по себе! Но меня знают не меньше, чем того!

Бабель искренне удивился:

— Даже?! И… почему вы так решили?

— Сейчас узнаете! Скимосы «Ревизора» читали? Или, скажем, цукчи?..

— Не знаю… не думаю. Но при чем тут эскимосы?

— А очень просто! Потому что *меня* знает весь Советский Союз! И все поют мою песню.

— Это какую же? — не удержался Бабель.

— Я автор песни — музыки и слов: «Ужасно шумно в доме Шнеерсона»! Вот кто я!

Бабель улыбнулся и вынужден был признать:

— Да. Вы действительно человек известный. Вашу песню поют повсюду.

О двух Соловьевых и Борисе Корнилове

Очень много лет прошло с момента нашего знакомства: значительно больше пятидесяти…

Это было в Петрограде — накануне получения городом имени вождя революции.

В подвале кафе «Норд» я сидел с тремя молодыми поэтами. На столике перед нами — по стакану чая и одному пирожному: на большее не было денег.

Мальчики поочередно читали мне свои стихи. Старшему — Борису Соловьеву — было лет двадцать, его тезке — Боре Корнилову — семнадцать, а однофамильцу — Володе Соловьеву — столько же.

Стихи звучали разные: величественные, мужественные, написанные сердцем и кровью — на смерть Ленина; полные нежности и молодости — о любви, первом чувстве и вере в прекрасное светлое будущее.

С той незабываемой поры расцвета советской литературы мы старались видеться как можно чаще, всегда делясь лучшим, что было нами написано, а зачастую — и скромными нашими доходами.

В этой поддержке друг друга росло могучее товарищество, наша крепкая «Заневская Сечь», ибо перебазировались мы за реку Неву — в гостеприимные комнаты сценарного отдела будущего «Ленфильма».

Со временем творческие пути наши пошли по разным направлениям. Несмотря на диапазон каждого из нас, Боря Соловьев стал для всех троих самым главным, самым авторитетным критиком. Думаю, это потому, что он — единственный среди нашего вольного казачества — имел высшее образование: около четырех лет учился в университете.

Кроме того, Боря был самым спокойным, самым разумным, самым уравновешенным. Только он один мог двумя-тремя тихими словами сдержать бешеный темперамент Корнилова, успокоить гасконскую страстность Володи Соловьева, постоянно готового наброситься на любого оппонента.

Все, что выходило из-под критического пера Б. Соловьева, всегда отличалось глубочайшей продуманностью, не оставляло в нас — его друзьях — никаких сомнений в точности и справедливости его оценочных суждений. Несмотря на то что я был на четыре года старше Бориса (а такая разница в возрасте в ту раннюю пору имела большое значение: Корнилов звал меня «отцом»!), говорили мы на равных, ибо разума, логики,

редакторских способностей и дельных советов у моего товарища хватило бы не только на нас троих!

Мои первые работы в области кино и театральной драматургии были Борей тщательно изучены: на многих страницах первых экземпляров имелись его мудрые карандашные заметки. Они помогли моим первым сценариям и пьесам стать лучше, стройнее. Даже в этом была Борина особая чуткость и деликатность: он писал свои соображения не на полях, а на обороте предыдущей страницы, писал всегда обыкновенным карандашом, приговаривая:

— После того как ты ознакомишься с моими пометками по данному эпизоду, согласишься с ними или нет, сделаешь соответствующую поправку или оставишь как было… всегда сможешь ластиком стереть написанное мною.

Десять лет мы жили почти рядом, встречались часто.

Затем я переехал в Москву, потом мы потеряли Бориса Корнилова и уже только втроем ушли на войну.

После Победы мы виделись реже, но оставались теми же друзьями — ни на минуту не ослабляя внимания к творчеству друг друга.

Сейчас, когда, самый старший из четырех, я на этой Земле остался один, всегда с нежностью вспоминаю моих ушедших товарищей, и — с особой нежностью — моего многократного литературного редактора.

Если перелистываю страницы «Князя Мстислава Удалого», мне кажется, что я громким голосом читаю их, а рядом сидит тот, кто первым услышал мою первую пьесу, мой дорогой товарищ и добрый советчик — Боря Соловьев.

Я никогда не писал биографий. Но вы прочли то, чему я отдал многие часы, причем не в самую раннюю пору моей жизни, — это воспоминания об ушедшем соратнике, очень-очень родном мне человеке.

Когда умирает кто-то из близких старше тебя, такая потеря, естественно, тяжела. Но особенно чувствуешь необъятность беды, когда твой исчезнувший друг был моложе. Уж тогда его смерть оставляет рядом с тобой невосполнимую пустоту.

С Владимиром Александровичем Соловьевым мы дружили полвека. Я полюбил его сначала как сына, затем — как младшего брата, а потом уж — как ровню: все это касается нашей разницы лет, а не наших литературных достоинств.

Признаюсь: наступило время, когда и он, с особой теплотой всегда относившийся ко мне, стал давать мне дельные советы, звучавшие у него порою как отеческие наставления.

Побудило же написать о Володе Соловьеве мое глубокое преклонение перед его могучим талантом. И я счастлив, что жил с ним в одну эпоху.

Соловьев писал свои пьесы в стихах, ибо все то, о чем он писал, виделось ему на сцене только в поэтических образах.

Я полагаю, что эти мои записи уникальны, так как об этом нигде и никем не рассказано и нигде не опубликовано.

Володя родился и получал прозвища: Бутуз, Бутя, Пупсик.

Фехтованию на шпагах его учил отец с детства. Отец отлично ездил верхом, чему научил и сына.

Будучи — в уже далеком прошлом — буденновцем, я с интересом наблюдал, как Володя сидит в седле.

В их семье царил культ армии: отец всегда вздыхал, что не успел принять участие в русско-японской войне.

Первые патриотические стихи были написаны Володей, когда ему едва исполнилось семь лет.

Современен ли Соловьев? Безусловно. Его стихи и сегодня звучат, как набат.

Блистательно прошла в ленинградском Театре имени Пушкина его пьеса «Великий государь».

По поводу «Сирано» злословы горланили:

Нет, Щепкиной ты не соперник
И им не будешь никогда!
Ты ж…па Щепкиной-Куперник,
И в этом вся твоя беда!

Однако в своем переводе «Сирано де Бержерака» Соловьев не только нашел блистательный эквивалент французскому слову, но и заставил трепетать русского зрителя, ибо тот, кто сидел в зале, сердцем почувствовал в поэте-гасконце биение сердца своего собрата, поэта сегодняшнего дня!

Когда известный артист эстрады Николай Павлович Смирнов-Сокольский однажды, обратившись к Володе, назвал его Пупсиком, Соловьев встал и резко оборвал собеседника:

— Я попрошу вас, уважаемый, беседовать со мной без фамильярностей. У меня есть имя, а кроме того, — и прозвище, которым при общении со мной пользуются мои друзья. Поэтому даже вам — старшему — я не разрешаю…

— Что ж, прикажешь тебя еще и по отчеству? — спросил Смирнов-Сокольский.

— Нет! И этой вольности я вам не разрешаю, ибо мои друзья зовут меня не Пупсиком, а Бутузом, уменьшительное от которого — Бутя.

В одной из бесед Юрия Олеши, Володи Соловьева и Бориса Корнилова я услышал их сетования:

— Нам бы жить сто двадцать пять лет назад! Наполеон, Суворов!..

Небольшого роста, но крепкий и гордый, Владимир никогда не оставлял слово или дело оппоненту… Много позже, когда после успешного показа его пьесы «Совесть», другой драматург (Юлий Чепурин) назвал свою пьесу так же, Соловьев немедленно отозвался:

Вы, драматургом быть готовясь,
Не выбираете путей!
Скажите: где же ваша совесть,
Коль вы нуждаетесь в моей?!

Я не театровед, не театральный критик и никак уж не могу себя считать специалистом в разборе качества поэзии. Этим занимаются люди компетентные, иногда — малокомпетентные, иногда получившие для этого специальное высшее образование, а иногда не имеющие и среднего… я же просто друг покойного — зритель его пьес.

1923 год. Моя первая пьеса «Князь Мстислав Удалой» репетируется в ленинградском «Красном театре». С волнением жду премьеры, на которую, естественно, приглашены все мои друзья.

За двое суток до торжественного дня рано утром прозвенел телефон, и раздался спокойный голос Володи:

— Извини, старик, что разбудил тебя. Но, к сожалению, мы с мамой на твой спектакль послезавтра не придем.

— Ну, до следующего раза! — удивленный, ответил я.

— И на следующий не сможем.

— Почему такая опала? Чем заслужил?

— Ты — ничем. Но сегодня ночью здание «Красного театра» сгорело дотла со всеми декорациями. Думаю, ты еще об этом ничего не знаешь. А теперь, поскольку тебе уже не о чем волноваться, можешь спать спокойно.

У Володи были неприятности с ЛАППом. Поддержал его в эту трудную минуту лишь Борис Корнилов. Он лично писал в Москву Леопольду Авербаху — председателю РАППа, за что и сам подвергся резкому осуждению: был награжден званием «кулацкого подпевалы». На это Корнилов ответил широко

повторяемыми в ту пору стихами:

Я от злости посинел и высох.
Застит горизонты от огня,
«Наступлением» тупых и лысых
Кто-то хочет доконать меня.

Вот нависла надо мною ЛАППа,
Затхлая, бездарная навек.
Этой ЛАППой управляет ЛЯПа —
Абсолютно лысый человек.

Он ответствен и уполномочен,
Для него уже удел готов:
Обнаружить сотни червоточин
В сотнях обязательных стихов…

Заканчиваются эти гневные вирши следующими словами:

Но, страна моя, писавший кровью,
Эту кровь задаром не отдам!

Из всех четырех мушкетеров Юрий Олеша был Атосом.

О Володе, который, рискуя, бросался на более сильного противника, Олеша сказал:

— Это вы, наивные, думаете, что Володька чем-то рисковал. Неужели не понимаете, что если бы даже Голиаф и победил Давида, то мы сегодня говорили бы не о силе Голиафа, а о смелости Давида. И когда Володька бросается на более сильного, то он великолепно учитывает вашу наивность и некомпетентность.

Когда я в кругу друзей отметил, что Володя никогда ни при каких обстоятельствах ни перед кем не лебезил и никому не кланялся, Олеша не удержался от возможности зло сострить:

— А мы этого просто не замечаем. Володя такого малого роста, что его низкий поклон у другого показался бы нам едва заметным кивком.

— Когда я приступаю к работе, — говорил мне Володя, — то досконально знакомлюсь с моими персонажами. Я живу рядом с ними почти со дня их рождения, изучаю все их привычки и поступки, начиная с самого раннего детства. Затем, в период

формирования их характера, стараюсь не упускать ни факта, ни одной детали, ни одного словесного выражения. Я довожу мое постоянное общение с ними до того момента, когда они выходят на сцену и начинают действовать, излагая мысли, присущие им, в моей стихотворной форме.

У меня такое ощущение, что с Михаилом Кутузовым я вообще никогда не расставался, а иногда одновременно был не только с ним во главе одной из штурмовых колонн под стенами Измаила, но и в домике, откуда великий Суворов отдавал свои приказы войскам.

Мне кажется, что это я подсказал Александру Васильевичу на просьбу Кутузова: «Пришлите мне две роты, и я возьму город!»— ответить следующими словами: «Подкреплений, милый Миша, не дам, их у меня нет. И в связи с этим назначаю тебя комендантом Измаила».

И Кутузов им стал: во главе своих гренадеров он первым поднялся на городские стены и завязал уличный бой.

Одно время мы готовили эпитафии друг другу, на всякий случай. Поэтому одной нашей подруге в альбом было написано:

Ты возлегла на ложе,
И — наконец — одна…

У Володи Соловьева было особое поэтическое восприятие любого своего персонажа, от главного действующего лица до самой маленькой роли. В его представлении они говорили только отточенными как бритва неожиданными рифмами.

Соловьев присущим именно ему авторским взглядом, видел и декорацию, в которой разворачивалось его поэтическое действие. Ремарка, написанная александрийским размером, давала постановщику единственно правильное решение оформления сцены.

(«Комната Лены: цветы и цвета.
Они сочетаются в стройной гамме,
Но все-таки здесь проживает не та,
Что свой уголок убрала цветами».)

Соловьев обладал особым чувством, которое я бы назвал стиховидением.

Как ни странно, Володя никогда о своем детстве и первых годах юности мне не рассказывал. Об этом периоде его жизни я узнал из отрывочных сведений, сообщенных его уважаемой матушкой — женщиной, для которой ничего, кроме

единственного сына, не существовало.

Вышла она замуж сразу же по окончании гимназии за Александра Ивановича Соловьева. Только что отгремели раскаты первой русской революции. И было ей в ту пору неполных девятнадцать. Супругу чуть побольше — двадцать один. Брак был результатом четырехлетних встреч и большой любви.

Происходило это событие ранней осенью 1906 года в небольшом городе Сумы — в ту пору Харьковской губернии. Известен городок был тем, что в его казармах размещался знаменитый Сумской полк гусар, победоносные штандарты которого овеяны славой войны 1812 года.

Александр Иванович Соловьев занимал скромную должность в местной городской управе. Харьковский университет он так и не окончил, но некоторыми льготами в Сумах все же пользовался, ибо происходил из семьи почетного потомственного гражданина этого города.

8 апреля 1907 года у молодых супругов родился сын, нареченный Владимиром. А в начале следующего — 1908-го — семья переехала в Петербург, тогда столицу Российской империи. Городская управа предложила Александру Ивановичу должность помощника контролера городских больниц.

— Честно говоря, я ничего не рассказываю о своем раннем детстве только потому, что мои более или менее яркие воспоминания начинаются только с семилетнего возраста, — сообщил мне как-то мимоходом Владимир Соловьев.

Разговор этот состоялся в Манеже — Володя отлично ездил верхом. Когда я отметил великолепно выполненный им подъем в седло, он объяснил:

— Отец учил. Уж батя мой в этом деле преотлично разбирался. А посему — вот это помню вполне отчетливо. Когда началась война четырнадцатого года, он был мобилизован прапорщиком в кавалерию, где и провоевал, дослужившись до поручика драгунского полка, входившего в состав девятой русской армии. Лихой наездник и храбрый человек, отец был любим своими подчиненными. Ни пуля, ни сабля не тронули!

Сразил Александра Ивановича сыпной тиф, и 21 февраля 1917 года его соратники похоронили этого боевого офицера в местечке Ицханы, что около румынского города Сучава.

В России назревали революционные события. Бастовали около миллиона рабочих. Царский трон шатался. О положении в стране на фронте знали. Поэтому последние слова Александра Соловьева были обращены к рядовым драгунам его взвода: «Послушайте меня, ребята. Раз там, в тылу, заговорили в полный

голос о свободе, значит, теперь дело только за вами».

Обо всем этом вдова и сын узнали из письма сослуживцев покойного.

Так осиротел маленький Володя, которому в это время еще не исполнилось и десяти лет.

Соловьевы — мать и сын — остались без всяких средств к существованию. И трудно детство будущего драматурга назвать «золотым». Учился он тогда во втором классе гимназии. А вот получить среднее образование Володе так и не удалось.

Ему пришлось работать. Дело в том, что жалованье матери было далеко не высоким: она, после смерти мужа, пошла служить новой власти — сначала в отдел благоустройства Петроградского Совета делопроизводителем, а затем библиотекарем в Клуб воздушной обороны Петроградского района.

Когда Володе исполнилось 13 лет, между ними произошел разговор. Я повторяю его предельно точно, ибо слышал эти слова (правда, в разное время) и от матери, и от сына.

Как-то оба вернулись домой: она — с работы, он — из школы.

— Тебе не кажется, сынок, что я еще молодая женщина? — спросила мать.

— Ну, не совсем молодая, но еще вполне привлекательная. А к чему это ты, мама?

— Мой сын уже вполне взрослый мужчина. Так вот, Володя, я решила выйти замуж.

— Надеюсь, ты не рассчитываешь, мама, на то, что я буду любить его?

— Главное, чтобы его любила я и чтобы он любил меня. Мой будущий муж вполне достойный человек, и я выйду за него.

Отчимом Володи стал Николай Константинович Веденеев. Он был комиссаром Петроградского укрепленного района и Петропавловской крепости. В доме стали отдельно жить две семьи…

Володя проучился еще два года в своей гимназии, ставшей 182-й трудовой школой-семилеткой. На этом и закончилось неполное среднее образование моего дорогого друга.

И мать, и отчим предлагали Володе продолжать учебу. Но он категорически отказался, очень огорчив обоих своими объяснениями:

— Дело в том, что я не мог лишить мою дорогую маму удовольствия содержать меня до пятнадцати лет. Сейчас перед вами стоит совершенно взрослый человек, который должен сам позаботиться о себе. Меня принимают учеником монтера на Третью электростанцию. Заработаю на жизнь…

— Но ты же так боишься тока! Он всегда вызывал в тебе

панический страх! — не выдержала мать.

— Вот поэтому я и поступаю именно туда, причем не электриком, а учеником такового, чтобы раз и навсегда избавиться от этого постыдного чувства. Дальнейшему обсуждению не подлежит. Я завтра уже выхожу на работу.

Так начал трудовой стаж Владимир Александрович Соловьев. Об этом периоде его жизни мне запомнилась одна беседа. Я спросил:

— Ну, хорошо, о своем дошкольном периоде, ты утверждаешь, что ничего не помнишь или просто не хочешь вспоминать, в чем дело, Бутуз?

— Нет, почему? Кое-что помню: учился предельно плохо. Уроков не делал. Все время читал, чистил лошадей в манеже, за что имел право ездить верхом сколько влезет. Историю и литературу любил. Математику, физику, химию — терпеть не мог. Поэтому проваливал все испытания по этим предметам, путая числитель со знаменателем, десятичные дроби с обыкновенными, аноды с катодами и вольты с амперами. До сих пор не знаю, на черта нам нужен водород, когда мне вполне хватает кислорода. Дело доходило до скандалов. Когда начались уроки алгебры и наш преподаватель Валентин Яковлевич не то Цантовитов, не то Цинговатов сказал, написав на доске: «X + У = Z», я с места ему возразил: «Это предельно глупо!»

— Почему глупо? — заинтересовался педагог.

— Потому что, — ответил я, — если сложить «икс» и «игрек», то получится «икс-игрек», а не «зэт».

— «Зэт» — новое число, — настаивал наш учитель. — Если соединить невесту с женихом, то она будут носить новую фамилию, фамилию мужа.

Но отбиться от меня ему уже было трудно.

— Во-первых, — сказал я, — у меня ваш «У», как буква, вообще под сомнением. Я узнал, что «У» по-французски и гречески — «И». А затем, смотрите, что вы делаете с другой буквой славянского алфавита, когда пишете, что «А плюс В равняется С плюс D». Почему я должен этому верить? И вообще, как это может быть?!

Владимир Яковлевич терпеливо доказывал:

— Если «А» равняется десяти, а «В» равняется пяти, «С» равняется семи, «D» равняется восьми, то будет по пятнадцать.

— Тогда и это тоже глупо, — спокойно заявлял я. — Зачем доказывать, что пятнадцать равно пятнадцати. Это и так известно.

В общем, об уравнениях ничего не помню. Да и вряд ли в них разбирался. Усвоил только таблицу умножения и основные

четыре правила арифметики, чего мне абсолютно хватает и по сию пору.

А вот то, что пережито после школы, отлично помню до сегодняшнего дня. Все было далеко не просто. Ученик монтера не только учился у монтера ремеслу. Мне еще приходилось бегать ему за водкой, иногда даже покупать ее на свои деньги. Но Митрофан Иванович был человеком абсолютно порядочным — явление редкое по теперешним временам. Долг он мне отдавал точно в день получки. И учил меня вдохновенно. А со стороны на это смотрели косо, и тому была веская причина. Ведь многие дети интеллигентных родителей шли работать не потому, что они хотели стать кадровыми рабочими той или иной специальности, в чем была тогда крайняя нужда. Труд для них являлся своеобразной лазейкой. Делалось сие для получения путевки сначала на рабфак, а затем уже и направления в любое высшее учебное заведение. Поэтому с самого начала моей абсолютно искренней трудовой деятельности я находился под сильным подозрением у окружающих меня рабочих, как мальчик, пришедший на электростанцию за возможностью выскочить в люди.

— Да, не сладко тебе, Бутя, жилось. Совсем не сладко.

— Вследствие такого положения, если у меня и возникала мысль о продолжении систематического образования, то излишнее самолюбие и, я бы сказал, даже гордость, заставили меня навеки отказаться от такого будущего. В общем, учился я не столько в учебных заведениях, сколько по Горькому — в людях. И продолжалось это достаточно долго, до двадцать шестого года.

— Что ж, все время — учеником?

— Нет. Через пятнадцать месяцев окончил мой университет у мастера, и тот взял меня к себе уже подручным. Он остался мною доволен и порекомендовал повышение. Так, в двадцать четвертом меня перевели в Петроградский район на дежурный пункт «Электротока» (тока я уже больше не боялся), где я занимал высокую должность по включению света и выключению его за неплатеж.

— Что за странная должность? Их что, этих неплательщиков, было так много?

— Полгорода. Плату ввели сравнительно недавно. Но я взыскивал все до копейки. Был неумолим. Мною были довольны: план я уже тогда выполнял на все сто процентов.

— Значит, у тебя появилась перспектива стать министром финансов?

— Очень остроумно, но тогда, если помнишь, министров не было. Наркомы руководили.

— Подожди, Володя! Может быть, я что-то запамятовал, либо… Когда мы с тобой познакомились, по-моему, шел двадцать четвертый год?..

— Да. Столкновение двух титанов произошло в манеже. Я сделал тебе замечание по поводу посадки в седло, а ты обозвал меня сопляком. Так как вызвать тебя на дуэль я не смог — ты бы наверняка отказался! — то мы вежливо поклонились друг другу и разошлись. Но это была мимолетная встреча. Настоящие отношения начались три года спустя. Закончил я свою трудовую карьеру в двадцать шестом, по сокращению штатов.

— Молодцы электрики! Значит, вовремя спохватились!

— Я им за это очень благодарен, ибо с тех пор, кроме армии во время Великой Отечественной войны, нигде больше никогда не служил. Но расстался я с заводом все-таки тяжело — он стал мне родным. И родилось поэтическое прощание, которое ты найдешь в моей первой книжке. Назвал я его «Последний день».

— Может быть, отвлечемся от твоих оглушительных успехов на электрофронте? Кстати, я понимаю теперь, почему в эти годы так часто гасло городское электричество. Расскажи-ка, брат, о самом первом напечатанном стихотворении. Все-таки какой-никакой, а поэт!

— Год двадцать четвертый. Мне — семнадцать. Первое стихотворение — называлось оно «В кузне» — было напечатано журналом «Ленинградский металлист». После этого стал писать довольно регулярно для других журналов и газет моего великого города. В том же году, например, было напечатано еще несколько моих стихотворений в отделе фабрик и заводов нашей «Красной газеты».

— Скажи мне, сынок, твоими первыми шагами кто-нибудь руководил? По-моему, тогда уже существовала литературная консультация при ФОСПе, да и РАППовцы учили молодых.

— Вот именно, молодых. А я был уже не молодым.

С детства считал себя поэтом. Но своими некоторыми успехами на этом сложном — новом для меня — литературном поприще, а в известной мере и моральными качествами писателя, достойного называться советским, я, несомненно, обязан одному из старейших поэтов — Илье Ивановичу Садофьеву. Это он в то время руководил занятиями начинающих писателей литературной рабочей группы «Резец», механически входившей в Российскую Ассоциацию Пролетарских Писателей — РАПП.

На занятия я, конечно, не ходил. А вот когда они заканчивались, то оставался на какие-то минуты с мэтром и выслушивал — после прочтения мною ему стихов — его мудрые советы. Так, покончив с производством, я стал жить

исключительно на литературные заработки.

— Голодал, наверное?

— Нет. Если помнишь, был довольно сытым и выглядел вполне прилично.

— Да уж, вида твоего тогдашнего забыть просто нельзя! Как сейчас у меня перед глазами появляется Володя Соловьев в ресторане гостиницы «Европейская», где мы обычно обедали.

— А что? Произвел на вас впечатление?

— Огромное! Ну, рост, конечно, и по сегодняшний день не изменился. Но каково было оформление этого незначительного человеческого тела! Начнем сверху: прическа — чистый Александр Пушкин. Шея — обернута вместо галстука белоснежным шелковым фуляром, закрепленным на груди огромной шпилькой в виде стека наездника. Пиджак — темно-бирюзовый, рубаха — светло-розовая в тон галифе, покрою которых мог бы позавидовать любой французский генерал. Краги коричневые. И все это великолепие завершалось обувью, которая при микроразмере своем поражала элегантностью… Один из сидящих за столом не удержался:

— Откуда у него такие ботинки? Даже в Одессе моряки из загранки подобных не привозят. И вообще странно выглядит этот молодой поэт. Я видел его на улице: шляпа явно не нашего происхождения, причем надета как-то набок.

— А вас, — тут же съязвил Олеша, — по-прежнему приводит в экстаз импортная дребедень и, главным образом, толщина подметок английских башмаков?

— Вот это рубанул зубилом! — оценил кто-то из нас (Юрий Карлович Олеша, работая в московском «Гудке», подписывал свои сочинения «Зубило».)

Тебя, Соловьева, пригласили к столу, и беседа — на литературные темы — продолжалась.

Надо сказать, что внешний вид Володи в ту пору совершенно не соответствовал положению в его семье. Я, который находился в курсе дел, понимал, что вся эта показуха и реквизиты маленького лорда Фаунтлероя были не от хорошей жизни.

Шел 1925 год. Отчима — Н. Веденеева — исключили из партии. Причина была серьезная: за беспробудное пьянство, В том же году супруги разошлись: терпение хозяйки дома иссякло! Отныне и до конца дней своих — а умерла она в 1964 году — мать находилась на полном иждивении сына, хотя 30 лет она жила одна в Ленинграде, а Володя — в Москве.

В 1927 году московское издательство «Молодая гвардия» выпустило первую книжку стихов Владимира Соловьева.

Называлась она «Двадцатая весна».

Критика довольно высоко оценила этот небольшой сборник. Три газеты даже поместили отдельные стихотворения из него с одобрительными редакционными примечаниями.

Несколько месяцев спустя то же издательство (ну и типы!) выпускает вторую книгу Володиных, уже на сей раз — сатирических, — стихов. Это был результат его работы в области сатиры и юмора в журналах «Крокодил» и «Бегемот», а также редактирования «Веселых страниц» в «Ленинградском металлисте». Казалось бы, год должно считать счастливым в биографии Соловьева, ведь начался его большой творческий поэтический путь. Но не тут-то было…

Произошло событие, на первый взгляд незначительное, однако сильно повлиявшее на жизнь Владимира Соловьева, на его дальнейшую литературную деятельность.

Володя утверждал, что происшедшее оттолкнуло его от стихотворной сатиры и привело к театральной драматургии.

А произошло вот что: на большом программном диспуте, организованном Ленинградской Ассоциацией Пролетарских Писателей, Володя вступил в отчаянный спор с Михаилом Чумандриным, возглавлявшим в ту пору это объединение. Речь шла о том, по каким путям в дальнейшем должна развиваться российская социалистическая литература. Схватка была жаркой и сражение бескомпромиссным. Соловьев отчаянно рвался в бой, защищая свои позиции, крича Чумандрину:

— Ты призываешь к поэзии плаката и тебя вполне устраивают стихи:

Член ФОСПа,
Привита ли у тебя оспа?

Или того лучше:

Сплошной поток бедняцких масс
Сметет кулачество как класс.

А я — за высокий стих, ибо только светя свысока можно озарить наш путь к коммунизму!

— Буржуазный проповедник! — кричал ему в ответ Чумандрин. — Литература должна быть доступна народу, а не кучке такой, как ты, вонючей интеллигенции!

— Я лично пользуюсь только одной каплей хороших духов, а от тебя, Миша, постоянно разит тройным одеколоном!

Публика была явно на стороне Володи, что и привело к печальным последствиям.

Я на этом собрании не присутствовал. Все стало мне известно со слов очевидцев: «Соловьев налетел на Чумандрина, как орел на тигра. Давно такого не было».

Но через несколько дней я узнал из местной прессы (это было напечатано в двух газетах и журнале ЛАППа «Наступление»), что Владимир Соловьев, возомнивший себя пролетарским поэтом, исключен из рядов РАППа без права восстановления за… систематическое пьянство.

Факт абсолютно бредовый и бессмысленный. Володе уже исполнилось двадцать лет. Он был вполне взрослым человеком. Но во время наших дружеских встреч за столом никогда не пил. И не потому, что состоял членом общества борьбы с зеленым змием, а потому, что серьезное осложнение после исключительно тяжелой скарлатины повлекло за собой категорическое запрещение лечащих врачей употреблять какие бы то ни было алкогольные напитки. Поэтому Володя не позволял себе прикоснуться даже к пиву. Мне кажется, в ту пору он мог действительно служить идеальным примером для молодежи — классический образец трезвости.

Но факт остается фактом: Соловьев был ославлен как злостный пьяница, которого из-за этого порока ни в коем случае нельзя держать в общественной писательской организации.

Володя отчаянно защищал себя, свое доброе имя. Он поднял на ноги все и всех. Однако ни справки, ни письменные отзывы врачей, полностью опровергавшие это обвинение, ни активное вмешательство комиссии — ничто не могло изменить решение РАППа и заставить газеты напечатать опровержение.

А Соловьев не складывал оружия. Он продолжал борьбу со своими противниками с помощью стихов.

Вслед за первым романом Михаила Чумандрина «Склока» вышел второй — «Родня».

Доведенный до крайности расправой и совершенно незаслуженным, нелепым обвинением, Соловьев пишет убийственную эпиграмму на своего противника, мгновенно разошедшуюся по всей стране. Я помню ее наизусть.

Ему был дан судьбой жестокой
Талант, хоть маленький, но свой,
В литературе начал «Склокой»
И продвигается «Родней!

Значительно позже, правда без упоминания фамилии автора,

эту эпиграмму опубликовал Александр Безыменский в знаменитом альманахе «Удар».

В общем, Соловьев перестает писать стихи. И пытается попробовать свои способности в области драматургии. Через два года на его творческом счету уже несколько театральных юморесок. Они были поставлены на сценах полупрофессиональных и передвижных театров, а также в кружках рабочей самодеятельности.

В 1929 году случай сводит Володю с рабочим театром «Стройка», находившимся в ведении Московско-Нарвского дома культуры. Его актерский состав сердечно принимает молодого автора в свою среду И Соловьев остается верным этому дружному коллективу, с которым он ездит по всей стране как фактический заведующий его литературной частью.

Побывав на Магнитострое, где театр гастролировал несколько месяцев, Володя пишет свою первую пьесу «Мы, олонецкие», ставшую творческим отчетом, знаменем этой ленинградской рабочей труппы.

В дальнейшем пьесы Соловьева шли в разных театрах страны.

К сожалению, этот талантливый человек сравнительно рано умер. Но хочу верить, что его творческому наследию суждена долгая жизнь.

Эрдманы

Николай Эрдман был Человек. Это слово, как видите, я пишу с большой буквы. И поскольку он заслуженно носил такое прекрасное имя, я предлагаю вашему вниманию эти несколько страниц. Несколько — потому что о Николае Эрдмане — писателе, драматурге, сатирике, сценаристе — уже написана целая книга. Так что никаких творческих вопросов, связанных с его литературной деятельностью, поднимать не буду: этим успешно занялись другие.

Все началось сравнительно недавно — всего каких-нибудь шестьдесят семь лет тому назад. В Доме техники на Мясницкой. Дело было вечером. В зале — концерт. На эстраде — знаменитое московское трио: Шор, Крейн и Эрлих. Успех — огромный: тогда ценили и ходили слушать музыку — классическую, великую, вечную.

Барабанов и тарелок в трио не было: всего лишь рояль, скрипка и виолончель. Но зато, повторяю, имелась — Музыка.

После концерта дядя моей жены — он играл на рояле — познакомил меня со своим другом и одним из постоянных слушателей (теперь они почему-то называются зрителями) московского трио — Робертом Эдуардовичем Эрдманом. Этот могучий мужчина пришел послушать Бетховена со своими сыновьями: Борей — старшим и Колей — младшим. Боря был на год старше меня, Коля — на два года моложе. С этого дня началась моя дружба с другим московским трио: Эрдманами — отцом и двумя его сыновьями.

Через два дня Коля позвонил мне и предложил встретиться у Храма Христа Спасителя (я жил рядом). Немедленно прибыл на свидание. Коля был с Борей, а чуть подальше стоял Роберт Эдуардович. Как-то странно осмотрел меня: с ног до головы и поперек. Разговор начал Коля:

— Когда тебя учили в Швейцарии, ты занимался боксом?

— Конечно! — ответил я. — В течение десяти лет — до окончания школы. И между прочим, довольно успешно. А почему это тебя вдруг заинтересовало?

За сына ответил Роберт Эдуардович:

— Потому что я тренирую моих детей на берегу Москва-реки.

Сразу я ничего не понял. Надо сказать, что Эрдман-старший был немцем и говорил по-русски с незабываемым акцентом. Впоследствии я завоевал его доброе отношение тем, что читал ему, запомнившиеся еще с детства немецкие стихи. Особенно он любил «Песнь о Зигфриде» и балладу об императоре Фридрихе

Барбароссе. Но сейчас — не об этом. Роберт Эдуардович продолжил свои объяснения:

— Вайс ду… Ох, извини! Знаешь ли ты, что такое «стенка»?

— Знаю. По-немецки будет «ванд».

— Правильно.

— Так что: мы будем здесь строить стенку?

Роберт Эдуардович рассмеялся:

— Нет, нет, готес вилен! Стенка —.значит, когда молодые люди из Хамовников бьются честно на кулаках с молодых людей из Замоскворечья! (Эту фразу я помню дословно до сих пор!)

— Сначала ты посмотришь, а потом, если тебе понравится, можешь тоже…

Через полчаса грянул бой. Коля и Боря бились рядом, мгновенно поддерживая друг друга. Роберт Эдуардович одобрительно кивал головой, когда положительно расценивал действия сыновей. Это было чисто мужское «развлечение», самый что ни на есть честный бой. Когда у одного замоскворецкого под перчаткой правой руки хамовнические обнаружили кастет, то его — за этот подлый поступок — били уже свои.

Мимо — по Волхонке — проезжал ломовой извозчик. Он резко остановил лошадей, быстро спустился на набережную и с ходу вступил в бой. Ему сразу вмазали по сопатке, и он с разбитым носом, но счастливый, что немного размялся, вернулся к своей телеге. Вытирая кровавые сопли, поехал дальше.

Впоследствии Боря, Коля и я несколько раз выходили уже втроем, точно согласовывая нашу «работу»: получалось отлично!

Боря был художником, Коля — литератором, я — журналистом. Наверное, поэтому у меня было больше общего с Колей. Так мы и продружили всю жизнь.

Коля взялся быть моим путеводителем по зрелищным предприятиям Москвы. Признавая все величие искусства прошлого — и Большого, и Малого, и Художественного, — он больше всего любил спектакли Николая Фореггера в «Мастфоре» на Арбате.

«Хорошее отношение к лошадям», «Тайна Канарских островов» — маленькие сценические жемчужины, просмотр которых так скрашивал нашу жизнь. Почти уверен, что, отчасти, свою профессию драматурга я определил благодаря влиянию, которое на меня оказывало общение с Николаем Эрдманом.

Но все-таки нас связывала не только любовь к театру и общность профессии. Я почувствовал, что Коля нуждается во мне как в конфиденте — человеке, которому он может поведать и доверить свои самые сокровенные мысли, замыслы, надежды. И я был ему верен до конца. Почему? Потому что в высказываниях

моего друга, в его взглядах и оценках происходящего вокруг, в его осмысливании взрывной волны культурного моря нашего молодого государства, в несовпадении его пристальных взглядов с точками зрения других наших друзей и коллег, в его особом ощущении действительности, которую он оценивал и закреплял на бумаге — только ему одному присущим сатирическим пером — во всем этом я чувствовал такую глыбу правды и чистоты, что даже одной сотой доли ее хватало мне, чтобы утвердиться в правильности моих собственных мыслей, формы труда, отношения к жизни. Для меня Коля был животворным источником, примером бескомпромиссности, современным неистовым Роландом — рыцарем без страха и упрека.

Возможно, что все вышесказанное воспримется как лирика, да притом еще старческая, почти покаянная… Дудки! Я пишу о Николае Эрдмане, Человеке, который был для меня символом Жизни — самого ценного, что есть и может быть у каждого живого существа.

В 1925 году Коля написал свою первую комедию «Мандат». Сначала он прочитал ее матери, отцу и Борису (не помню: был ли Боря тогда уже женат на Верочке Друцкой, чудесной эстрадной танцовщице. Если да, то и она слушала пьесу).

— Доиграешься! — по окончании прочтения резюмировал Роберт Эдуардович и добавил еще что-то по-немецки.

После того, как Коля рассказал все это мне, я предложил ему прочитать свою комедию у нас — в «Крестьянской газете», где я работал внештатным сотрудником.

Читка состоялась. Присутствовали: главный редактор Семен Урицкий, его зам. Николай Одоев (Тришин), Андрей Платонов, Михаил Шолохов и я. Успех — огромный. Полное благословение.

— Искренне, по-доброму завидую, — сказал Андрей Платонов.

— Да, сильная штука! — поддержал его Шолохов, в ту пору совсем молодой, начинающий писатель, но уже приступивший к работе над материалом о событиях недавнего прошлого на Дону.

— Кто будет ставить? — спросил главный.

— Веду переговоры со Всеволодом Эмильевичем Мейерхольдом. Если все пройдет цензуру, будет ставить сам! Так он сказал, по крайней мере!..

Как известно, премьера «Мандата» состоялась. Успех был грандиозный. Мы все были на этом первом спектакле — кроме Шолохова, который прислал поздравительную телеграмму.

После этого у Коли с Андреем Платоновым возникла дружба. Они читали друг другу многие свои работы. Их разговоры, обсуждения заслуживают — если бы они были записаны —

отдельного издания. Это не было столкновением двух разных направлений, нет. На одной такой встрече мне посчастливилось присутствовать — в кафе «Националь», которое очень часто посещали литераторы. Речь тогда шла о платоновских «Епифанских шлюзах». Наблюдатель со стороны мог подумать, что эти два человека говорят о самых обыкновенных житейских делах: так спокойно и ровно текла их беседа. Но сколько же было в ней взаимомудрости, по-разному изложенного, но такого одинакового мировоззрения. Это сидели два человека, стремившиеся из Космоса вернуться на родную планету, которые приземлились одновременно в одной и той же точке, хотя летели с разных высот и разных сторон.

Оба они — Эрдман и Платонов — составили в моем представлении единый образ, имя которому Мудрость. Да, все это было…

Платонов умер в 1951-м. Ему исполнилось всего пятьдесят два. Коля с большим трудом перенес уход своего близкого друга. Мы — тоже.

Через три года после «Мандата» был написан «Самоубийца», премьера которого не состоялась. Но зато, кажется в 1930 году, состоялся арест Коли в Гаграх. Причина: «острый язык». Какой-то крепкий анекдот был рассказан Балтрушайтису, литовскому послу в Москве. Очевидно, кроме него анекдот услышал еще кто-то. В общем, Коля — исчез. Обнаружился он где-то в далекой Сибири. Поэтому первое письмо, которое дошло до его уважаемой матушки, было подписано: «Твой сын — мамин-Сибиряк». Значит, и там Коля оставался Человеком.

Когда он вернулся и мы встретились, на все мои расспросы Коля отвечал скупо, беззлобно, обыкновенно. Но что я понял твердо, так это то, что репрессия не оказала на него никакого влияния: он — не изменился! И все-таки я настаивал:

— Неужели ты не можешь мне рассказать?..

— Что ты хочешь?

— Что-нибудь такое, что — за эти годы — произвело на тебя наибольшее впечатление?

— И достойное рассказа?

— Да, конечно. Именно твоего!

Он заговорил не сразу: видимо, выбор был невелик. И вдруг:

— Ну вот, пожалуй… Когда я ехал туда, меня сопровождал фельдъегерь. Путешествие обычное, многократно описанное еще ссыльными девятнадцатого века. Очевидно, в этой области у нас ничто не изменилось: те же дороги, те же направления, те же станционные смотрители. На одной из остановок, примерно на полпути, — небольшой отдых. Пьем чай. Ну, для станционного

смотрителя я — никто, ноль. Поэтому на меня и не обращали внимания, ведя беседу только с моим сопровождающим. Неожиданно заиграло радио. Пела женщина, местная актриса. И тогда хозяин станции спросил у фельдъегеря:

— Вот слышите, поет наша — из Красноярска. Хорошо поет. Но когда ту же песню исполняет ваша — московская — артистка, ну, тогда совсем другое дело: голос — громче, куда чище, каждое слово понятно! В чем же тут причина?

И мой сопровождающий, прихлебывая чай из блюдечка, глубокомысленно разъяснил:

— Питание!

Это все, чем Коля поделился со мной, считая такое происшествие единственно достойным быть рассказанным людям на свободе.

Потом было много разного: сценарии, написанные им совместно с Владимиром Массом; фильмы, поставленные по этим сценариям и прошедшие по всем экранам Земли (достаточно назвать «Веселых ребят»); потом была женитьба на Наташе Чидсон, нашей дорогой Чипе (так ее звали близкие друзья), прелестной балерине, незаурядной личности, достойной подруге ее достойного мужа (острого слова Наташи побаивался даже сам Юрий Файер, знаменитый дирижер балетных спектаклей Большого театра). Потом из жизни ушел отец, а в 1960-м — умер Борис. Мать едва перенесла их уход.

После Владимира Масса соавтором Николая Эрдмана стал Михаил Вольпин. Ион, и Масс были соратниками достойными, так что работа спорилась, и Коля — до последнего дня — оставался в строю. Но стоял он в рядах наступающей литературы, той, которая не поддалась ударам застоя. Стоял во весь свой рост, не склонив головы. Таким и ушел в 1970-м, уже — навсегда.

Но в сердце моем — остался навеки, ибо он был тем, кто имеет право называться Человеком — это звучит все-таки гордо!

Сергей Герасимов

Когда мне исполнилось девяносто лет, киноактриса Тамара Федоровна Макарова поделилась своей мыслью создать книгу воспоминаний о ее муже — тоже моем давнем друге — Сергее Аполлинариевиче Герасимове:

— Ты, Оня, знаешь нас с юности! Тебя — первого — прошу написать о Сереже, что помнишь!

Конечно, я не мог отказать своей дорогой подруге и (увы!) — вдове Герасимова.

К сожалению, многочисленных свидетелей той далекой звездной поры, когда зачиналась наша дружба, уже не осталось… Остались ученики Сережи, но это — день сегодняшний…

Я же начну с событий шестидесятипятилетней давности.

Год 1925-й.

Я, как вы уже знаете, — журналист и помощник известного в ту пору сценариста Олега Леонидовича Леонидова. Работаем на кинофабрике «Межрабпом-Русь». И живем в Москве.

Петроград только недавно стал Ленинградом. И кинофабрика «Севзапкино» еще не переименована.

По работе над будущим фильмом мне выпало счастье — поездка в Ленинград: там происходят события нашего сценария, я должен ознакомиться с пригородами, чтобы точно описать великие места «Петра творенья».

Остановился у своих друзей — Куниных. Семья — чудесная! Старшая дочь — моя подруга и однолетка красавица Ирочка, пишет сценарии и снимается в кино.

Кстати, мы с женой Леночкой недавно в Швейцарии посетили эту — теперь уже почтенную — мою однолетку. Выглядит она сейчас просто отлично, несмотря на то, что на четыре месяца старше меня. А теперешний известный кинодраматург Владимир Кунин — ее племянник — достойный наследник таланта своей тетушки.

Прошу прощения за отступление. Мы возвращаемся в 1925 год. Ира ведет меня на кинофабрику: там будет просмотр кинокартины в двух частях под интригующим названием «Мишки против Юденича».

Ирочка вместе с ФЭКСами[5] написала сценарий этой комедии. А поставили ее те же ФЭКСы: Григорий Козинцев и Леонид Трауберг.

Пришли. Посмотрели. Одобрили аплодисментами. С постановщиками я был хорошо знаком. А вот молодых актеров — Яничку Жеймо, Андрюшу Костричкина и Сережу Герасимова —

видел в первый раз. Да это и понятно: ведь работа в «Мишках» была их дебютом в тогдашнем, еще немом, кинематографе.

Сергею Аполлинариевичу Герасимову в ту пору исполнилось девятнадцать годков. В общем, все началось с «Мишек»… Ровно шестьдесят лет отдал этот выдающийся деятель киноискусства своему родному делу, как режиссер, сценарист, талантливый актер и педагог. В титрах сорока фильмов стоит его имя.

Через год — уже двадцатилетним, он сыграл у тех же ФЭКСов в «Братишке», «Чертовом колесе» и «Шинели». А еще через год — триумф: Герасимов в картине «С.В.Д.» (что означало «Союз Великого Дела») играет главную роль, которая вводит Сергея в высокий ранг крупнейших артистов кино.

Еще одно маленькое отступление: мы с Леонидом Траубергом всегда соревновались в довольно редком виде спорта. Заключался он в том, кто из нас может назвать больше имен и фамилий знаменитых — в дореволюционной киосковой литературе — сыщиков, их ближайших помощников и соперников.

В присутствии Сергея Герасимова я однажды победил Трауберга, вспомнив о женщине-детективе Этель Кинг.

Возвращаясь вместе домой, мы разговорились о предстоящих съемках фильма «С.В.Д.», где Сережа изображал авантюриста Медокса. Герасимов попросил меня рассказать ему все, что я знаю о предшественниках своего героя. Он сказал:

— Ведь чтобы стать тем, кем стал Медокс, надо было у кого-то поучиться. Кроме того, мои соперники — люди огромного опыта, декабристы, элита тогдашней поры. Ну, мое кольцо. Ну, три загадочные буквы на нем! Но этого мало, чтобы завоевать доверие «соратников» по освобождению России от царского ига!

И тогда я познакомил своего молодого друга с историями двух иностранных дворян: Иосифа Бальзамо, который выдавал себя за графа Александра Калиостро, и великого авантюриста — «графа» Сен-Жермена.

Сергей встрепенулся:

— Это не тот ли из «Пиковой дамы»? Начала не помню!.. — И запел:

Тра-ра-та, тра-ра-та…
О жё дё лз рэн…
Среди приглашенных был граф Сен-Жермен!

— Он самый, — подтвердил я. — Вот у них можешь и поучиться.

Сережа много читал о том времени, о руководителях восстания 1825 года. Он был вполне подготовлен к съемкам.

И уже совсем в их канун пришел ко мне в гостиницу. Разговор, если память не изменяет, был примерно такой:

— Откопал я, Оня, личность позначительнее, чем твои графы Сен-Жермен и Калиостро. О Бонневиле слышал?

— Что-то… Был такой француз лихой.

— Да не знаешь ты о нем! Если б знал хоть что-нибудь значительное — запомнил бы на всю жизнь! О Бонневиле — огромная литература! Личность — удивительная! Авантюрист номер один. И предшественник твоих: родился еще в семнадцатом, умер — в середине следующего века. Мемуары оставил потрясающие! Служил Франции, залепил по уху военному министру, был приговорен за это к смерти, но успел сбежать из тюрьмы. Перекинулся к австрийцам. Там вторично — за какие-то тайные дела с противником и оскорбление принца Евгения, — приговорен к смерти. Император заменяет ему казнь пожизненным заключением. Снова побег, на этот раз к туркам, которых бивал неоднократно. Принимает мусульманство, становится Ахмед-пашой и так далее, и тому подобное.

— М-м-да! Есть кому подражать!

— Ну, у Медокса меньшие возможности. Но на все поступки Бонневиля он — способен!

— А ты, Сережа, лично — ты, смог бы в жизни что-либо подобное?

— Нет. Я — тихий!

Сыграл он Медокса — потрясающе! И мне понятно почему.

Герасимову исполнилось двадцать пять, когда он сменил профессию.

Благословил его на этот шаг сам Адриан Иванович Пиотровский, наш заведующий сценарным отделом (я тогда уже работал на Ленинградской фабрике «Союзкино»), человек редчайшего дарования, яркая личность, горячо любимая всем нашим дружным коллективом.

Но мне почему-то кажется, что все началось с моего предложения Сереже написать вместе со мной сценарий «Лес» по пьесе Островского.

Дело в том, что с темой леса как такового, с нашим северным хвойным массивом, я был уже отлично знаком, ибо написал — еще работая в «Межрабпоме» — сценарий и участвовал в постановке фильма «Сказка о зеленом золоте».

Какая-то странная ассоциация мысли? Почему? Не знаю! Но я это предложил.

Сережа удивленно пожал плечами:

— Ну хорошо. Напишем мы этот «Лес». А кто будет ставить?

— Ты! И роли есть: для Тамары (молодые поженились в 1928-

м. — *И. П.)* и для тебя! Представляешь?

Герасимов, очевидно, ничего себе не представил, ибо сценарий мы писать не стали. Вместо этого он — с Сережей Бартеневым — впервые, уже как режиссер-постановщик, отгрохал полнометражную комедию «Двадцать два несчастья».

Так началась новая пора в биографии моего друга. И она продолжалась долгие годы его многогранной деятельности: почти 55 лет.

А до этого были чудесно исполненные роли в «Новом Вавилоне» и «Обломке империи».

Потом я переехал в Москву, и мы стали встречаться с Сережей совсем редко. Отмечу только один период — эвакуационный: мы встретились в Алма-Ата. Но ненадолго: я вновь ушел на фронт.

А вот после войны встречались часто: Макарова и Герасимов переехали в Москву И объединил нас Дом кино. Да не только он: Сережа был желанным гостем и в Центральном Доме литераторов, и в Центральном Доме работников искусств. Присутствовали они с Тамарочкой и на собраниях Союза кинематографистов, на разных праздниках, на вечерах юмора.

Шутили, острили, иногда действительно остро. Но никто, повторяю, в ту пору не обижался на тонкую, подчас даже очень резкую фразу.

И всегда сказанное коллегами в адрес Герасимова вызывало его добрую благодарную улыбку. Мне он прощал буквально все, даже такое начало одного из моих выступлений:

— Трагедия современной Германии всегда начиналась с момента запрета компартии. Трагедия советского кино всегда начинается с того момента, когда Сергей Аполлинариевич Герасимов берется за перо сценариста!

На своем очередном юбилее мой друг искренне смеялся, когда я — с эстрады — сообщил публике, что Герасимов недавно поставил кинофильм о сценаристах и режиссерах.

— Что-то я ничего такого не помню! — бросил мне юбиляр. — Ну-ка скажи: как называется эта работа?

Я ответил:

— Фильм о сценаристах и режиссерах ты назвал «Люди и звери»!!!

Наши встречи — за шестьдесят лет знакомства — были радостью для каждого: мы жили как братья.

И друзьями остались навеки (достаточно сказать, что мы с женой Леночкой были на золотой свадьбе Сережи и Тамары!..).

Впервые Тамара Федоровна Макарова и Сергей Аполлинариевич Герасимов оказались вместе занятыми в картине

«Чужой пиджак». Ей — абсолютной тогда красотке — еще не исполнилось и двадцати. А он — уже совсем взрослый молодой человек двадцати одного года. Прожили они вместе пятьдесят семь лет. Созданные ими образы и фильмы навсегда останутся в золотом фонде нашего отечественного киноискусства.

Сережа был талантлив. Талантлив во всем. Его литературные труды — пример благородного отношения к собратьям по ремеслу. Меня всегда удивляли и радовали такт, знание предмета, огромный творческий багаж, безграничная ответственность, с которой Герасимов подходил к очередному своему сюжету.

Писал он много. И все, что выходило из-под пера Сергея Аполлинариевича, издавалось, будь то собрание сочинений в трех томах, отдельные книги, лекции, статьи.

Я даже как-то сказал, что очень рассмешило Сергея:

— Во время битвы при Ватерлоо англичане предложили одной французской воинской части сложить оружие без боя. Последовал ответ французов: «Старая гвардия умирает, но не сдается!» У нас, у советских драматургов, старая гвардия умирает, но… не издается! А тебе, Серега, повезло! Смотри, в каких количествах печатают! И я счастлив, мой дорогой, за тебя!

Меня всегда удивляла и потрясала Сережина эрудиция. Она не имела предела.

Создавалось впечатление: что бы Герасимов ни играл или ни ставил, историческое сие было или современное, у зрителя возникало впечатление: Сергей был безусловно, непосредственным участником представляемых им событий. Причем в его многочисленных работах темы встречались самые разнообразные, ничего общего друг с другом не имеющие.

Когда два режиссера из его объединения на «Детфильме» (Студии имени Горького) — Вениамин Дорман и Генрих Оганесян — приступили к постановке моего сценария «Девичья весна», они получили от своего руководителя больше полезных профессиональных советов, нежели от специалистов по народным танцам с Н. Надеждиной во главе: сюжет строился на событиях, развернувшихся во время волжских гастролей знаменитого в ту пору ансамбля «Березка».

В течение подготовительного периода я однажды присутствовал на часовой беседе мэтра с постановщиками. Когда мы остались вдвоем, не удержался и сказал Сергею:

— Завтра иду рекомендовать тебя на должность художественного руководителя Большого театра СССР!

Герасимов «серьезно» ответил:

— Ничего, брат, не получится. С певицами и балетом я,

пожалуй, еще справлюсь, а вот что касается хора… там будет полный провал: это мое самое слабое место в оперном искусстве.

А «Девичья весна», путь которой он благословил, лет тридцать не сходила с экранов.

Последняя наша беседа, была в ту пору, когда Сергей Аполлинариевич готовил роль Толстого. Эту выдающуюся личность мне удалось встретить единственный раз, как я уже рассказывал, но все, что я помнил о великом старике — его едва заметное движение правым плечом, предельная вежливость по отношению к моей матери, манера опираться на палку — обо всем этом я поведал Сереже и был счастлив лицезреть эти микродетали затем на экране.

Какое странное совпадение: я видел Льва Николаевича Толстого за год до его смерти, я увидел Сережу в роли этого непревзойденного писателя за год до ухода моего друга уже навсегда…

Я назвал всего несколько его работ. Об остальных, уверен, напишут другие. Поэтому — заканчиваю. Но помню, что 21 мая 1991 года Сергею Аполлинариевичу Герасимову могло бы исполниться 85. Если к тому времени я буду еще жив, то пойду в соседнюю церковь и поставлю такое же количество свечей в память о друге, которого никогда не забуду.

Исаак Дунаевский

Я начал писать воспоминания о людях, которые этого заслуживают, то есть о тех, кто не только сыграл роль в моей жизни, но имел большое значение в жизни нашего государства, нашего искусства.

Вообще (не будет нескромным), я знал всех знаменитостей XX века.

Яркой точкой на горизонте музыкального искусства, на фоне советской музыки взошла звезда Исаака Осиповича Дунаевского, нашего дорогого Исачка.

Я хочу, чтобы мой читатель знал: все, что я пишу об Исааке Дунаевском, действительно: этому либо оказывался свидетелем я сам, либо мне рассказывал Исаак Осипович.

Мы однолетки, и в 1988 году исполнилось бы 65 лет нашей дружбе. Исаак на несколько месяцев старше меня. В ту пору, когда мы подружились, это не имело значения: оба были уже взрослыми молодыми людьми.

Знакомство наше произошло на площади Пушкина, которая тогда называлась Страстной. На углу, где начинается Большая Бронная, стоял маленький домик. Сначала там помещался кинематограф, а позже — во время нэпа — в этом здании открылся Театр миниатюр. Туда приходили артисты всех жанров. Играли всякие сценки, дурачились. В. Я. Хенкин рассказывал анекдоты, а музыкальное сопровождение было в руках «огромного оркестра», состоявшего из одного пианино, за которым сидел чудный мальчик из Харькова — Исачок Дунаевский. Он был и дирижером, и музыкальным руководителем, и хормейстером: занимал буквально все должности, которые имеются в музыкальном большом театре. А «Миниатюры» были театром маленьким, но очень посещаемым. Тут и произошло наше первое знакомство и завязалась крепкая дружба.

Но с Исааком Осиповичем Дунаевским как с автором я столкнулся всего лишь раз, когда в 1938 году написал сценарий «Моя любовь».

Мой друг и коллега Владимир Владимирович Корш-Саблин приступил к организации и постановке этого фильма.

Началось с того, что на каком-то очередном кинематографическом просмотре мы с Исааком Осиповичем Дунаевским вместе смотрели картину «Маленькая мама». Главную роль там играла Франческа Гааль.

Подразумевалось, что в буржуазном обществе молодая женщина, родившая ребенка без мужа, забивалась камнями. В

нашем же обществе — всякая мать заслуживала внимания и уважения. Всё, как вы знаете, наоборот… Исаак мне сказал:

— Что́ бы тебе, старик, ни написать сценарий, где девушка родила или не родила — это твое дело, но выдала бы себя за мать, а дальше события развивались бы прямо противоположно тем, которые произошли с Франческой Гааль: то есть не забитая камнями, а равноправный член общества?

Я приступил к работе. Так как режиссер Корш-Саблин мечтал о музыкальной комедии, надо было найти композитора. Естественно, я тут же предложил Исаака Дунаевского.

Сценарий был принят. Одобрен и композитором, и режиссером, и киностудией.

Был приглашён Анатолий Адольфович Д'Актиль — великолепный поэт, автор множества песен, в частности, знаменитого романса «Две розы» на музыку Самуила Покрасса.

Происхождение песни заслуживает отступления от основной темы.

Мы втроем сидели в ресторане и ужинали. У ребят денег не было. Я сказал:

— Сочините песню — оплачу ужин!

На салфетке карандашом начал Д'Актиль.

— Ка-а-пли испарений ка-атятся, как слезы… — проговорил он.

А Покрасс туг же сел за пианино и стал мурлыкать себе под нос мелодию.

— …и туманят синий вычурный хрусталь… — продолжал поэт, глядя на соседний столик, где в бокале стояли две розы: белая и красная.

Так, за оплаченный мною ужин, появился романс, который до сих пор исполняют на эстраде.

И вот наш небольшой коллектив, состоящий уже из четырех единомышленников, приступил к поиску героини, которая была бы совсем молодой девушкой и — по сценарию — выдала бы себя за мать ребенка — сына своей покойной сестры.

Работа велась на студии «Беларусьфильм», находившейся тогда в Ленинграде. Искали мы актрису на эту роль долго и тщетно. Просмотрели сотни девиц: не было подходящей. Она должна была быть девушкой, но такой, чтобы окружающие могли б поверить в ее способность родить ребенка. Она должна была быть типично русской: чуть курносенькой, с большими руками и ногами, обаятельной.

— Она — как молодой дог! — объяснял мне Дунаевский.

— Исаак, но ведь собака не может играть женскую роль!

— Да, это я понимаю, но и ты пойми, что нам нужно…

Вдруг на Невском проспекте прямо на меня идет героиня нашего фильма: еще не сформировавшаяся женщина, угловатая, курносая, обаятельная. Я ее подозвал.

— С незнакомыми — не разговариваю! — прозвучал ответ.

— Очень ты мне нужна! — прикрикнул я. — Вот моя визитная карточка. Пойдешь на киностудию и скажешь режиссеру Коршу-Саблину, чтобы тебя попробовали.

— В каком смысле?!

— Не в том, в каком ты думаешь, — для этого у нас есть получше тебя дамы!

Девушка пошла на студию и стала знаменитой Лидией Смирновой.

18 ноября 95-го года на моем юбилее — она, как всегда при встречах, назвала меня своим кинематографическим «папой»…

Так началась блистательная карьера Лидии Смирновой в кино. Д'Актилем были написаны стихи, а Исаак Осипович Дунаевский создал свою знаменитую музыку и песню, которую потом пела вся страна…

Исаак Осипович много раз обращался ко мне с предложением написать текст для музыкальной комедии. Но мне казалось, что если в кинофильме основа — сценарий, то в музыкальной комедии или оперетте — основа все-таки музыка. И не только сама музыка, но стихи. Не мелодекламация! Это должно быть пение. Потому сюжетная линия либретто сводится — в лучшем случае — к третьей части самого произведения… А мне не хотелось быть «одной третью».

Как ошибался, я увидел много-много позже, когда по моей пьесе «Жена солдата» («Катрин Лефевр»), которая с огромным успехом прошла в Театре Моссовета с Марецкой, Олениным и Плятгом в главных ролях, — была сделана мною — с музыкой Анатолия Кремера и стихами Саши Дмоховского — для Танечки Шмыги оперетта «Катрин».

Тогда же — в 30-е годы — я был довольно молод и считал себя вполне боевой единицей, чтобы с кем-то третьим делить авторство. Поэтому предпочел писать пьесы и сценарии.

Кстати, когда Исаак Осипович работал в Ленинграде, там для его гениальной — с моей точки зрения — оперетты «Золотая долина» — Янковский (царство ему небесное) написал текст. Я бы даже за большие деньги не смог придумать такую чепуху! Все дело строилось на том, что у героини возникала ревность к отсутствующей, но часто упоминаемой дочери профессора, а в

самом конце выяснялось, что этой дочери — четыре года. Безумно «сложный» сюжет! Но на эту муру написана музыка, которая до сих пор стоит в моих ушах…

Я влюблен в его оперетту «Женихи». Дунаевский был создан для того, чтобы стать композитором: все в нем было музыкально! Он, мне кажется, даже мыслил музыкально, несмотря на то, что в такой несложной штуке, как нотная запись, существует только семь знаков. Из этих семи нот он мог создать все что угодно! Какой-то оборот мотива — и из этого мотива он делал симфонию… Вот маленький пример. Мы смотрели картину «Вива, Вилья». Кавалерийский сигнал всего мира: «к атаке!» состоит из четырех звуков. Вы знаете, что он сделал из этих звуков? Он сделал великий марш: «Легко на сердце от песни веселой!..»

Конечно, Исаак был человеком вдохновения. У меня такое впечатление, что если бы существовал какой-то внутренний магнитофон, то Дунаевский оставил бы по себе наследство, которого хватило б по количеству на композиторов всего XX века.

Мне даже кажется, когда он говорил, то слышал произносимые слова в музыке. В этом смысле Исаак был человек необыкновенный, хотя и абсолютно земной. Он понимал юмор, сам любил шутить.

У него не всегда были удачи (я говорю о музыкальных успехах), что позволило такому остряку, как Никита Богословский, высказаться:

— Иссяк Осипович!

На эту остроту я ответил:

— Тебе когда-нибудь придется петь: «Были когда-то и мы Исааками», Никита!

Дунаевский никогда не завидовал коллегам, а всегда только радовался их успехам. Он отбрасывал моральные качества людей. И говорил:

— Это дело исследователей другой области. Я же, как музыкант, должен оценивать их только с музыкальной точки зрения.

Конечно, есть теория, что негодяй не может быть талантом… На эту тему мы не говорили.

Я хотел бы рассказать о том трагическом моменте, когда человек покидает мир земной. Да, Исаак умер трагически. Он умер в одиночестве. Случайно, как всякий недуг, инфаркт поразил его в утренний час, когда никого из домашних не оказалось. Все были заняты своими делами, а он, наверное, должен был вот-вот выйти для того, чтобы поехать на киностудию. По-моему, машина его ждала внизу.

Итак, он умер трагически в возрасте 55 лет, то есть в ту пору, когда человек становится взрослым, мудрым и только начинает выдавать полноценную продукцию… Замыслов у Исаака было очень много. Я приготовил для него материал к оперетте, которая называлась бы «Ее голубые глаза».

Дунаевскому мое либретто очень понравилось, мы думали договориться с поэтами, но…

С его уходом из жизни — из страны ушла песня. Так почувствовали мы, кто любил и кто знал его хорошо.

Я хочу рассказать только об одном эпизоде этой большой трагедии.

Новодевичье кладбище. Вырыта могила, и стоит мать — 80-летняя женщина. Ее поддерживает брат Исаака — Зиновий. И она должна увидеть, как сейчас опустится гроб с ее сыном, с ее гордостью, с ее мальчиком, который выстрадал так много в своей жизни, который хлебнул горя и с женщинами, и со своими детьми…

Когда мы поднесли гроб к могильной яме, чтобы его опустить, то поняли, что сейчас произойдет вторая смерть: сердце матери не выдержит, оно разорвется!..

Мать сделала какое-то неестественное движение… и это понял молодой капельмейстер стоящего рядом военного оркестра. Он крикнул:

— Трубы!

И взлетело 16 труб.

Он крикнул:

— Все!

И 16 труб рванули марш: «Легко на сердце от песни веселой!..»

И вот уже 120 музыкантов играли: «Легко на сердце от песни веселой!..»

Мать захлебнулась, как захлебывается атака, от величия музыки своего сына — и выдержала.

Так мы проводили Исаака Дунаевского.

Маленькие истории

И все-таки никак не могу перейти к годам сороковым, к Великой Отечественной, не рассказав о ряде примечательных эпизодов, о встречах с друзьями и знакомыми тех знаменательных лет. Повторяю, к дружбе со многими деятелями литературы и искусства меня привела вначале журналистика, а потом уж и моя кино- и театральная деятельность.

До войны в нашем Доме писателей на Тверском бульваре долгое время в мужском туалете сохранялась надпись:

На стене мужской уборной,
В трезвом будучи уме,
Здесь какой-то тип упорный
Ловко вывел резюме:
«Хер цена
Дому Герцена!»

А под ней — другая:

Обычно заборные надписи — плоски.
Я с этой согласен!

В. Маяковский.

С Маяковским мы часто встречались в домах творческой интеллигенции, на диспутах. Отношения были не близкими, но вполне обоюдодоброжелательными.

Однажды Маяковский и я, разговаривая, входим в Кафе поэтов на Тверской.

Увидя свой идеал, десяток молодых бросились к нему:

— Владимир Владимирович! Скажите что-нибудь вашей смене!..

Маяковский на секунду задумался, а затем произнес:

— Эй вы, поэты града Московского!
Обо всем во весь голос трубя.
Довольно вам делать «под Маяковского»!
Делайте наконец под себя!

Я стоял за кулисами Политехнического музея, где часто проводились литературные вечера и творческие конференции. Подошел Маяковский. Разговариваем. Вдруг Маяковского окликает на ломаном русском молодой человек:

— Виладимир Виладимирович! Той стих, что я вам читал, могу я его тут сказать?

Маяковский ответил:

— Тебе все можно! Ты — турок!

То был молодой Назым Хикмет.

Это все происходило в предвоенные годы. Тогда же я что-то сочинил в соавторстве с Лёней и Петей Турами.

Александр Жаров — комсомольский поэт — их органически не переваривал. И был возмущен нашим альянсом. Он изрек:

Ты почти вошел в литературу,
Я тебе бы в этом подсобил,
Если бы ты с этим подлым Туром
Смердяковщину не разводил!..

Туры тоже разразились стихом по моему адресу:

Наш любимый очень Оньчик
Заработал свой милльончик
И большим гурманом стал!
Обладая вкусом тонким,
индюшачую печенку и разноцветную икорку
он всему предпочитал!

Поделюсь тем, что помню об Александре Довженко, которого отличали резкие высказывания.

Сижу я с ним в сценарном отделе Киевской киностудии. Пьем чай. Входит директор в сопровождении человека средних лет и говорит нам:

— Познакомьтесь, друзья! Это — новый заведующий сценарным отделом — товарищ Копица!

А «копица» по-украински означает «кучка».

И Довженко вдруг спрашивает:

— Копица чого?

Встречаю Александра Петровича в Москве на Арбатской площади. Идем вместе по Арбату. Довженко только что вернулся из довольно длительного отпуска, поэтому интересуется всем:

— И что нового в кино? Говорят, сменили руководство? Кого же назначили?

— Герасимова Сергея!

— А почему его?

— Ну как почему? Большой режиссер!

— Большой, говоришь?

— Да. Разве это плохо?

Довженко не отвечает. Идем некоторое время молча.

— Вот, смотри: Арбат! — вдруг заговорил Сашко. — Старая улица, но чем прелестна? Своими маленькими домиками! А на углу Староконюшенного — видишь огромный дом? Большой! Но — не украшает…

На Киевской студии стал работать администратор по фамилии Фрак. Не все еще знали его. Но человек он был назойливый, приставучий.

Было утро. Я делал примерку нового костюма, который мне шил великолепный студийный портной.

Вдруг дверь открылась, и в комнату почти ворвался директор студии.

— Что случилось?! — спросил я.

— Не могу сды́хаться от него! Замучил меня этот Фрак!

Старик портной, не сообразив о чем идет речь, посоветовал директору:

— Так порежьте его на кепки!

Среди великих портных довоенной России был отец режиссера Юлия Райзмана — Яков Ильич. Я шил у него. Но благодаря скрупулезности этого человека приходилось делать около десятка примерок.

Получая наконец свой костюм, я однажды сказал:

— Дорогой Яков Ильич! Бог создал мир за семь дней, а вы — шесть месяцев шили мне костюм!

Он подвел меня к окну и прошептал на ухо:

— Вы посмотрите, что за говно этот мир, а потом подойдите к зеркалу и взгляните на свой костюмчик!..

К тому же Райзману пришли братья Тур. Портной в это время делал мне примерку.

— Возьмите стул! — не оборачиваясь, сказал Райзман.

— Но мы — Братья Тур! — раздраженный невниманием, произнес один из них.

— Так возьмите два стула! — последовал ответ.

Яков Ильич обслуживал Наркомат иностранных дел при Чичерине.

В мастерскую входит человек и, обращаясь к портному, говорит:

— Эй, дед! Сшей-ка мне фрак!

— Не буду шить, — ответил Райзман. — Холуй зашел!..

В ту же, довоенную, пору я сидел в кабинете директора ГОМЭЦа[6] — Александра Борисовича Данкмана. Вошла секретарша и доложила, что к нему просит разрешения зайти прибывший из Одессы старейший театральный администратор Николай Александрович Адамат-Рудзевич.

Встреча была теплой и сердечной.

Адамат-Рудзевич обратился к Данкману с просьбой устроить его на работу.

После долгих обсуждений Данкман предложил старому «театральному волку» следующее:

— Сейчас в Москве находится известная негритянская певица Коретти Арле. Она вышла замуж за нашего пианиста Тица. И теперь выступает под фамилией «Арле-Тиц». Возьмите их и везите по маршруту Москва — Владивосток, останавливаясь в каждом крупном пункте.

Старик поблагодарил Данкмана и приступил к делу… Он сразу же тронулся в путь со своими двумя гастролерами.

Первая телеграмма, которую мне показал Данкман, пришла из Казани: «Предварительная продажа билетов идет слабо тчк Разрешите поводить негритянку по городу».

Обычно в полдень мы пили кофе в «Национале».

Вначале расскажу об эпизоде, случившемся в один и тот же день (не помню точно число) 1925 года…

Входит в кафе наш консул на Шпицбергене — Плисецкий:

— Ребята! Ставлю коньяк!

— По какому случаю?

— У меня сегодня родилась дочь! Назвали Майя!..

Спустя некоторое время вбегает в то же кафе Рубен Симонов — руководитель Вахтанговского театра. Он сменил умершего Евгения Багратионовича…

Слова те же:

— Ребята! Ставлю коньяк!

— А ты — по какому случаю?

— Только что сообщили: я — отец! Мальчика назвали Евгением!

В другой день, не помню уж какого года, сидели в «Национале» трое: Юрий Олеша, Менделевич и я.

Появляется Николай Павлович Смирнов-Сокольский — в ту пору звезда эстрады.

— Мальчики! — воскликнул он. — Я — потрясен: оказывается, Мишка-то Гаркави — партийный?!

— Беда! — промолвил Олеша.

А Менделевич — спокойно:

— Это, Коля, ничего! Наша партия переживала и не такие потрясения и выходила из них победительницей.

Известный в тридцатые и послевоенные годы конферансье — Михаил Гаркави — очень полный, а точнее — тучный — человек. Особенно толстыми были ноги. Наверху, в бедрах, они терлись одна о другую, создавая «дикое мясо» и причиняя своему владельцу сильную боль.

Миша был вынужден лечь на операцию.

Я навестил его в больнице. Как раз в это время няня привела сына его близких друзей Марии Мироновой и Александра Менакера, Андрюшу, проведать больного. Ребенок был похож на ангела, и мы все его очень любили.

— Дядя Миша, — сказал малыш, — правда, что у тебя отрезали много мяса?

— Верно, сынок, верно…

— А куда его дели?

— Скорее всего, выбросили. Почему тебя это интересует?

— Мама сказала: возьми у дяди Миши отрезанное мясо — нам котов кормить нечем.

Мы все расхохотались. А Гаркави сквозь смех проговорил:

— Вот в этом вся озорница Машка Миронова!

Снова «перескакиваю» в двадцатые годы, чтобы вспомнить еще одну легендарную личность….

Итак, Одесса была освобождена армией Котовского поздней осенью 1920 года. Когда установилась Советская власть и в Севастополе, я смог встретиться со своим знакомым, славным парнем, которого потом узнала вся страна.

Будущий герой-полярник Иван Дмитриевич Папанин был почти на шесть лет старше меня. Но несмотря на такую большую (тогда!) разницу в возрасте, мы стали друзьями. Папанин работал в Особом отделе.

Он купил на базаре огромную книгу и с гордостью показал ее мне. Это оказался том бухгалтерского учета.

— А тебе она зачем? — полюбопытствовал я.

— Передам ее к себе на работу! Знаешь, сколько тут еще сволочи осталось?!

— Но при чем бухгалтерская книга и Особый отдел?!

— А ты посмотри! — сказал Папанин. Он открыл книгу и показал мне: на левой странице было напечатано слово «Приход», а на правой — «Расход».

— И что? — пожал я плечами.

— Не понял? Кого будем вылавливать — запишем в «Приход», а кого — направо, — в «Расход»! Очень удобно!..

Много позже я — уже в качестве писателя — направился на Север, к Папанину, который готовился к высадке на полюс.

Надо сказать, что в молодости я был франтоват… Кроме того, Швейцария, да и Гражданская война меня закалили. А потому одет я был, прямо говоря, не по-полярному: коротенькая, кажется все-таки на меху, курточка и модные в ту пору бурки.

Иван Дмитриевич обрадовался мне. Но критически оглядев мое облачение, сказал:

— Идем, я тебя соответственно переодену. Да побыстрее, пока яйца не отморозил! (Простой был человек…)

Великая Отечественная

Надо сказать, что конец тридцатых годов ознаменовался тем, что многие из нас — писателей и режиссеров — сделали все возможное, чтобы создать художественный мобилизационный фонд. Это были пьесы и кинофильмы, которые говорили о нашей вероятной схватке со все больше поднимавшим голову гитлеровским фашизмом.

Каждый по мере сил старался внести свой вклад в резерв обороны, чтобы в любую минуту, в случае начала военных действий, он мог бы быть использован для поддержки патриотического порыва советских людей.

На «Ленфильме» в 1938-м был поставлен фильм по моему сценарию «Эскадрилья № 5», предрекавший победу Советского Союза в грядущей войне с фашизмом. Именно поэтому в листовках, которые немцы разбрасывали над Москвой в 41—42-м годах, среди тех, кто должен был быть повешенным, когда немцы займут Москву, на букву «П» моя фамилия значилась первой. Впоследствии подобные угрозы появились еще дважды, но я надеюсь умереть своей смертью…

Совершенно естественно, темы фильмов и пьес не придумывались. Они базировались на документах, которые нам предоставляло военное ведомство. Мы знали, как действовали гитлеровцы, когда захватили Чехословакию, Австрию, Норвегию, Данию, Францию и представляли себе, вернее, начинали представлять, каков наш будущий противник.

Центральный Театр Красной Армии поставил мою пьесу «Артиллеристы». Спектакль кончался отправкой артиллерийского полка к месту начавшихся боевых действий.

Подлинные же военные события развернулись, как известно, в июне 1941 года. Каждый из нас, работников театра и кино, на следующий же день, после того как узнал о начале войны, явился в свою профессиональную организацию. Лично я пришел в Союз писателей и получил назначение в газету, которая отправила меня на фронт военным корреспондентом.

Конечно, надо было зайти и в военкомат. Мы пришли туда с известным кинодокументалистом Дзигой Вертовым.

Сотрудник, взяв карточку Вертова, обрадовался и сказал:

— Такие большие специалисты для нашей кавалерии очень нужны!

— А-а… при чем тут я? — спросил Вертов, который не умел ездить верхом.

Сотрудник ответил:

— Как при чем? — И протянул кинематографисту его учетную карточку. Вертов посмотрел на написанное, улыбнулся и показал мне.

В графе «специальность» вместо «кинорежиссер» значилось: «конный режиссер».

Застал я войну в самом разгаре и не в лучшую ее пору. Под неожиданным натиском внезапно напавшего противника наши армии с боями отступали. Шаг за шагом мы теряли территорию родной земли.

Это было очень тяжелое время, и каждый из нас — писателей — старался сделать все возможное, чтобы принести хоть малейшую пользу оборонявшейся Родине.

В первые же месяцы войны образовался штаб партизанского движения, ибо в тылу противника непокоренный советский народ уходил в леса. Мужчины, женщины, дети брались за оружие и в тылу противника вели борьбу, стремясь задержать его продвижение к Москве.

Возглавлял штаб партизанского движения Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. Он, бывший секретарь ЦК партии Белоруссии, великолепно знал театр военных действий, ибо война проходила по родным, знакомым ему местам.

Пантелеймон Кондратьевич сразу наладил связь с теми народными силами, что действовали в тылу врага, и мне удалось дважды побывать в партизанских отрядах, которые формировались для переброски в тыл противника.

Все виденное лично, рассказы партизан, ночные беседы с ними дали мне возможность написать сначала пьесу, а затем и сценарий «Секретарь райкома», который был поставлен режиссером Иваном Александровичем Пырьевым на Центральной студии в Алма-Ата.

Этот первый фильм, рассказавший о нашей схватке со страшным противником, до сих пор не сходит с экрана.

В довоенное время и в пору войны, как я уже упоминал, режиссерам не разрешалось писать сценарии. В данном же конкретном случае до сценария мною уже была написана пьеса «Секретарь райкома». Поэтому, когда Пырьев, с которым давно сложились дружба и близкие отношения, предложил «вместе писать сценарий», — то получил от меня в ответ весьма выразительный и не требующий комментариев жест.

Как выяснилось, ему были нужны деньги…

— Так бы сразу и сказал! — рассмеялся я. И конечно же нашел возможность помочь ему другим способом.

Начались съемки, а я снова отправился на фронт. О моем

пребывании на местах боев расскажу особо. Хочу завершить «жанровый» портрет моего любимого дружка Ивана Пырьева — в связи с упомянутым обстоятельством.

Спустя довольно короткое время (по нынешним понятиям), кинокартина «Секретарь райкома» вышла на экран и вскоре получила Сталинскую премию.

Помню выражение неловкости и недоумения на лице моего соратника — начальника политотдела нашей дивизии полковника М. Гуськова, когда он передавал мне газету с опубликованным там постановлением о присуждении этих высоких премий. За фильм «Секретарь райкома» премии получили многие из членов съемочной группы, кроме… автора сценария.

Тогда еще сравнительно молодой, но не менее, чем сейчас — горячий, я попросил у Гуськова машину и помчался в штаб армии. Оттуда послал Пырьеву короткую телеграмму: «Что это значит?!»

Ответ не заставил себя ждать. Тоже телеграфом Иван сообщил: «Вспомни жест в Алма-Ата…»

Я упомянул об этом случае отнюдь не из желания рассказать о совершённой по отношению ко мне — Иосифу Пруту — «несправедливости», мне хочется, чтобы те, кто не знал Ивана Пырьева, ощутили живые черты его неуемного темперамента, незаурядного характера, которому Пырьев не изменял никогда. Более того, скажу, что не было у меня товарища вернее, преданнее Ивана. И если бы я, скажем, заболел во Владивостоке, то первым, чтобы оказать мне помощь, примчался бы Пырьев. Но, по-детски ранимый и обидчивый, обид он не прощал! Для пояснения этой мысли на минутку отвлекусь на воспоминание другого — не менее характерного — случая.

Как-то, уже после войны, собрались мы на преферанс. Должны были играть у Ивана… Четвертым ждали Михаила Папаву, но он так и не пришел. Мы все волновались: не заболел ли? Позвонили домой. Кто-то из домочадцев ответил, что хозяин ушел с женой в Консерваторию слушать музыку, исполняемую на деревянных инструментах.

Гневу Пырьева не было предела.

Вскоре у министра культуры Фурцевой состоялось совещание: решался вопрос о поездке в Индию для совместной постановки фильма «Хождение Афанасия Никитина за три моря». Сценаристом был назначен Папава, о чем Фурцева сообщила с трибуны собравшимся. Вдруг встал Пырьев и сказал:

— Я — возражаю!

— В чем причина? — удивилась Фурцева.

— Он — неверный человек! — громогласно и прилюдно объявил Пырьев.

Надо заметить, что подобное заявление в ту пору было равносильно обвинению в измене Родине.

Тут же решено было перепоручить сценарную работу драматургу Виноградской.

Естественно, о происшедшем узнал Папава. Он ворвался в кабинет Пырьева, который в то время возглавлял студию «Мосфильм», с криками:

— Бандит! Фашист!!! Как ты смел?!

Пырьев совершенно спокойно ответил:

— Можно изменить жене, можно что-то соврать… Но изменить товарищам, которые тебя ждали на преферанс, и променять их на деревянные духовые инструменты?! Такой человек может предать Родину!

В этом был весь Пырьев!..

После того как я поработал на фронте в качестве литератора, подошел естественный для военного времени момент мобилизации. Я был призван в армию и начал служить в качестве инструктора, вернее, сотрудника передвижного танкоремонтного завода. Это был завод на колесах, который ремонтировал танки, подбитые в бою, и давал им возможность вновь возвращаться в строй для того, чтобы продолжать участвовать в сражениях с противником.

Мне вменили в обязанность руководить группой тягачей, которые, несмотря на интенсивный огонь противника, вытаскивали поврежденные танки с поля боя и доставляли их на ремонтные базы.

Через три месяца меня назначили начальником Клуба 222-й Смоленской Краснознаменной стрелковой дивизии.

Это произошло после того, как генерал-майор Паша́ — начальник политотдела 33-й армии, с которым я был знаком по мирному времени, узнал о моей работе в танковом передвижном ремонтном заводе. Он решил, что меня, как писателя, надо использовать по «культурной линии». Став начальником Клуба этой прославленной дивизии, входившей в состав армии, сформированной в Москве после разгрома немцев на подступах к нашей столице и ни разу, ни в одном бою, ни в одном сражении не отступавшей, я, как солдат этого героического соединения, вместе с ним дошел до Берлина.

Поясню, что представлял собой дивизионный Клуб: в момент боев все мы вливались в ряды 757-го стрелкового полка и вместе с ним выполняли боевые обязанности. Когда же дивизия уходила

на переформирование либо, оставаясь на позициях, вела бои местного значения, в те минуты начинал действовать Клуб.

При Клубе имелись библиотечка и кинопередвижка, которая обслуживала воинские части дивизии. В наш небольшой коллектив входили: баянист Евгений Родыгин (сегодня известный композитор из Свердловска, песни которого поет вся страна), два певца. Один — опереточный баритон — Леонид Моложатов, другой — из самодеятельности — Павлик Кузяков. Был Гриша Марин — цыган по национальности — великолепный танцор. Была девушка-связистка. Она становилась партнершей Гриши во время танцев. Я выступал в роли ведущего этого коллектива. Своими концертами, которые всегда заканчивались киносеансом, мы обслуживали подразделения нашей дивизии.

Надо сказать, что в тылу нас не забывали. Точнее, не забывали меня: я дружил со многими выдающимися артистами, которые во время войны стали членами фронтовых бригад и делали все возможное, чтобы своим искусством поднимать дух воинских частей.

Регулярными посетителями они оказывались и в нашей 33-й армии.

Никогда не забуду появления на фронте Варвары Осиповны Массалитиновой, великой русской актрисы. Приехала она к нам осенью 1943 года. Была ужасающая распутица. И эту почтенную женщину солдаты пронесли до импровизированной эстрады на руках: чтобы ее ноги не прикоснулись к покрытой грязью земле.

И когда она выступала, каждый солдат видел в ней словно свою мать, мать-Родину, самого близкого человека.

Приезжали эстрадные актеры. Побывала у нас и Лидия Андреевна Русланова с ее чудесными песнями.

Мы сами тоже делали все возможное, чтобы своим нехитрым искусством скрашивать досуг наших бойцов.

Совершенно естественно, что в таком тяжелом деле, как война, все было сложно и трудно. Однако случались просветы, о которых хочется рассказать.

О войне уже говорено много. Но не стану утверждать, что сказано все. И это — предмет особый.

После Гражданской войны я был человеком штатским, ибо занимался только литературой и искусством. Когда же вновь соприкоснулся с войной, то попытался вынести из этого ужаса хотя бы какие-то крохи чего-то человеческого — того, что давало мне возможность держаться крепко и верить в победу.

Сначала я был солдатом — рядовым и по званию, и по должности. Поэтому одним из моих непосредственных начальников оказался старший сержант Богданов: великолепный

строевик, веселый, храбрый человек. Но читал он плохо, не всегда разбирался в написанном, а читать ему приходилось немало. И как это ни парадоксально, Богданов, несмотря на свою малую грамотность, читать любил. Особенно адреса на письмах, которые он сам приносил во взвод. В этих случаях Богданов спускался в землянку, присаживался к свету и в полной тишине разбирал фамилию на первом конверте.

— Левидович есть? — громыхал он.

В ответ — молчание. Потому что Левидовича среди нас не было, и Богданов это отлично знал!..

— А может, Буров?

— Нету Бурова, товарищ старший сержант!

Тогда Богданов более внимательно вчитывался в написанное:

— Скорее всего, Исаев, а?

Снова — молчание. Его обычно нарушал я:

— Товарищ старший сержант, может, Прут?

Богданов молча пристально смотрел на конверт, затем переводил взгляд на меня и, неодобрительно покачивая головой, произносил:

— Ага, Прут. — После чего он вручал мне письмо. Дальше все продолжалось в том же духе с остальными.

Однажды я спросил у Богданова:

— Сколько лет вы учились, товарищ старший сержант?

— Четыре, — ответил он. — А что?

— Ну, для четырехлетнего образования вы не очень-то грамотный… — осмелился заметить я.

— А это потому, — усмехнулся Богданов, — что я два года учился в первом и два года во втором.

Я это рассказываю для того, чтобы вы поняли: были моменты какой-то разрядки, что ли…

Когда я уже стал начальником Клуба, прибавился еще один сотрудник — Виктор Шорников — и фотограф, который должен был обслуживать воинские части: снимать бойцов для партийных документов…

Так, при Клубе оказался фотограф по фамилии Кац. «Кац» по-немецки означает «кошка».

Как-то раз вызывает меня начальник политотдела дивизии полковник Гуськов и говорит:

— Что это у вас происходит, Иосиф Леонидович?! Вот этот ваш Кац, он что, трус?

Я отвечаю:

— Вы знаете: среди моих товарищей людей такого качества, извините, нет. Каждый из нас выполняет свой боевой долг, когда идет наступление. Я думаю, что вы не получали жалоб или

сообщений, что кто-нибудь из нас свой воинский долг не выполнил?!

— Нет, нет! Я этого не говорю! — сказал Гуськов. — Но все-таки вы обратите внимание на Каца. Он отказался идти в семьсот сорок второй полк снимать ребят для партбилетов: в чем дело?!

Вернулся я к себе. Вызываю Каца, рассказываю, что полковник Гуськов сделал мне замечание и спросил: «Не трус ли ваш фотограф?»

Кац посмотрел на меня нехорошими глазами и ответил:

— Когда вы, товарищ начальник, в следующий раз пойдете в разведку, то возьмете меня с собой! Сделаем дело: вы — возвращайтесь, а я — дойду до Берлина, плюну Гитлеру в рожу и вернусь обратно! Но в семьсот сорок второй не пойду!

Спрашиваю:

— Почему?

— Там крисы.

— Подождите, Кац! С вашей фамилией и бояться крыс?!

И тут Кац произнес фразу, которую я запомнил навсегда.

Он сказал:

— Вы знаете, какой они там величины?! Знаете, какие они там есть?! — И, показав руками, уточнил: — Размером восемнадцать на двадцать четыре!!!

Такое мог изречь только фотограф!..

О двух забавных (если такое слово применимо к войне) историях рассказали на моем восьмидесятилетии в Центральном Доме работников искусств в Москве мои однополчане Михаил Савельевич Рутэс, бывший заведующий отделом Музея Революции, и особист Сэм Вениаминович Цихоцкий.

Все это происходило в последний год войны, когда мы часто попадали в «слоеный пирог»: не знали, где наши, а где — немцы.

Мне нужно было добраться до соседней части, договориться о проведении концерта. Со мной поехал Сэм Вениаминович Цихоцкий, у которого там были дела, и попросился с нами майор. Ему нужно было в той части вручать партбилеты солдатам, принятым в ВКП (б).

Едем лесной дорогой. Вдруг водитель говорит:

— Иосиф Леонидович, не заплутались ли мы? Что-то не видно на колее следов от других машин…

Выскакиваем на полянку. Впереди речушка, и по обе ее стороны — немцы наводят переправу. Нас отделяет от них каких-нибудь пятьдесят метров…

— Я буду стрелять! Живым не сдамся! — прошептал майор.

Что меня осенило? Думаю, Бог!

— Делайте, как я: выходите из машины и собирайте цветочки — вы, мойор, и вы, Сэм Вениаминович! А ты — разворачивай машину в обратном направлении!

— Вы с ума сошли! Я — побегу! — занервничал майор.

— А я вас — пристрелю! — совершенно серьезно сказал я, вылезая из машины.

Цихоцкий молча следовал за мной и повторял все мои движения, то есть — собирал цветы…

Немцы прекратили работу и с удивлением смотрели в нашу сторону.

Тем временем водитель развернул машину. Майор в нее вскочил. Сели в машину и мы с Цихоцким. Я на прощание помахал немцам букетиком, и мы уехали.

Наверняка фашисты приняли нас за власовцев: кому пришло бы в голову, что это советские рвут у них под носом цветы? Действительно, странное занятие…

В тот же день меня вызывает к себе начальник Особого отдела — Виктор Михайлович Жданов и показывает «телегу», которую на меня «накатал» майор, обвиняя в том, что я хотел его застрелить.

— Что за история, Иосиф Леонидович? — спросил Жданов.

Я рассказал, добавив:

— Если бы он побежал или выстрелил в немцев, я б его действительно пристрелил!

— И правильно бы сделали! Так ему, дураку, и надо бы!

О другой истории напомнил Михаил Савельевич Рутэс.

Мы были уже в Германии. Наши войска продвигались вперед. Но временами наталкивались на сопротивляющихся немцев. Так было и в тот раз.

Довольно большая группа засела в доте, мешая нашим частям следовать по дороге.

Договорившись с командующим, я взял белый лоскут и пошел «парламентарием». Подойдя к доту, я стал говорить в рупор (естественно, на немецком):

— Война вами проиграна. Какой смысл умирать? Отсидите в плену и вернетесь к своим семьям! Я обращаюсь к вам — солдаты, которые не по своей воле оказались на нашей земле!..

— Мы все умрем, но будем драться до последнего патрона! — раздалось из бункера.

— Как я понимаю, господин офицер, вероятно СС, решил за всех вас, господа солдаты. Но я — лично — обещаю вам жизнь и, главное, — мыло! Ведь вы все наверняка завшивели и давно не мылись…

Этот аргумент оказался решающим: двери дота отворились. Бросая оружие, оттуда стали выходить люди. Последним, связанным, вели офицера-эсэсовца.

Колонна составляла, не помню уж сколько, но — много человек.

Рутэс рассказал, что, завидя такое количество немцев, они приготовились к бою.

Но кто-то крикнул:

— Там Прут! Это он их ведет!

Подойдя ближе и помахав белым платком — уже нашим — я закричал:

— Не стреляйте! Это — мои немцы! Я веду их в баню. А оружие сложено у бункера. Дорога — свободна.

С нескрываемым волнением я сам слушал эти рассказы однополчан в свои восемьдесят лет…

Часто вспоминаю другой курьезный случай на фронте: я возвращался из очередной дальней командировки. Добираться приходилось на попутных машинах.

Решил заночевать в одной формировавшейся артиллерийской бригаде. Было это после тяжелых боев на Смоленщине.

Днем — в огромном сарае — показывали фильм «Два бойца». Картина имела шумный успех, и я после просмотра с гордостью сказал солдатам, что песню «Темная ночь» сочинил мой товарищ — поэт Владимир Агатов, а музыку к ней написал тоже мой товарищ — Никита Богословский. Это услышал старшина батареи. Он не знал, кто я, отозвал меня в сторону, приказал повторить сказанное, после чего объявил решение:

— Такие люди, солдат, не могут тебе быть товарищами! Тебе товарищи — волки в брынском лесу. И, чтоб ты не врал да не смущал моих рядовых, будет тебе три наряда вне очереди!

Я, конечно, отстоял эти три наряда у объекта… Что такое «объект»? В данном случае им оказался никому не нужный стог сена. Однако я очень хорошо уяснил одно: при таком старшине не следует особенно умничать. Поэтому, когда в тот же вечер снова пришла кинопередвижка, я решил о фильме уже не высказываться.

Появились первые надписи: «“Секретарь райкома”. Сценарий И. Прута»…

Старшина, обернувшись ко мне, громко спросил:

— Ну что ж ты, Прут, молчишь? Может, скажешь, что это ты написал?! Что это твоя работа?!

Я подумал и разумно ответил:

— Нет, товарищ старшина! Этот сценарий сочинил не я!

Вероятно, однофамилец…

Таких историй можно рассказать много, но, чтобы не получилось впечатления, что война была сплошным поводом к юмору, хочу вспомнить и более тяжелые случаи…

Форсируя Березину, мы попали в «слоеный пирог». Как я уже писал, «слоеным пирогом» фронтовики называли ситуацию, когда сам не знаешь: ты в тылу у противника или он орудует позади тебя. Подобное случалось в разгар ночных боев. Бывали моменты, когда мы двигались чуть ли не в одной линии с отступающими гитлеровцами…

В трудном прибрежном бою у Березины мы потеряли великолепного парня Виктора Шорникова. Похоронили нашего дорогого товарища глубоко в земле, несмотря на то, что кругом рвались снаряды и был ад. Мы оставили дощечку с надписью, чтобы отметить это место, а после окончания войны установить памятник соратнику, отдавшему жизнь за Родину. В моем коллективе это была единственная потеря. Всех остальных я привел домой живыми.

Но, как я впоследствии ни искал, найти место захоронения Шорникова так и не смог: видимо, могильный холмик был сровнен с землей, дощечка с фамилией и датой смерти исчезла.

Когда мы форсировали Вислу и по наведенному мосту вошли в Варшаву, ко мне бросился мальчик с вопросом:

— Как ваша фамилия?!

Я спросил:

— Зачем она тебе?

Он говорит:

— Я хочу ее взять!

— Но у меня фамилия не польская. Моя фамилия: ПРУТ.

А парнишка кричит:

— То — ничего! Я буду — Прутóвский!

Таким образом у меня в Польше появился названый сын.

Однажды на фронте мой командир дивизии спросил у начальника нашего политотдела: как он объясняет, что начклуба — Прут — довольно часто бывает с разведкой в тылу у противника и всегда возвращается оттуда без всяких происшествий?

Начальник политотдела попытался объяснить:

— Во-первых, это всегда происходит ночью. Во-вторых, всегда в лесу…

— Я вас спрашиваю, почему он возвращается живым?!

— Докладываю: Прут хорошо знает немецкий язык.

— Так что: он с фашистами вступает в переговоры?!

— Никак нет! Но, чтобы войти в лес, обычно ищут тропинку. Вот в самом ее начале Прут вешает табличку, которую всегда носит с собой.

— И что это за «магическая» табличка?

— На ней хорошим немецким языком, крупными буквами написано: «Айнтрит ферботен!» — что означает: «Вход воспрещен!» Наши противники — народ дисциплинированный: раз «вход воспрещен», то в этот лес нечего соваться!

Ночь. Мы в тылу у противника. Подкрадываемся к тропинке. С ее другой стороны — шагах в десяти — расположилась группа эсэсовцев.

Собираемся в обратный путь. Как вдруг я увидел при внезапном свете луны, что на дороге лежит человек. Тот заметил меня и прошептал:

— Вы… Иосиф Прут! Неужели оставите меня здесь?!

И я, совершенно автоматически, поднялся во весь рост, подошел к нему и почти под носом у немцев вытащил к своим. Это был наш солдат, оставшийся здесь после боя с ранением в живот. Фамилия его — Фляркoвский. Он нашел меня после войны, и мы выпили за Победу и за его спасение[7].

Как-то вызвал меня к себе командир 222-й дивизии и сообщил «по секрету», что завтра предстоит встреча с командиром чехословацкого корпуса — генералом Людвигом Свóбодой.

— Прошу, Иосиф Леонидович, чтобы об этом никто не знал! Но, пожалуйста, организуйте приличную закуску: я знаю, что у вас кое-что найдется!.. И обеспечьте охрану!

Я прибыл к месту встречи за час до назначенного свидания этих двух командиров. При помощи моих подчиненных накрыл стол. Охрану расставил по местам.

Вскоре прибыл наш командир, а за ним и чешский генерал со своим адъютантом.

Через пять минут после прибытия гостя из домика вышел бледный адъютант и прошептал:

— Беда! Исчез плащ моего генерала!..

Я нашел в себе силы, чтобы спокойно сказать:

— Возвращайтесь к нему, а я все выясню.

Когда дверь за чешским офицером закрылась, я собрал своих подчиненных. Приказал этим десятерым солдатам построиться в шеренгу и рассчитаться на «первый-второй». Когда они это сделали, я приказал первым номерам выйти на шаг вперед. И прошептал, вынимая пистолет:

— У меня в этой штуке — шесть пуль. Первыми пятью я

расстреляю вас, а шестую — пущу себе в лоб! От позора! На встречу с нашим командиром прибыл союзник, а вы, сволочи, украли его плащ?! Считаю до трех!

— Не надо, товарищ начальник! — сказал Евгений Родыгин (как я уже упоминал — впоследствии известный композитор). — Прошу вас отвернуться. Через минуту все будет в порядке!

Я выполнил его просьбу. В уме просчитал до шестидесяти. Спросил:

— Ну что?!

Родыгин ответил:

— Все готово.

Я обернулся и увидел висящий на двери плащ. Тогда я вошел в дом, показал чешскому капитану, что плащ на месте.

— Его, наверное, перевесили! — объяснил я.

Встреча закончилась. Тепло попрощавшись, гости уехали. Отбыл и наш командир.

Мы тоже собрались в путь. Я спросил у солдат:

— Как вам в голову пришло позволить себе подобное?!

Евгений Родыгин объяснил:

— Мы думали, что привезли на допрос немецкого генерала, что это — фриц!

С Людвигом Свободой мне довелось встретиться еще дважды уже после войны. Когда он приехал в СССР, его пригласили в Тулу. Председатель тамошнего горсовета, бывший в одно время со Свободой в Москве, хотел показать высокому гостю знаменитый Тульский оружейный завод. После осмотра состоялся скромный ужин.

Хозяин представил гостю собравшихся:

— Здесь — самые знатные люди нашего города: вот — начальник почтового ящика триста сорок семь дробь семнадцать; это — начальник почтового ящика семьсот восемьдесят два дробь тридцать один; рядом с вами — начальник почтового ящика четыреста девять дробь пятьдесят три…

Когда он закончил, Свобода не удержался и сказал:

— Мне очень приятно, но я не вижу здесь главного человека…

— Кого вы имеете в виду? — заволновался хозяин приема.

— Поскольку здесь все «почтовые ящики», почему среди них нет — начальника тульского почтамта?..

В послевоенные годы я был членом различных Советско… иностранных обществ: Советско-швейцарского; Советско-польского; Советско-чехословацкого.

Регулярно (когда это стало возможным) посещал курорт Карловы Вары и довольно часто бывал в Праге.

Как-то поздно вечером я гулял с генералом Свободой по Вацлавской площади. На скамейке сидели пьяные молодые парни. И когда мы проходили мимо них, они что-то не очень красивое высказали в наш адрес…

Свобода тихо сказал мне:

— Вот эти в фашистов стрелять уже не будут. Они — скорее — выстрелят в нас…

Было это в последний год войны.

Еще в конце лета войска нашего фронта, пройдя с боями пол-Польши, подошли к Висле и перескочили через эту водную преграду. Значит, образовался так называемый по-ученому — плацдарм. Звучит шикарно, а это всего-навсего — небольшой кусок земли по ту сторону реки, и на этом клочке сосредоточился весь наш полк с его техникой, в общем — все наши солдаты.

Итак, встали мы на этом плацдарме до поры до времени в железную оборону, окопались по всем правилам военного искусства, вырыли себе землянки и ждем приказа…

Кончилось лето, за ним — осень… Выпал снег. Редкий по этому краю холод сковал реку. В общем, живем, чувствуем себя как дома… А приказа идти вперед, чтобы добить гитлеровцев в их логове, нет и нет: не дошла до нас, очевидно, очередь в Ставке Верховного Командования.

Когда солдат долго задерживается на одном месте, возникает армейская художественная самодеятельность… Вот и у нас она тоже бурно расцвела, поскольку обстановка не позволяла привезти в полк артистов или кинопередвижку.

Во главе дивизионного Клуба, этой культурной боевой единицы, стоял — по совместительству — один «дед» (сорока с небольшим лет) из писателей, то есть я.

Был сей «дед» человеком отчаянным: проводил намеченные и утвержденные политотделом мероприятия, не считаясь ни с артналетами, ни с боями местного значения, ни со сложностью связи на данной — малопересеченной — местности.

По распоряжению начальства «деду», то есть мне, пришлось (не умея плавать) форсировать весьма протяженный водный рубеж, чтобы «обследовать состояние музыкального имущества» в частях.

Между нами говоря, этот начальник (уже Герой Советского Союза) фактически перепоручил мне — свою разведывательную работу, что я впоследствии не преминул ему высказать… За это вместо звания Героя СССР, с которым меня уже поздравляли

однополчане, получил медаль «За боевые заслуги». Памятуя наставление Иосифа Сталина в 20-е годы, что не надо обижаться, если тебя не «включат в список награжденных», я вполне спокойно пережил и это, конечно не упустив случая назвать своего начальника трусом!..

Короче, вечером — под Новый год — на «плацдарме» решено было развлечь солдат и устроить комическое «обозрение» своими силами. Роль солдата «Фрица» поручили одному младшему сержанту — Михаилу Копнеру. Сам он был из евреев, но старшина его называл «Мишка Окопный» — просто и ясно.

Вы спросите: почему ему досталась роль Фрица? Объясняю: соседями их колхоза до войны были немецкие колонисты. И Мишка с детства слышал их язык. Поэтому в обозрении он должен был петь немецкую песенку. Ее начальные слова: «Ду, майн либер Аугустин!» (Ты, мой милый Августин!»).

Роста Мишка был ужасно незначительного, ну, просто от горшка — два вершка! В окопе, когда он стоял и даже поднимал руку, противнику его совершенно не было видно. А сердцем малорослый солдат навеки привязался к Марусе — нашей «почтово-телеграфной голубке» — девушке огромного роста и могучего телосложения. Когда они стояли рядом, так просто жутко было смотреть: не дай Бог, Маруся неловко повернется — все, конец, раздавит Мишку, как галчонка! А любила эта мощная и красивая девица своего героя больше жизни. За их свидания, даже в положенное на отдых время, всем — вплоть до командира нашего полка — влетало от дивизионного начальства… Но для любви не было никаких преград. И несмотря на заявления инструктора политотдела, что «во время боевых операций — нет места сантиментам», — любовь Маруси и Миши сияла, как ордена на славном знамени нашей дивизии.

Итак, наступило тридцать первое число. В два часа дня приполз на передовую сапер и сообщил Мишке, что ему «с родины» прибыла посылка. Это велела передать Маруся.

Комроты отпустил Мишу, напомнив, что ему выходить на сцену ровно в шесть часов, то есть, в восемнадцать ноль-ноль.

Мишка козырнул и пошел.

До почты было километра четыре, помещалась она у самой реки. Мишка добрался за час и, не стесняясь двух легкораненых, помогавших Марусе в разборке и доставке писем, расцеловался со своей любимой.

Посылка оказалась зашитым в мешок фанерным ящиком. Когда он был освобожден от внешней матерчатой оболочки, в нем оказалось все, что могла собрать мать за год недоеданий и лишений. Похожая на подковку, твердая, как подметка,

армянская колбаса «суджук», домашний сыр, печеные крутые яйца, коробка американской тушенки, копченая вобла, залитая сургучом глиняная фляга, полная тутовой водки, а сверху всего этого великолепия — шесть конфет в разноцветных бумажках и плитка довоенного шоколада «Золотой ярлык».

Мишка хотел было заплакать, но удержался. Заплакала как раз Маруся, когда Мишка сказал, что оставляет мамину посылку ей, своей зазнобе. Девушка наотрез отказалась.

— Неси домой! — бормотала она. — У тебя там товарищи. Неси домой, Михаильчик!

— Нет! Это тебе, Марусенька.

Торг шел почти час. Наконец приняли мудрое решение: сладкое — Марусе, остальное Мишка уносил в роту. Прощались долго, поздравляя друг друга с наступающим. Маруся все заставляла Мишку съесть на дорогу конфетку, а он незаметно опустил в сумку Маруси кусок колбасы. Девушка хотела засунуть ящик снова в мешок, но Миша только махнул рукой и вышел.

Стало уже темнеть. С Вислы тяжелым одеялом полз густой туман… Он обогнал Мишку и пошел в наступление на немецкие окопы…

Солдат двигался сравнительно медленно. Ходу несколько мешал ящик под мышкой. Всякие думы лезли в голову: родная деревня, а в ней — родная мама, семья… Но не забыть бы слова песенки: «Ду, майн либер Аугустин!..» Вот же не повезло ему с концертом! Мишка мечтал спеть сегодня какую-нибудь красивую песню, а если она понравится, исполнить на «бис» всем известную. Он даже переделал для этого слова «на себя». Они прозвучали бы так:

Я ж одессит, Мишка!
А это значит,
Что не страшны мине ни горе, ни беда!
Я ведь солдат, Мишка,
Солдат не плачет…

А теперь придется на концерте бубнить — немецкую! И, громко напевая: «Ду, майн либер Аугустин, Аугустин, Аугустин!..», Мишка сбился с пути: кругом туман. Он метнулся — вправо, затем — влево. Наткнулся на стог сена, покрытый снегом… Четыре руки схватили солдата, одна зажала рот. Удар по затылку оглушит Мишку, судорожно прижимающего к себе мамину новогоднюю посылку.

Когда с его глаз сдернули повязку, а изо рта вытащили кляп, Мишка увидел, что стоит он, поддерживаемый двумя немецкими

разведчиками, в каком-то блиндаже.

На стенах висели карты, помещение освещалось электричеством, накаты были пригнаны аккуратно: работа — добротная, солидная… Это первое, что отметил Мишка.

Перед ним за столом сидел белобрысый офицер. На петличках Мишка увидел две стрелки…

«Плохо! — подумал солдат. — Горю ярким пламенем: это — эсэсовец!»

Белобрысый начал сразу на довольно чистом русском языке:

— Номер дивизии! Номер полка! Номер батальона! Номер роты! Номер взвода! Воинская специальность! Фамилия, имя, отчество, год рождения!

Белобрысый говорил не спеша, а у Мишки молнией пронеслось в мозгу следующее: «Влип! Что делать? Если рассказать, ответить на его вопросы, значит — стать изменником Родины! Никогда! Ни за что! А если я ему совру, обману? Тогда — плен, лагерь, пытки, муки, смерть! А может, послать их?.. Тогда истерзают сразу полностью, а потом — выведут на мороз, разденут и будут голого обливать, пока я не превращусь в ледяной монумент! Но так хоть Маруся будет мною гордиться. Все! Принимаю решение: ни черта я им не скажу. Пусть делают, что хотят, пусть хоть изжарят живьем!»

А жить-то Мишке хотелось, ох, как хотелось!..

— Слышал мои вопросы? Или мне повторить? Кто по специальности? — офицер войск СС угрожающе потянулся к лежащему на столе пистолету.

И Мишку вдруг осенило. Он гаркнул, перебивая белобрысого:

— Никаких фамилий! Никаких номеров! Где тут ваш… самый главный?!

Белобрысый опешил и невольно посмотрел в угол. Мишка увидел там седого человека. На ногах его были лакированные сапоги. Белобрысый сказал ему что-то. Из угла донесся ответ. Белобрысый кивнул на сидящего в углу генерала (Мишка уже рассмотрел его погоны) и проскрипел:

— Вот… он!

Мишка вытянулся во весь свой небольшой рост, руки — по швам и — на одном дыхании — отбарабанил:

— Господин генерал! Командир моей, стоящей перед вами непросыхаемой от болот Краснознаменной стрелковой дивизии послал меня к вам для вручения новогоднего подарка. Кушайте на здоровье. Сегодня такой праздник, что беспокоить вас не будем. Желает вам мой командир живым добраться до дома, поскольку осталось до него уже совсем немного… Извините, конечно, что так получилось, но мы вас к себе не просили, а что

поперли с нашей земли — ваша вина. Получайте, господин генерал, посылку, а расписки — не надо!

Белобрысый быстро переводил, генерал внимательно слушал.

Мишка положил на стол свой фанерный ящик, подбросил вывернутую ладонь к ушанке, щелкнул каблуками и отчеканил:

— Разрешите идти?

— Найн! — хрипло донеслось из угла.

— Нет! — механически перевел белобрысый. И генерал отдал какое-то короткое распоряжение. Адъютант метнулся к двери.

Мишка понял: «Вот сейчас она начнется, моя резня!!!»

Прошла минута, вторая, пятая. Они показались Мишке вечностью.

Адъютант вернулся. Он держал в руках большую картонную коробку, перевязанную крепким шпагатом. Всего несколько слов сказал генерал. Их, пожав плечами, перевел белобрысый:

— Передайте и мой привет вашему командиру — полковнику Савчуку… А настоящая война только начинается. И вы еще узнаете силу нашего оружия. Идите.

Он кивнул Мишке на коробку. Тот взял ее, затем — по всем правилам — повернулся «кругом» и, печатая шаг, вышел из блиндажа.

— Эй, Копнер! — окликнул Михаила ротный.

— Я вас слушаю, товарищ старший лейтенант!

— Где это тебя так долго черти мотали?

— Плутал в тумане, едва добрался! — И Мишка пошел дальше.

— Ну что, толковое что-нибудь прислали? — забросали его вопросами солдаты.

— Да нет, ребята. Пустяки — домашнее! После концерта закусим!

Обозрение прошло с успехом. «Ду, майн либер Аугустин» Мишка пел великолепно. Уже поздним вечером мы приступили к новогоднему ужину. Получили по сто граммов «своей законной», закусывали португальскими сардинами, немецкими мясными консервами, итальянским сыром. Ели и удивлялись: до чего же много трофейных продуктов имеется в нашем тылу! Благодарили Мишкину маму и выпили за ее здоровье — по самой маленькой — французского коньяка.

На следующий день Михаил Копнер доложил о своих похождениях командованию, а потом рассказал мне. М-м-да! Чего только не случается под Новый год!

1945-й. Мы уже в Германии. Темная ночь. Ситуация неясная: снова — «слоеный пирог». Опять непонятно, кто у кого в тылу: мы — у фрицев или они — у нас.

Я попросил осветить карту карманным фонариком, чтобы выяснить, где мы примерно находимся, и не поверил своим глазам: рядом было местечко Герберсдорф, на кладбище которого похоронен мой отец! Я побледнел, с трудом перевел дыхание. Это заметили мои солдаты. И Лёня Моложатов сказал:

— Что с вами, товарищ начальник?! На вас лица нет!

Я взволнованно объяснил:

— На кладбище этого местечка — могила моего отца!

— Тогда мы пойдем туда: поклониться!

— Да вы что?! — прошептал я. — Сума сошли?! Так рисковать?!

Но Глеб Жарков меня успокоил:

— Все будет в порядке, товарищ начальник!

Он говорил по-немецки превосходно! Тут же надел шинель и головной убор эсэсовского офицера и исчез в темноте.

Я не успел даже остановить его. Стали ждать. Не прошло получаса, как Глеб вернулся и сообщил:

— Кладбище — рядом. Можем туда идти.

И мы пошли.

Домик кладбищенского сторожа не был освещен. Глеб решительно постучал в дверь.

Вышел полуодетый пожилой мужчина.

— Кладбищенские книги! — приказал по-немецки Жарков.

— За какой год, господин лейтенант? — спросил сторож.

— За тысяча девятьсот первый.

Через минуту книга была вручена. Глеб открыл ее. И нашел страницу 30 января. Там была запись: «Леонид Прут».

Дрожа от страха, сторож повел нас по кладбищу.

И мы подошли к могиле моего отца. Она была в абсолютном порядке. Были видны места для будущих цветов. Я не сдержался и сказал по-немецки:

— Благодарю вас!

Сторож ответил:

— Это не нужно, сударь. Ведь за могилу уплачено до две тысячи первого года.

Глеб все-таки предупредил старика:

— Мы скоро вернемся, чтобы проверить ее состояние.

— Совершенно необязательно. Раз уплачено, будьте спокойны!.. — Но меня он предупредил: — После две тысячи первого года вам надо приехать, чтобы платить дальше.

Я уверил его, что буду обязательно… И мы ушли в ночь.

Через несколько лет после окончания войны я побывал на могиле отца: она находилась в полном порядке: клумба была полна цветов.

Когда подошли к Одеру и уже оставались считанные километры — не более 70 — до Берлина, нам пришлось долго, с большими трудностями вести бои за преодоление водной преграды…

Как-то на холмике возле опушки леса я присел у дерева. Поднял глаза и увидел: к стволу была прибита табличка, которую никогда не забуду! Там говорилось, что под ветвями этого дуба в 1797 году тайный советник Людвиг фон Тик написал свою бессмертную сказку «Кот в сапогах».

Освобождение Берлина от гитлеровцев ознаменовалось для меня контузией. В берлинском метро, затопленном по приказу Гитлера, советские солдаты пытались спасти мирных жителей, указывая им путь к выходу, где вода еще не покрывала человеческий рост. Там — в упор — в меня выстрелил немецкий офицер. Спасла — металлическая пуленепробиваемая пластинка, одна из тех двух, что вложила в карманы моей гимнастерки Любовь Петровна Орлова, провожая меня на фронт.

Напомню, что я продружил с этой женщиной всю жизнь, так и не перейдя на «ты»…

До войны мы жили в дачном поселке Внуково под Москвой. Участок Александрова и Орловой был через один от нашего.

В первые же дни развязанной гитлеровцами войны ходили слухи о парашютистах-диверсантах. Все мужское население писательского поселка быстро организовало отряды самообороны. Регулярно, каждую ночь — по очереди — мы выходили на дежурство.

Располагался наш маленький «отряд» у местного батюшки: дом стоял на краю поселка и оттуда был хороший обзор.

В мое дежурство прибегает местная девчурка и взволнованно говорит:

— На участке Александрова — парашютист!

Мы с напарником (не помню уж с кем) выбегаем из дома. Тихо крадемся к моему участку. Залегаем на пригорке, приготовив оружие. Я (по счастью) захватил и бинокль — подарок черноморцев… Смотрю: «альпийский стрелок»! В плаще и шляпе с пером.

— Иосиф Леонидович, я стрельну?! — говорит мой сосед.

— Подождите, у меня все-таки больше опыта! — целюсь в

голову… Вдруг эта голова поворачивается, и я вижу профиль Орловой!.. Похолодело все внутри… — Не стреляйте! Это — Любовь Петровна!!!

Мы прибегаем к Александровым.

— Люба?! Что вы здесь делаете?! — кричу я.

— Гуляю. Между прочим, Онечка, я ведь на своем участке!..

— Господи, спасибо, что уберег!!! Я ведь вас сейчас мог убить, дорогая вы моя подруга!!!

Некоторое время спустя, когда я уже мобилизовался, как военный корреспондент, Люба меня повезла на авиационный завод. Там были приготовлены отлитые из специальной пуленепробиваемой стали две пластинки. Орлова вложила их в карманы моей гимнастерки. К той, что была в левом кармане — плотно приклеена фотография актрисы.

— Отклейте в День Победы! Я там кое-что написала!

Короче, благословение этой очаровательной женщины спасло мне жизнь: пуля угодила в пластинку, прогнула ее, но не пробила, и на память осталась гематома.

Как-то — уже в первый год войны — я приехал в Баку. Там для «Боевого киносборника» снималась моя новелла «Одна семья». Ставил Григорий Александров. Главную роль играла Любовь Петровна.

Забавным же был такой эпизод: Орлова, Александров и я приглашены персидским консулом на встречу с молодой женщиной, приехавшей из Персии в Баку. Она была очень красивой и приближенной непосредственно к шаху. Женщина немного говорила по-русски.

Любовь Петровна, желая сделать гостье приятное, сказала:

— Наверное, в Тегеране вы пользуетесь большим успехом?

— Нет, — прозвучал ответ. — У нас там мужчины любят женщин, у которых большой жопф, а у меня — маленький…

Здесь я позволю себе небольшое отступление и вновь вернусь к моей семье.

У деда Аптекмана, как я уже писал, кроме моей мамы — Флоры и тети Нюси было еще два сына: Осип и Лазарь. Уменьшительное — Ланя. Этот Лазарь Леонтьевич был женат на красавице женщине Ривочке, урожденной Эрберг. Внешне Рива была абсолютно похожа на донскую казачку: голубоглазая, светловолосая, со вздернутым носиком. В ней не было ничего, что позволило бы поверить в ее нерусскую национальность и недонскую породу.

Родили Ланя с Ривой дочку Оленьку, мою двоюродную сестричку А Оленька, достигнув двадцатилетнего возраста, вышла замуж. В это время грянула война. И немцы заняли Ростов. Дядя Ланя с семьей эвакуировался и, когда наши отбили Ростов, вернулся. Но пришлось ему бежать оттуда во второй раз…

Нагрузив с соседями вещи на подводу, дядя с семьей, которая состояла из его жены — моей тети Ривы — и уже беременной дочки Оленьки (где в это время находился ее муж — не знаю: то ли на фронте, то ли был эвакуирован с заводом), двинулись переправляться через Дон. Дядя шел впереди, держа свою беременную дочь под руку, а замыкала шествие, идя с другими женщинами, тетя Рива.

Снаряд разорвался посредине Дона, разбив переправу. Дядя с Олей и двумя чемоданами оказался по одну сторону реки, а тетя Рива — по другую…

1942 год. В один из моих приездов с фронта я — в Баку. Не помню, на какой прием, то ли в Бакинский горсовет, то ли к персидскому генеральному консулу, шли мы с Любовью Петровной. Вдруг я увидел сидящих на земле нищих: старика, рядом с ним — молодую женщину, державшую на руках что-то похожее на живое создание.

Я подошел ближе: не знаю, что меня потянуло к ним, очевидно, желание подать милостыню. И увидел, что это мой дядя Ланя и моя двоюродная сестричка Оля, а на руках у нее — ребенок, которого она родила то ли на крыше, то ли на открытой платформе вагона: мой племянник — Игорек.

Сами понимаете, что я сразу же забрал их к себе в гостиницу, привел в полный порядок и при первой возможности отправил на ту сторону Каспийского моря — в Красноводск.

История этого семейства, злоключений Лани и Оли, потерявших жену и мать, — особая и о ней можно многое рассказывать. Но интересно тут другое: тетя Рива не погибла. Разрывом снаряда убило ее соседку — русскую женщину. Те, кто не сумел переправиться через Дон, вернулись в Ростов. Добрые люди посоветовали Риве взять паспорт убитой и не оставаться в городе. Она послушалась. Уехала в станицу, где и прожила всю оккупацию. В то время, как все люди еврейской национальности были немцами уничтожены.

Когда наши войска погнали фашистов на Запад и вновь освободили Ростов, эта семья воссоединилась. Тетя Рива, несмотря на то, что находилась на оккупированной территории, организовывала людей для работы, помогавшей многим выжить, вела большую общественную деятельность…

То, о чем я пишу сейчас, было, пожалуй, году в 44-м на фронте, когда сложилась позиция очередного «слоеного пирога».

Нам с воздуха сбросили продовольствие, патроны и письма для воинской части. Среди этих писем был журнал, кажется «Звезда» или «Знамя», в котором напечатан очерк Ильи Эренбурга.

Илья Григорьевич знал кое-что о моей родословной, поэтому журнал был адресован мне.

Начиналась эта статья так: «Екатерине Леонтьевне Итиной было 82 года…»

Екатерина Леонтьевна Итина, моя так называемая тетя Катя, — жена двоюродного брата моей бабушки. А надо вам сказать, что он воспитывался в семье бабушки и считался родным братом. Знаменитый дядя Гриша! Его сын — художник Ося Итин — жил в Швейцарии. Дядя Гриша умер до войны. Тетю Катю спрятали две монашки. Но кто-то из соседей выдал, и немцы расстреляли и монашек, и тетю Катю.

Мои солдаты, мои «мальчики», узнав от меня о рассказе Ильи Эренбурга, пошли в ночь: мстить!

С приближением конца войны я все чаще вспоминал свою давнюю беседу с французским военным атташе в Москве после просмотра моего фильма «Огонь!».

Этот человек сказал:

— В тридцать седьмом году Гитлер оккупировал Чехословакию, в тридцать восьмом будет Польша… В сорок четвертом очередь дойдет до России.

Я ответил:

— В тридцать седьмом не хотел бы быть чехом, в тридцать восьмом — поляком, а в сорок четвертом — немцем!..

В одну из поездок в тыл я побывал в Ташкенте: принес к ногам своей Королевы — Анны Андреевны Ахматовой — солдатский паек, что было весьма кстати в те тяжелые годы эвакуации.

Анна Андреевна занимала крохотную комнатушку на втором этаже дома, где поселили семьи эвакуированных коминтерновцев. В комнате стояла узкая койка, покрытая солдатским одеялом, маленький стол и один стул.

Анна Андреевна интересовалась делами на фронте, а внизу, где находилась общая кухня, раздавались крики и ругань на разных языках. Чаще всего слышалось немецкое: «Доннер веттер!..»

Ахматова пожала плечами и обратилась ко мне с вопросом:

— Милый Оня, если таковы антифашисты, то что же такое фашисты?!

В этот же короткий период мне пришлось побывать в узбекском суде. Там слушалось «дело» жен моих товарищей. Судья объявил:

— За продавание и вязание кофточек гражданки Финн и Загруди (Згуриди) приговариваются…

Тут я не выдержал, вскочил и выхватил револьвер:

— Мужья этих женщин воюют, защищая вас, здесь сидящих! Их жены — своим трудом — пытаются прокормить детей, а вы их за это судить?!

— Нет, нет! Не волнуйтесь! — засуетился судья. — Мы только попугать!..

— Не «пугать», а помогать надо эвакуированным, потерявшим кров и кормильцев! — грозно изрек я.

— Да, да! Помогать будем! Спрячь револьвер!..

Однажды, приехав в Москву, если не ошибаюсь, для доставки на завод нескольких подшибленных танков, я попал на заседание, где занимавший видное положение в области культуры некто Храпченко разглагольствовал с трибуны о патриотизме.

Накануне я случайно встретился с родственницей Достоевского, которая пригласила меня к себе. Жила она в полуподвале в ужасающих условиях и на иждивенческую карточку. Я поделился, чем имел, с несчастной женщиной. А на этом собрании не выдержал и попросил слова. Я пристыдил руководство культурой, которое не удосужилось помочь правнучке великого русского писателя и она почти погибает от недоедания. Сказал, что можно было бы ее — женщину уже пожилую — переселить из подвала!

На что рассерженный Храпченко с трибуны провозгласил:

— Позор! Писатель Прут видит нашу действительность из арьергарда!

Я же с места выкрикнул:

— Из арьергарда виднее, какое говно находится в авангарде!

На следующий же день Храпченко пожаловался на меня в Министерстве культуры. На что ему было сказано:

— А вы ведите свои дела так, чтобы у писателей не было причин вас обзывать!

Однако с помощью «затаившего на меня хамство» Храпченко мое пребывание в столице значительно сократилось, и я вновь оказался на фронте.

Положительным в моем скверном положении было то, что,

находясь на переднем крае, я был совершенно свободен в отношениях с начальством. Не только «на этой» но и «на той» стороне мои «мальчики» работали вместе с разведротой.

После взятия Берлина нашу дивизию направили в Чехословакию. Мы участвовали в освобождении Праги и спасли этот прекрасный город от уничтожения.

В Чехословакии наши разведчики донесли, что рядом находится концентрационный лагерь с французскими узниками. Гитлеровцы запланировали перед своим уходом сжечь всех пленных в газовых печах.

В два часа ночи мы направились к лагерю. Наше появление оказалось для фашистов неожиданным (большинство лагерного начальства уже сбежало).

Когда мы открыли двери первого барака, я увидел католического священника в полосатой лагерной одежде, который отпускал грехи приготовившимся к смерти «прихожанам».

Разглядев в полутьме советское обмундирование, священник бросился ко мне с криком:

— Арм! Арм! (Оружие! Оружие!)

Мы отдали все, что имели, этим людям-полутрупам, и они с воплями кинулись к оставшимся еще лагерным стражам и предателям…

Вскоре в газовых печах оказались сами палачи. Меня же — после войны — французское правительство наградило медалью «Освобождение» за эту операцию.

Возможно, и не только за нее. Был момент, когда наша часть — с земли — прикрывала летчиков эскадрильи «Нормандия — Неман»… С некоторыми из них я подружился и впоследствии виделся.

Однажды повстречался я на фронте со старшим по званию из другой части. Но этот человек слышал, что я — писатель. Произошел такой диалог:

— Фамилия?

— Прут.

— Один воюешь или с братом?

— Вы, наверное, имеете в виду братьев Тур?

— Точно. Я еще маленьким был — уже их сказки читал.

Ну, поскольку он меня принял за братьев Гримм, я постарался поскорее уйти.

Служил в отделении при клубе цыган Гриша Марин — я уже

о нем упоминал. Хорошим был бойцом. Часто с разведчиками уходил в тыл врага… А на концертах пел и плясал — заглядение!

И вот как-то приезжает ко мне майор из соседней дивизии. Мнется, жмется, потом выкладывает:

— У вас в отделении цыган есть?

— Есть, — говорю. — Хороший боец и артист отменный. А в чем дело?

— Понимаете, товарищ Прут… как бы это вам объяснить… Из нашей дивизии конь исчез!

— Видите ли, товарищ майор, мои бойцы — в перерыве между боями — выступают перед товарищами с концертами. А когда бой идет — в нем участвуют! Так что прогуливаться в соседнюю дивизию за лошадьми нам — пешим — не с руки! Да и коней кормить нечем, поскольку по штатному расписанию таковые в нашей дивизии не значатся!

Однако цыганские традиции сказались: однажды Гришу Марина ранили, и мы оставили его в смоленском госпитале. Вернулся он ко мне верхом на лошади! Добыл ее, обменивая по пути различные вещи и живность…

Перевалив через Карпаты (естественно, с тяжелыми боями), мы пришли в Словакию осенью 1944 года.

Надо знать, что фашисты и духовенство этой страны говорило о Красной Армии ужасы. Дети были уверены, что мы просто черти с рогами и хвостами. После упорных боев нашу дивизию вывели на отдых. Штаб разместился в небольшой деревне. Я поселился у одного крестьянина — выходца из Волыни, отлично знавшего русский язык. Человек он был одинокий и помнил слова своих бывших руководителей о том, что за икону — расстрел, за слова «Бог», «Иисус» или «Мария» — расстрел. Поэтому в его домике все иконы были сняты, лампадка не горела.

Я решил отдохнуть. Залез на печку и в полудреме услышал следующий разговор.

Из деревни вернулся мой вестовой Рамазан — молодой татарин, родившийся в далекой мусульманской деревне. Он не имел ни малейшего представления о христианстве.

Старик, бормотавший молитву, вздрогнул, когда Рамазан к нему обратился со следующими словами:

— Почему у вас, отец, такое безобразие творится?!

— О чем ты, сын мой? — испуганно спросил старик.

— Я прошел по вашей улице до конца. И что я там увидел?! Палку большую. На ней — другую, поменьше. И на этих палках — голый человек прибитый! Почему такое безобразие здесь

позволяете?!

Старик попытался, как мог, объяснить:

— Видишь, сынок… Это был молодой человек — очень хороший. Всем помогал. Тридцать три года имел от роду… А плохие люди его поймали и прибили на кресте.

— А почему он не ушел к партизанам?! — спросил Рамазан.

Старик пожал плечами, вытер набежавшие слезы и сказал:

— Наверно, было уже слишком поздно: они его раньше поймали…

Я решил прекратить этот разговор:

— Рамазан! Оставь старика в покое! А почему этот гражданин прибит на кресте, я тебе потом объясню.

Так, вечером Рамазан узнал, что кроме мусульманской существуют еще и другие религии и что прибитый на кресте был Иисусом Христом…

Уже в тылу, после объявления о Победе, мне, как жителю горной страны Швейцарии, поручили с группой альпинистов забраться на Эльбрус, чтобы снять установленный там фашистский флаг.

За эту операцию — в качестве награды — я получил талон на чай.

Спустившись в долину, я поспешил «отоварить» талон, так как с провиантом было не очень хорошо.

И, представьте себе, меня — в военной форме, при оружии, то есть в весьма выразительном боевом облачении — продавец самым наглым образом обвешивает.

Я вознегодовал:

— Меня, фронтовика, ты смеешь обвешивать?! Пристрелю, как собаку!

Торговец сделал предупреждающий жест:

— Слушай, я тебе не мешал делать твое дело на фронте? Так и ты не мешай моему делу в торговле!

Такая логика меня обезоружила…

Хочу вам рассказать и о самом дорогом для меня Новом годе. Дорогом — в смысле суммы, на него затраченной…

Дело было в конце войны на Дальнем Востоке в Хабаровске. Отказавшись от трех концертов, каждый из которых дал бы мне по 160 рублей (сумма в ту пору — громадная), я уговорил своих товарищей последовать моему примеру и пойти на просмотр трофейного фильма «Смерть Риббентропа». Так сообщила одному из нас девушка, работавшая в облисполкоме и пригласившая нашу писательскую группу на этот фильм. Как кинематографист я

не мог отказать себе в просмотре такого исторически важного материала!

Когда эта милая девушка ввела нас в ложу, уже погас свет и пошли заглавные титры.

На экране появилась крупная надпись: «Жизнь Рембрандта»…

После войны

Я хочу, чтобы вы улыбнулись — прямо сейчас!

На фронте кинооператор Соломон Коган, одессит по рождению, проявлял чудеса храбрости (либо у него отсутствовала «извилина страха») — он все время стремился снимать наступление наших войск с немецкой стороны…

После войны Соломончик загрустил. Не мог себе найти дела по душе. Мудрая мама предложила Соломону пойти к Солянику, который командовал китобойным судном, и отправиться с ним в плавание.

— Нет, — возразил сын. — Они расстреливают несчастных животных из пушек. Вот если бы пойти на ботике, с гарпуном, и сразиться с животным на равных…

Что ни сделает еврейская мама для своего сыночка, который вернулся невредимым с войны?..

Совершенно верно: она пошла к Солянику и уговорила капитана дать возможность Соломончику заснять «равный поединок» китобоев с китом.

Короче, фильм был снят. Показан высокому начальству в Министерстве кинематографии. Картину принимают, и министр Иван Григорьевич Большаков изрекает:

— Пусть называется «Советские китобои».

Расстроенный Коган делится со мной своей бедой:

— Кто пойдет на фильм с таким названием?!

— Соломончик, хочешь название, на которое сбежится весь народ?

— Конечно, Онечка! Говори!

— «Бей китов, спасай Россию!»

— Название — гениальное, но не пойдет!

Действительно, тогда «не пошло»…

* * *

На войне командиром разведроты моей дивизии был капитан Петр Цушко. Человек необычайной храбрости и решительности. Он был уроженец Одессы.

Командиром разведроты соседней дивизии был также одессит — капитан Семен Герман. Мы часто встречались. Я могу сказать, что эти два офицера меня очень любили. Любовь выражалась по-разному. Если у Сени Германа это было какое-то особое ко мне уважение, то Петя Цушко был человек попроще. Его теплое

чувство выражалось в том, Что он иногда посылал мне пакетик с кусковым сахаром.

Кончилась война, и в 1946 году я поехал отдыхать в Одессу. Остановился в гостинице «Красная» на Пушкинской улице и, сидя на балконе, как-то перед обедом, часов в 12 дня, увидел то, что меня поразило: по улице города Одессы шли мои два фронтовых товарища: капитаны — Герман и Цушко.

Я их окликнул. Когда они увидели меня, бросились в гостиницу и через минуту были в моем номере, а я — в их объятиях. Мы по-братски расцеловались, счастливые, что вернулись после такой войны живыми домой.

Совершенно естественно, каждый из нас пришел не совсем целым. Они оба были ранены в боях, а я — дважды контужен, да плюс — перелом ноги, который сделал мою левую короче, да кровоподтек, о котором я упоминал, рассказывая о случае в берлинском метро.

— Так куда идут мои друзья-товарищи? По своим домам?

— Нет. Домов нет… И родителей наших нету…

— Что такое?!

— Их прятали соседи, но кто-то выдал… — Оба капитана были евреями: и Герман, и Цушко…

— Куда же вы так решительно шагали?

— Мы идем к владыке.

Архиепископ Таврический и Крымский располагался в Пушкинской церкви, ибо, уходя, немцы взорвали одесский собор.

Я спрашиваю:

— Так зачем вы идете к владыке?

— Он знает, кто выдал!

— Не может быть!

— А вот нам сказали — точно.

— Хорошо. Тогда я пойду с вами.

— Будем очень рады, Иосиф Леонидович! Идемте!

Мы пошли. Церковь помещалась в конце улицы, почти около вокзала.

На звонок дверь нам открыл служка. Мы сказали, что идем к владыке. Нас повели…

Владыко оказался тучным человеком с бородой, как у Карла Маркса.

Офицеры представились. Я — тоже. Он протянул руку. Они руку ему поцеловали, я — пожал.

Владыко спросил:

— Чего пришли, дети мои?

Они сказали:

— Внести деньги на восстановление храма.

— Сколько вносите?

— По пяти тысяч каждый.

Он позвал служку. Велел принести квитанционную книгу и продиктовал:

— Пиши! Твоя фамилия как?

Петя сказал:

— Цушко.

— Зейф (еврей)? — спросил на идиш владыко.

Петя ответил:

— Так точно. Дедушка торговал мылом на базаре.

— Помню его, — кивнул владыко. — А ты? — обратился он к Сене.

— Герман! — ответил тот.

— Отец работал у Менделя? В магазине одежды?

— Нет. Это был мой дядя.

— Ясно. Пиши! — повернулся он к служке и продиктовал: — От прихожан иудейского вероисповедания Цушко и Германа — на восстановление храма — десять тысяч рублей.

Капитаны выложили деньги. Служка их забрал, выписал квитанцию и ушел.

Когда мы снова остались одни, владыко посмотрел на капитанов и сказал:

— Ну а теперь, дети мои, говорите: чего пришли?

Тогда офицеры рассказали о цели своего посещения.

Что, мол, так и так: жили наши старики, их прятали соседи! Кто-то выдал, и наших родителей расстреляли.

— Да-а, — сказал владыко. — На какой улице жили?

— На Костецкой.

— Правая или левая сторона?

— Левая.

— И какие же номера домов?

— Семь и девять.

Владыко подумал и произнес:

— Богатырчук выдал.

Офицеры поднялись. Поднялся и я. Они вновь поцеловали руку священнослужителю, а я сказал:

— Идите, ребята, подождите меня.

И когда мы остались вдвоем, я спросил:

— Как величать вас в миру прикажете, владыко?

Он ответил:

— Николаем Ивановичем.

— Николай Иванович! Вы знаете, что это за «мальчики»?

— Мои прихожане.

— Нет, нет! Я не об этом! Кто они по военной профессии?

— Офицеры.

— Верно. Но они — командиры разведрот! Это люди абсолютной храбрости и великой справедливости. И все-таки, Божеское ли это дело?!

— Что именно?

— Ведь они найдут Богатырчука и убьют его! Отомстят за своих родителей!

Владыко усмехнулся и сказал:

— А Богатырчук ни Богу, ни людям не нужен. Он — сволочь.

Я заметил:

— Но ведь это же самосуд! Будет — самосуд! Все-таки для этого есть советская власть, которая должна решать все по закону.

А он говорит:

— Милый мой! Есть ли советской власти время всем этим заниматься? Пускай решают сами.

Я вышел. Сказал ребятам, что не одобряю их затею. Они почтительно возразили, что просят позволения решить этот вопрос самим. Мы попрощались. Я просил их вечером ко мне зайти.

Вечером мои товарищи пришли. Мы отправились ужинать. Я спросил:

— Как было дело? Нашли Богатырчука?

— Конечно! Мы объявили ему о цели своего прихода. Даже разрешили выпить напоследок рюмку водки.

Чтобы разрядить обстановку, я рассказал ребятам об Одессе времен Гражданской:

— То было в двадцать седьмом. Уже при советской власти. В одном доме хозяйка давала обеды. А хозяин любил почитать вслух газету.

Приходит внук и спрашивает дедушку:

— Так кто такой Карл Маркс, про которого ты читаешь?

Дед посмотрел удивленно на внука:

— Ка-ак, ты не знаешь?! Он был экономист.

Мальчик сказал:

— Как наша тетя Роза?

Дед усмехнулся и ответил:

— Наша тетя Роза же ста́рший экономист!

Рассказал им и о том случае, когда я обедал у родителей Ефима Березина, который выступал на эстраде вместе с Юрием Тимошенко (Тарапунька и Штепсель).

Хозяин дома — пожилой человек — был контролером в цирке. В конце обеда с работы, тоже из цирка, вернулись его дочь и младший сын. Оба бледные и возмущенные: сына — уволили.

— За что? — удивился я. — Что он в цирке делал?

Старик невозмутимо объяснил:

— Он там бросал кирпичи… Но вместо того чтобы бросать их вверх и ловить, он умудрялся кидать их на зрителей. Вероятно, зрителям и дирекции это наконец не понравилось…

На том ужин закончился, и мои фронтовые друзья ушли…

Вспоминается (вдруг?!) вечер в честь очередного праздника Победы в Центральном Доме литераторов. Гостями были многие прославленные военные — Герои Советского Союза, в их числе — маршал Георгий Константинович Жуков. А я, который принимал гостей, облачился в форму солдата, так как мой майорский аттестат так и не нашел меня ни во время войны, ни после, хотя я и сдал Устав на отлично…

И вот в вестибюле ко мне подходит некий полковник и говорит:

— Я знаю, многие члены вашей семьи участвовали в боях, были на фронте, но почему-то никто не дослужился до высоких чинов?..

Этот «вопрос» и мой ответ услышал Георгий Константинович, который подошел и обнял меня. А потом за меня провозгласил заздравный тост.

Ответил же я «полковнику» следующее:

— Моих родных, и в частности Итина, который повторил подвиг Матросова, — убивали до того, когда приходила пора получать очередные погоны!

Я встретил Жукова уже опальным в Кисловодске. Он шел по аллее прямо на нас: на меня и Героя Советского Союза — моего друга Илью Мазурука.

Последний быстренько отошел к клумбе «понюхать цветочки». Я не только поздоровался с Жуковым, но заговорил с ним: спросил о его самочувствии.

После того как мы разошлись, Мазурук вернулся от клумбы. Я сказал:

— Будь моя воля, снял бы к чертовой матери с тебя Золотую Звезду! Ведь когда маршал был в фаворе, вы все готовы были ему ж…у лизать! А сейчас?!. Нюхать цветочки отбежал?!

— Я-я… не заметил, что это Жуков… — потупившись, пробормотал Мазурук.

Вот поэтому к своим 95 годам я и не имею ни Звезды Героя, ни звания народного: всегда говорил и делал, что повелевало сердце. Конечно, понимая, что рискую головой. В 1937-м помогал семьям репрессированных Рыковых, Мандельштамов,

Штейнберга.

Именно этим объясняю наличие своей фамилии в «расстрельном списке», опубликованном несколько лет назад «Литературной газетой». Не убери Бог Сталина, в 1953-м произошла бы депортация евреев, как это случилось с чеченцами, ингушами, немцами Поволжья…

Хоть я и не исповедовал иудаизм, дружил со служителями православной церкви, получал благословение от патриарха Чехословакии, я всегда верил в Бога — в того, кто над всеми нами, кого надо страшиться в неправедных поступках и черных делах.

Потому, когда меня неоднократно спрашивали (особенно на фронте): «Иосиф Леонидович, судя по вашему творчеству, вы вполне прогрессивно мыслящий человек. Почему же не вступаете в партию?!» — я отвечал: «А потому, что верю в Бога!» — И от меня отставали.

Однако перед атакой, перед грядущим боем, я видел, как ярые коммунисты тайком крестились и молились Всевышнему. Я их за это не осуждал…

Иван Козловский

На моем 80-летии в Доме литераторов Иван Семенович Козловский пропел со сцены в мою честь:

Люблю я Оню Прута,
Который — тута!
Вот он сидит на сцене —
Наш друг, наш гений!
Его орлиный профиль
и взгляд глубокий.
Как флаги на флагштоке,
Свисают щеки!..

Иван Семенович Козловский всегда был легок на подъем. Он участвовал в наших «капустниках» не только в ЦДРИ, но и в Доме литераторов

Писатели — в свою очередь — помогали ему. В селе, где он родился, создана музыкальная школа. И ежегодно в ЦДЛ мы давали платные «концерты» в пользу этой школы. В них принимали участие и Антокольский, и Белла Ахмадулина, и конечно же я.

На моих юбилеях Козловский непременно пел. В день моего девяностолетия он был болен и прислал в подарок венок из ржи, который просил считать за лавровый.

Естественно, я не оставался в долгу. И, когда в Большом театре праздновали девяностолетие Ивана Семеновича, я вышел на сцену с такими словами:

— Пятый гусарский ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк вошел в строй русской армии 21 июня 1783 года.

Полк — до 1917-го — участвовал во всех войнах нашей Родины и награжден за исключительную доблесть — всеми высокими знаками русского воинского отличия.

Я рассказываю вам это затем, чтобы вы знали, что в 1900 году штаб полка располагался в селе Марьяновка Полтавской губернии, где именно в ту пору родился наш дорогой юбиляр. А эскадроны полка находились в окрестных деревнях, носивших живописные названия: Шамраевка, Верхне-Мануйловка, Марковка и Бутенки.

Поэтому я спою моему другу — Ване, а с ним я дружу ровно шестьдесят пять лет, — песню этого славного полка, причем

последний куплет посвящаю лично юбиляру:

Кто там в малиновой венгерке
И в чьих глазах горит пожар?
Я узнаю тебя, бессмертный
Александрийский лейб-гусар!

Без кунтуша, в одном халате,
Шинель накинув в рукава,
Фуражка теплая на вате,
Чтоб не замерзла голова!..

Летя на тройке полупьяный —
Снег забивался мне в глаза,
И по щеке моей румяной
Стекала медленно слеза.

Быть может, нынче, может — завтра
Нас всех на копьях понесут
И там, в могилу опуская,
Нам память вечную споют.

Так пей, гусар, покуда пьется,
И горе в жизни забывай.
У александрийцев так ведется:
Пей, брат, ума — не пропивай!

И наконец:

Хотя мы пили по-московски,
Но никогда он не был пьян,
Иван Семенович Козловский,
Иван Семенович — Иван!..

Ваня меня целует и говорит:
— Оня, тебе бы мой голос!
А я ему в ответ:
— Жопа, тебе бы мой слух!
Это, конечно, телевидение «вырезало»…

Сергей Михалков

С Сергеем Михалковым я дружу, пожалуй, года с тридцать пятого. Вы знаете о его небольшом дефекте — речевом. Как-то шел он по улице Горького, увидел меня, подходит, взволнованно что-то пытаясь сказать. Я его опередил словами:

— Если насчет денег, даже не заикайся!

Надо заметить, когда речь шла о деньгах, он… не заикался!

— Н-нет! Я иду… из ре-ре-дакции «Пра-авды». С-с-да-ал… — Пауза. — Две-две-ести строк. — И абсолютно не заикаясь добавил: — Получил сто сорок рублей. Правда, здорово?!

Уже в послевоенные годы мы поехали с Сережей Михалковым в Одессу, намереваясь писать сценарий.

Сергей говорит:

— З-значит, так: восемь часов спим, д-два часа работаем, д-два часа гуляем, д-два в день — на еду, д-два — на баб, еще д-два часа мне, чтобы вылечиться от з-заикания. В Одессе это умеют…

И вот тут-то произошел знаменитый диалог писателя с милиционером. Дело было на одесском вокзале: долговязый Михалков видит маленького милиционера. Манит его к себе пальцем и произносит:

— А с-скажите, где тут у вас з-знаменитая школа з-заикания?

Милиционер, настоящий одессит, в ответ:

— З-зачем вам школа? В-вы же и так в-великолепно з-з-заикаетесь!

По рассказам очевидцев, Михалков, будучи военным корреспондентом, в один из первых дней войны застрял в Одессе. В то время враг приближался к городу, и Одесса готовилась к обороне.

Расстроенный событиями, Сергей шел в порту вдоль пирса, а ему навстречу — моряк торгового флота. Обращаясь к Михалкову, он, сильно заикаясь, спросил:

— К-кот-торый ч-час?

От дурных дум и ужасного настроения Михалков стукнул моряка, и тот полетел в воду. Подбежал патруль:

— В чем дело?!

Моряк, вылезая из воды, уцепившись за кольцо, удивленно кричит:

— З-за-а что?!

Михалков, обращаясь к патрулю:

— П-подумайте, какая с-сволочь! Тонет, а дра-а-знится!

Когда, вместе с Эль-Регистаном, Сережа написал гимн Советского Союза и утром объявили о том, что он получает Сталинскую премию, Михалков, взволнованный, прибежал к своему двоюродному брату, чтобы сообщить радостную новость. Там все еще спали и только его племянник — первоклассник — собирался в школу. Он открыл дверь лауреату. Сергей поднял мальчонку на руки, расцеловал и, как всегда, заикаясь, сказал:

— Т-ты з-з-наешь, я получил Ста-алинскую премию!

На мальчика это не произвело впечатления. Он ответил:

— Подумаешь! Я вчера получил пятерку!

А этому эпизоду уже я сам был свидетелем… Во время войны я приезжал с фронта в Алма-Ата, где Иван Пырьев снимал по моему сценарию фильм «Секретарь райкома». Естественно, я навещал семьи своих друзей, в том числе и Михалковых, ибо Наташу Кончаловскую, как уже говорил, знал с детства.

И вот то ли в Алма-Ата, то ли после войны в Москве в доме Михалковых произошла такая сцена.

За чаепитием сидели я и маленький Андрон. Приходит Сергей с пакетом — продуктовым пайком. Кладет его на стол, разворачивает: Среди прочей снеди — сливочное масло. Отец отрезает кусочек сыну и большую долю себе, при этом говоря:

— Ты-ы маленький — тебе по-оменьше, а я бо-оль-шой — мне по-о-больше.

На что ребенок с сарказмом замечает:

— А когда дядя Оня приезжал с фронта, он нам с мамой отдавал все свое масло!

Не знаю, помнит ли об этом нынешний знаменитый кинорежиссер, но эту реплику ребенка я запомнил…

Эммануил Казакевич и Вениамин Рискинд

Это было на фронте в 1943 году. После одного организованного мною и удивительно удачно закончившегося поиска в расположении противника я сказал исполнителю этой исключительно тонкой операции:

— Ты — самый лучший командир разведроты в нашей армии!

На что капитан Петр Цушко ответил с его неповторимым южным акцентом:

— Есть — више! И куды више: Казакевич!

Так впервые я услышал эту фамилию. А познакомились мы с Эммануилом Генриховичем уже после войны: у нас оказался общий друг — Веня Рискинд. А так как друзья наших друзей — наши друзья, мы сразу и подружились. Оставаясь на «вы» (Казакевич однажды сказал, что это признак наивысшего уважения), мы называли друг друга уменьшительными именами. Поэтому Казакевич стал для меня просто Эммой.

Сегодня с особой теплотой вспоминая о моем ушедшем товарище, я отлично понимаю, что многие, знавшие Казакевича как писателя (и возможно встречавшиеся с ним ежедневно), сообщат читателям другие подробности, достойные этого крупного самобытного литературного дарования. Мне хотелось бы отметить несколько микрограней лишь одной стороны его сущности: доброту и удивительную человечность.

Воин беспредельной личной храбрости в бою, Казакевич был в мирное время самым мирным из всех моих самых мирных знакомых. Никогда и никто по внешнему его виду, по манере двигаться, по особой фразеологии — такой предельно «гражданской» — не мог бы предположить, что его собеседником является первоклассный армейский разведчик.

Как-то утром раздался телефонный звонок.

— Слушаю!

— С добрым утром, Оня. Говорит Казакевич.

— Здравствуйте, Эммочка!

— Надо сегодня повидаться!

— А что случилось?

— Есть одно большое дело.

— Литературное? — спросил я.

— Наоборот: финансовое!

— Вам нужны деньги?

— Нет. Но о них пойдет речь! Захватите пятьсот (разговор

происходил в 1956 году)!

— Где встречаемся?

— Не в Академии же наук.

— Значит, в кафе «Националь)?

— Именно.

— Когда?

— В двенадцать ноль-ноль!

Казакевич, ждавший меня за столиком, сразу приступил к делу:

— Надо выручать Рискинда!

— В каком смысле?

— Довольно ему сочинять впустую. Веня много пишет, но его гениальные опусы никто не покупает.

Рискинд был автором слов и музыки многих песен. Отлично сам аккомпанировал себе на баяне. Его рассказы читала со сцены Вера Николаевна Пашенная.

— Что же вы предлагаете: аукцион?

— Острить начнем вместе, когда решим главный вопрос! — сказал Казакевич. — Рискинд должен начать выступать публично. Причем за нормальную плату. Конечно, он к этому не привык! Я присутствовал на его концерте сравнительно недавно: залом была кухня этого кафе. Народу — полно! Веня, в день Восьмого марта, пел для официанток и поварих, пел вдохновенно, но совершенно бесплатно!.. Я хочу пресечь эту опасную благотворительную деятельность. За свой труд Рискинд должен получать нормальное вознаграждение! И есть человек, который согласен возглавить его артистическое турне: этого слова при Вене не говорите, он — его не знает и подумает, что речь идет о выпивке… Итак, Рискинд поедет выступать от Мосэстрады с песнями войны и мира по нашей необъятной стране. В его успехе я не сомневаюсь!

После паузы я спросил:

— А Веня согласен стать гастролером?

— Да. Я уговаривал его больше недели: поедет!

— Так значит, все в порядке! И при чем тогда деньги?

— Очень при чем! Деньги нужны. У Вени нет костюма! Ему для выхода нужен… фрак.

— Эммочка! Веня — бывший чемпион по велоспорту. У него фигура, более схожа с формами Григория Новака, нежели…

— …Нежели чем с линиями Галины Улановой? Согласен!.. Но в своей гимнастерке он выступать не может! Конечно, где-то вы правы, если Веня выйдет во фраке, зрители подумают, что он комик, изображающий капитализм. Может, смокинг? Будет очень эффектно, когда он с баяном начнет:

Здравствуй, мама, родная старушка!
Я сегодня иду в первый бой,
Набросаю фашистам игрушек
И с победой вернуся домой!..

— Эммануил Генрихович! Песни фронтовика — в смокинге?

— Полагаете, что может прозвучать насмешкой? Хорошо! Тогда — вы и я покупаем ему хороший черный костюм. Гоните ваши пятьсот монет.

Я протянул Казакевичу пять сотенных купюр.

— Вот и наши полтыщи. Покупать костюм пойдет с Веней моя жена Галина Осиповна.

— А он не обидится?

— На кого?

— В таком походе — под присмотром вашей супруги — есть элемент недоверия…

— Что вы предлагаете?

— Дать Вене деньги на материал, а костюм сшить в Литфонде.

— Может, вы и правы… У Рискинда, конечно, нестандартная фигура и подобрать что-нибудь подходящее для него будет нелегко.

Через месяц Казакевич сообщил:

— Деньги я Рискинду отдал. Материала он не купил и концертный костюм сшит не был. Веня отослал нашу тысячу в Ленинград своей племяннице Анечке, дочери его убитого на войне брата-капитана. Я, как инициатор этого грабежа, хочу вернуть вашу долю.

Услышав мой отказ, Эммануил Генрихович сказал:

— Дружба, если она настоящая, довольно дорогая штука. А раз мы друзья Вени, будем нести и дальше этот крест… Я придумаю для него еще что-нибудь в таком же роде…

Еще один памятный разговор:

— Что сочиняете, Эммануил Генрихович?

— Должно вам понравиться! Роман о разведчиках, о людях, действовавших в тылу врага. Таким образом, у моих будущих героев на войну — особая точка зрения: они видят гитлеровцев со спины и участвуют в боевых событиях с другой стороны. В последней главе хочу описать взятие Берлина. Факт грандиозного значения, ибо повержена цитадель самого страшного зла в истории человечества, да и сам город — не Жмеринка…

Александр Фадеев

Не помню точно года… Звонит Фадеев:

— Оня! Приехала хозяйка нашего Дома литераторов графиня Олсуфьева!

— Это ей принадлежал особняк, где теперь клуб? Ну и что? Она требует его обратно?

— Нет. Хочет посмотреть.

— А я при чем?

— Мне сказали, что она по-русски не говорит, только по-немецки. Так что проводи ее!

— Хорошо. Буду с ней говорить по-немецки.

Через двадцать минут — второй звонок:

— Я ошибся! Говорить надо по-французски!

— Хорошо. Буду говорить по-французски, хотя непонятно: она же смолянка, русская…

— Не знаю! — отвечает Фадеев. — Мне так сказали, и нечего рассуждать!

Я заехал за этой почтенной женщиной в «Националь» и привез ее на Поварскую. Она вошла в дом и остановилась перед доской с именами погибших на войне писателей, спросила:

— Кэс кё сэ? («Что это?»).

Я объяснил. Дама перекрестилась и поднялась в зал. Увидела столики ресторана, усмехнулась и сказала:

— Хорошо, что люстру оставили!..

— Ее трудно менять: весит много.

— А откуда вы так хорошо знаете французский?

— Гвардии казак! — ответил я.

— Хочу пройти туда, — она кивнула на балкон второго этажа, — посмотреть свою спальню: там я рожала своих дочерей.

В той комнате был партком. Я ужаснулся:

— Вам будет тяжело подниматься, мадам. В доме нет лифта.

— Ничего! Я дойду по внутренней лестнице.

Вот мы идем. Подходим. Дверь закрыта. Олсуфьева ее приоткрывает и видит Виктора Сытина, что-то пишущего явно не в пользу прежней хозяйки дома…

— Что здесь теперь? — спрашивает меня она.

И я решил: хватит дурачиться! На русском уже языке отвечаю:

— Здесь находится партийный комитет, мадам!

И тотчас она мне тоже по-русски:

— Ну, спасибо тебе, гвардии казак!

После этого мы перешли на русский, и визит владелицы нашего Дома литераторов завершился.

В день моего пятидесятилетия получил от Фадеева чудесное письмо. В нем было столько теплоты и дружбы!.. Сейчас я сдал его в ЦГАЛИ.

А тогда в шутку спросил: будет ли какая-нибудь награда мне к юбилею?

Он ответил:

— Вечер и ужин тебе Союз закатит потрясающий! Почету будет — выше головы! А орден — вот! — И Саша показал мне дулю.

Памятуя о рассказанной мне истории моего рождения, когда голова была еще в чреве матери, а дуля тети Ани уже лишила меня тысячи рублей, — я не удивился и не огорчился. Но все-таки поинтересовался:

— Это за что же?

— За твой длинный язык! Даже я не мог уговорить начальство!

Вспоминаю «свой язык». Шло очередное для 1948 года осуждение кого-то из литераторов. Человека горячо и громко обвиняли в космополитизме.

Войдя в переполненный зал, видя затравленного литератора, который слабо отбивался, доказывая, что он не «космополит», я, не сдержавшись, громко вопросил:

— Что это у вас тут за мышиная возня?! — И покинул зал. Не сомневаюсь, что не один из моих собратьев по перу отправил «гневные высказывания в мой адрес» наверх…

А вот в 60-е годы, уже после XX Съезда партии, мы зашли с Сашей в кафе возле ВААПа… и тут же вышли: кто-то из сидевших там, увидя Фадеева, крикнул:

— Ну что? Доволен своей «работой»?!

Этот XX Съезд, осознание Фадеевым того, что он, свято веря Сталину, многих обрек на каторгу и расстрел, решили и судьбу его самого: Саша оставался честным человеком до самого конца…

Фадеев был на год моложе меня. Познакомились мы с ним в Ростове и были друзьями. Он и сейчас в моем сердце. Он верил в советскую власть, а в Сталина — как в Бога!

По-моему, это было в довоенный период…

Гуляю я вдоль кремлевской стены по Александровскому саду и вижу идущего по мостику Фадеева. Он тоже меня заметил и спустился в сад. Сказал на ухо:

— Оказывается, Мишка Кольцов работал на три иностранные разведки! Могли бы мы это подумать о нашем товарище?!

— Если три, то ты дурак, Саша! Сказать такое про Мишу Кольцова!

— Это ты — трижды дурак, Оня: мне это только что рассказал сам товарищ Сталин!

Вот так-то. А лет пять-шесть назад, в период «перестройки», Аркадий Ваксберг опубликовал список тех, кто был уже обречен на смерть… В этом — сталинском — «расстрельном списке интеллигенции» на букву «П» — первым значился я…

В третий раз в аналогичном «списке» я — по рассказам тех, кто его читал, — тоже значился. Это было уже в расцвете перестройки, когда стало все дозволено. Такой список составляли наши, «доморощенные» фашисты. Думаю, никто из них не видел ни моих спектаклей, ни фильмов, не читал моих пьес… Ведь это — неандертальцы!

Если б меня спросили: «Каким был творческий метод Фадеева?» — я бы ответил так:

— Будучи противником романтизма, он был проповедником социалистического реализма, по которому — с его точки зрения — должна была успешно двигаться отечественная литература.

Фадеев всегда старался сказать мне доброе слово, что-либо приятное.

Я инсценировал «Разгром». Саше поступило много предложений, но он, ознакомившись с моим текстом, разрешил это только мне. И сказал:

— Прекрасный может получиться спектакль. Если бы я заново писал «Разгром», то теперь — после прочтения твоей пьесы — использовал бы кое-что из твоего текста и поворотов сюжета.

Премьера состоялась через 13 лет после ухода Саши из жизни: 25 декабря 69-го года. Пьеса прошла на сцене Театра имени Маяковского более 200 раз.

Левинсона играл Армен Джигарханян, играл потрясающе! Это была его первая роль на московской сцене.

Режиссер спектакля — Марк Захаров — поставил до этого в Театре Сатиры пьесу «Банкет», которую репертком тут же — на просмотре — разгромил. Она была запрещена, а Захаров уволен.

Но я настоял на том, чтобы «Разгром» поручили именно ему, ибо верил в его талант. И он оправдал наши надежды. Триумфальная премьера! После такого успеха, естественно, — товарищеский ужин.

Произнося заздравный тост, я сказал Захарову:

— В «Сатире» у вас «Банкет» закончился разгромом, а тут «Разгром» — кончается банкетом!

Судя по трогательной надписи, которую он начертал на

своей, подаренной мне книге — он не обиделся…

И еще два слова о нашем разговоре с Фадеевым: я вернулся из Бурят-Монголии. Пришел в Союз. Фадеев спросил:

— Ну, что делают монголы?

— Бурят! — ответил я.

Константин Симонов, Евгений Долматовский и Михаил Светлов

Симонов и Долматовский — это люди, близкие мне по профессии и по духу.

5 июля 1995 года в Доме Ханжонкова — бывшем кинотеатре «Москва» — проходил вечер памяти Константина Симонова и Евгения Долматовского. Оба они родились в 1915 году.

Жене исполнилось бы восемьдесят лет. Костя — на полгода моложе, а я — на 15 лет старше их обоих.

Начали они свою творческую деятельность в ту пору, когда были живы и почитаемы великие русские поэты первых трех десятилетий нынешнего — XX — века.

С какою жадностью звериной
Мы между воблой и пшеном
В сырой нетопленой гостиной
Читали Блока перед сном…

Многие старались подражать корифеям. Но Жени и Кости это не касалось: они держались своего собственного литературного стиля и шли по своему литературному пути.

Евгений Долматовский главным образом и в основном писал стихи, слова к песням и стал большим поэтом.

Константин Симонов завоевал и поэзию, и прозу, и драматургию театральную, и сценарное дело. Это был большой разносторонний талант.

Человек храбрый, он всю войну прошел военным корреспондентом, и стихи его знала и читала вся страна.

Сила обоих состояла в гражданственности: все о Родине, все о ней и для нее!

Нелегко им было, когда литературой командовал ВАПП — Всесоюзная Ассоциация Пролетарских Писателей. От ее ударов гибли и прозаики, и поэты.

В Ленинграде расстреляли Бориса Корнилова за выступления против ЛАППа (Ленинградская Ассоциация).

В 1932-м ВАПП был ликвидирован. Вместо него в 1934 году создали Союз писателей.

Через три года оба — Женя и Костя — стали его членами, талантливо продолжая свою честную, плодотворную работу.

Когда началась война — с первых ее дней до последнего победного часа — и Женя, и Костя — были впереди, на фронте, ежедневно рискуя жизнью!

Итак, оба остались в боевом строю русской литературы до последнего своего дня.

Я никогда не забуду моих дорогих друзей: вечная им память!

Прошел фронт, побывал рядовым в окопах и Михаил Светлов: нелепый, долговязый, сутулый под тяжестью армейской шинели. Он всегда оставался самим собой, не переставая шутить и иронизировать в самых сложных ситуациях.

Во время войны Михаил Светлов на фронте написал о Семене Кирсанове:

Его друзья все ищут бури,
Стремятся к славе боевой,
А он — мятежный — служит в ПУРе[8],
Как будто в ПУРе есть покой?!

О Светлове написано много исследований серьезными специалистами. А я помню Мишу в быту, в нашей литературной среде… Мы были грамотными, образованными. Среди нас встречалось много талантливых людей. Еще раз повторю: на острое слово, сказанное коллегами, никто не обижался…

Был такой добрый человек — Наум Лабковский. Он переводил с польского, но в основном с украинского. На его творческом вечере каждый из нас преподнес ему сюрприз.

Помню два:

Миша Светлов сказал Науму по-украински:

Нэ бэда, що нэма у Наума ума,
а бэда, що Наум — претендуе на ум!

Я же — добавил уже в прозе:

— Наум Лабковский перевел Остапа Вишню с малороссийского на еще менее российский!

Один молодой поэт спросил у Михаила Светлова:

— Почему академиков считают на члены, а баранов — на головы?

Светлов ответил:

— Вероятно, учитывая, у кого что слабее…

Кончилась Великая Отечественная. Надо было решать: как отражать события недавнего боевого прошлого в искусстве и литературе. Поэтому группа из семи бывших фронтовиков написала руководству свои предложения. Приближался 1948 год…

Резолюция была такой, что Светлов изрек:

— Мы написали «письмо семи» и получили ответ — «антисеми»!..

Со Светловым я отдыхал в Ялтинском Доме творчества писателей. Было скучно. Идем по набережной, навстречу — две девицы, нельзя сказать, чтобы хороши собой… Посмотрел на Мишу. Он понял молчаливую просьбу и изрек:

О Господи!
Почто изъял ты
Красивых девушек из Ялты?!

Последние дни жизни Михаил Светлов провел в Боткинской больнице.

Я часто навещал его.

Под окном палаты проходила дорожка, ведущая в морг…

Миша называл ее «Моргенштрассе» и каждое утро говорил ей:

— Гутен морген!

Когда в палату заходила сестра, чтобы сделать очередной укол, Миша провозглашал:

— А вот и Наденька! Пришла по ягодицы!

В очередной мой визит я застал Мишу лежащим с закрытыми глазами. Решив, что больной спит, уже было собрался уйти. Но вдруг, открыв глаза, он сказал:

— Нашел!

— Что? — спросил я.

Он ответил:

— У знатной доярки —
Елизаветы Петровны Елагиной —
коровы были такого качества,
что имели вымя и отчество…

Через три часа Миши не стало…

Встречи со школьными друзьями

В 1966 году, на празднике школы, состоялась очень дорогая мне встреча.

После полуденного завтрака для гостей, за который обычно собравшиеся платят (в отличие от ужина — им вас угощает школа), я прогуливался с бывшим директором Эколь Нувэль — человеком, который был моим руководителем в течение всего обучения — господином Леопольдом Готье.

Мы остановились возле теннисной площадки, когда к нам подошел стройный немолодой уже мужчина и сказал:

— Здравствуй, отец!

Я решил, что он обращается к моему спутнику, но тот улыбнулся и объяснил:

— Это приветствие относится к тебе, дорогой Прут!

И тут я понял, что передо мной стоит бывший мой «сынок» по школе лорд Эдвард Донегаль.

Мы бросились друг к другу в объятия. Да, то был он: мальчик, о котором я заботился четыре года: с 1915 по 1918-й.

Я отчетливо вспомнил, как это началось.

Произошло наше знакомство в начале 1915 года. Меня вызвал к себе директор интерната господин Лассэр.

Войдя в кабинет, я увидел сидящую на диване красивую даму. Ее голову украшала шляпа со страусовыми перьями. Рядом с дамой стоял девятилетний мальчик, прекрасно одетый: черный выходной пиджак, серые полосатые брюки, лакированные штиблеты, ослепительной белизны накрахмаленная рубашка. Наряд завершал галстук бантом.

Директор сказал мальчику, показывая на меня:

— Это — твой будущий отец и наставник. Он из России. Его зовут Жозефом, а фамилия его Прут.

Юное создание слегка кивнуло мне головой.

Дама — это была его мать — предложила сыну:

— Представься, Дони!

И ребенок с достоинством произнес:

— Я — Эдвард лорд Донегаль, владетельный герцог Шательроо, маркиз Эссекс, граф…

Я не выдержал и перебил его:

— Ну ладно! Хватит морочить мне голову!

Но дама возразила:

— Нет-нет! Он говорит правду… И когда вырастет, наверное, станет еще и пэром Англии.

Так я стал воспитателем этого именитого ребенка.

На второй день его пребывания в школе, когда я перед обедом тщательно стирал пемзой чернила с его пальчиков, Дони мне сказал:

— Глупая школа, отец!

— Не слишком ли поспешный вывод, ваша светлость? — усмехнулся я. — Чем она провинилась перед тобой?

— Матушка оставила мне сто фунтов на шоколад, но господин директор объяснил, что эти деньги пойдут на приобретение учебников, школьных принадлежностей и книг для чтения. А если ученик хочет сверх того, что ему дают на сладкое в столовой, купить еще и шоколад, то деньги на него он должен заработать сам!

— Да, — подтвердил я. — У нас это так.

— И что же мы будем делать? — спросил Дони.

— Можно, например, заняться цветами; собирать фрукты в саду или подметать двор…

Дони захлопал в ладоши:

— Есть идея! — воскликнул он. — Мы дадим телеграмму в редакцию журнала «Иллюстрейтед Лондон ньюс», чтобы они прислали фотокорреспондентов заснять меня — лорда Британской империи — подметающим двор! И конечно, нам за это хорошо заплатят!

— Нет. Это — не годится! — решительно заявил я.

— Но, может, найдется более достойная работа? — настаивал молодой Донегаль.

— Например, перепилить, расколоть и сложить кубометр дров.

— И сколько нам за это заплатят?

— Три франка, — ответил я.

— Сколько же на эту «огромную» сумму можно купить шоколада?

— Десять плиток молочного.

— По-моему, имеет смысл… — согласился с моим предложением будущий пэр Англии.

И мы приступили к работе. Это был наш первый совместный заработок.

Весной 1918 года я закончил Эколь Нувэль, и наступил момент расставания со ставшим мне дорогим мальчиком. Мы оба сильно переживали грядущую разлуку… Дони умолял меня взять его с собой. Но это было невыполнимо.

И мы, плача, дали клятву встретиться как можно скорей. Увидеться довелось лишь спустя 48 лет…

Вечером того же дня 1966 года я сидел на школьном

празднике с Дони и его женой леди Моурин за одним столом.

Когда мне предоставили слово, я сказал:

— Мои дорогие друзья! Счастлив, что встретил всех вас — бывших и теперешних учителей и учеников нашей славной Эколь Нувэль! Особенно рад был увидеть и обнять моего воспитанника и сына по школе — лорда Эдварда Донегаля. Мы рассказали друг другу, естественно вкратце, что произошло за полвека нашей разлуки. Выяснилось, что он и я были участниками Второй мировой войны. И мой мальчик — летчик и военный корреспондент — достойно провел всю антигитлеровскую кампанию, затратив очень большие деньги на содержание своего полка. Его смелые корреспонденции говорили о храбрости этого человека. Поэтому я хочу преподнести ему памятную монету, выпущенную в СССР к двадцатилетию Победы. Он ее вполне заслужил!

Надо сказать, что мои слова произвели на Дони сильное впечатление. Он почти все время молчал, сидел задумчивый и только по окончании ужина сказал мне:

— Я слишком взволнован нашей встречей и твоими словами! Завтра я пришлю за тобой машину, и мы сможем спокойно поговорить. У меня дом очень близко от Лозанны — в местечке Корзо.

Действительно, на следующий день за мной в школу прибыл роскошный автомобиль и отвез к Донегалям.

На пороге дома меня встретила леди Моурин. Она рассказала, что Дон буквально потрясен нашей встречей, плохо спал и ждет меня у себя в кабинете.

Я поднялся к нему. Мы обнялись, и Дони торжественно произнес:

— Самым тяжелым событием последнего времени для нас — англичан — была смерть Уинстона Черчилля. Ее Величество королева провожала его в последний путь как родного отца. Она приказала отбить памятную монету, где — с одной стороны был ее портрет, а с другой — Уинстона Черчилля. Одним из первых — лично из рук ее Величества — эту монету получил я. Она должна храниться у старшего в нашем роду. А так как я считаю тебя своим отцом, то хранить ее станешь ты. Когда же наступит страшный для меня день и я узнаю, что тебя не стало, монета должна вернуться ко мне.

К сожалению, Дони умер раньше меня…

Дома, в московском архиве, много писем ко мне моего дорогого мальчика. Вот — поздравительная открытка к Новому, 1968 году, на обороте которой ее Величество королева Елизавета II произносит тронную речь на открытии 44-й сессии

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (31 октября 1967 года). Это был первый выход, когда ее Величество сопровождали дети: принц Уэльский и принцесса Анна.

Еще любопытная фотография: соревнование ветеранов лыжного спорта 28 февраля 1968 года на горном курорте Сан-Мориц: бывший олимпийский чемпион Жак Потен — № 5;. Дони — посередине, без номера, а тип, который «изображает идиота» (лежит на земле) — Гюнтер Сакс — муж Брижит Бардо.

А вот и вырезка из газеты города Вэвэ, которую также прислал мне Дони. «Конференция в Шаратоне: воспоминания военного корреспондента». Далее текст:

> *«На свое последнее собрание Комитет Конференции пригласил лорда Донегаля — корреспондента газеты "Дейли-Мейл" во время Второй мировой войны. Этот журналист, проживающий в настоящее время в Кремьер, стал прихожанином церкви в Шаратоне. Сегодня зал Коммунального собрания был целиком заполнен большим количеством слушателей, немедленно покоренных личностью докладчика и его удивительным рассказом.*
>
> *М. Вюий, пастор, поблагодарил оратора, а также его супругу леди Донегаль и его высочество — принца румынского Николая — друга семьи Донегалей.*
>
> *Его светлость, после того как он рассказал присутствующим о роли военного корреспондента и подчеркнул опасность этого тяжелого ремесла, описал некоторые события, которым был свидетелем.*
>
> *Восстание в Ганновере 1923 года; убийство короля Югославии в Марселе; Испанская война 1936 года; Германия до 1939-го; английский торговый флот в период Второй мировой войны; Лондон во время его бомбардировок; высадка союзных войск в Нормандии; освобождение Парижа; Япония в 1945-м и так далее.*
>
> *Докладчик сумел украсить свое повествование различными случаями, полными юмора, но почти всегда трагичными, рассказанными с удивительной живостью ума. Доклад сопровождался демонстрацией диапозитивов, что придавало ему еще больший интерес.*
>
> *Публика долго аплодировала замечательному выступавшему».*

Кстати, во время одного из моих посещений Донегалей я познакомился с дядей короля Михая — румынским принцем Николаем.

Было много выпито, и мои возбужденные собеседники начали атаку на старшего по возрасту москвича:

— У нас — есть свобода! У вас нет свободы! У нас двенадцать партий! (Принц Николай стал английским подданным.) У вас — одна партия! Мы все независимы, а вы там, в России?!

Я ответил на вопрос вопросом:

— Знаете ли, дорогие друзья, какая самая независимая страна в мире?

Дон усмехнулся:

— Ты, наверное, скажешь — твой Советский Союз?

— Нет. Ваша! Англия!

— О-о! Спасибо за такую оценку! Но почему ты так считаешь?

— А потому Англия самая независимая, что от нее ничего не зависит!

После этого дискуссия окончилась, и меня оставили в покое.

Хочется рассказать еще об одном.

В 1967 году в Москве я был приглашен в английское консульство. Глава его лично сообщил мне, что я избран действительным членом привилегированного международного клуба «Собачья будка».

— Что это за организация? — поинтересовался я.

Мне поведали:

— Основана она была в шестнадцатом веке английским королем Генрихом Восьмым. Повод для ее создания был следующий: Генрих позволил себе какую-то бестактность по отношению к своей супруге — Анне Болейн, за что немедленно получил по физиономии мокрым полотенцем. К этому державная дама добавила еще и слова: «Пошел вон, старый пес, в свою собачью будку!»

Король покинул покои супруги, а на следующий день явился к ней с повязанным через плечо роскошным шелковым шарфом, на котором было вышито изображение собачьей будки с торчащими из нее двумя ногами короля.

Анна простила мужу вчерашнее, и в честь примирения король объявил о создании Общества собачьей будки, членами которого могли стать лишь верные мужья — коронованные особы Европы.

Так продолжалось до Великой французской революции, когда Советом этого Клуба было решено принять в члены «Собачьей будки» человека, имеющего право стать королем: этим человеком был французский герцог де Гиз. XIX и XX века ознаменовались еще и другими реформами. Не стану их перечислять, скажу лишь, что в то время, о котором я рассказываю, президентом Клуба был мой «сынок» — лорд Эдвард Донегаль.

Выбран он был пожизненно, и за время руководства этой организацией имел право избрать — также пожизненно — одного человека, достойного быть среди всех этих высокопоставленных особ Европы.

И вот я — в торжественной обстановке — получаю документ об избрании меня членом Общества собачьей будки.

Держу эту уникальную бумагу в руках и читаю, что она дана «господину Оне Пруту»!

Я глубоко вздохнул, развел руками и сказал:

— Был убежден, что воспитал человека, достойного высоких званий, которые он имеет, но оказалось, что ошибся…

Представитель Великобритании побледнел и не очень твердо произнес:

— Что-о вы хотите… этим сказать, мистер Прут?

— А то, что в детстве лорд Донегаль был для меня просто Дони, а я для него — Оня: таково мое уменьшительное имя. Но у меня ведь существует полное: Иосиф! И потом, прошу меня извинить, какой я «господин» в советской стране?! (Сейчас, пожалуй, я бы без удивления принял подобное обращение.)

— Немедленно постараюсь исправить это ужасное недоразумение! Прошу вернуть мне бумагу!

— Нет! — ответил я. — Хочу сохранить ее на память!

Короче говоря, через две недели я получил документ на имя Иосифа Прута, дающий мне следующее право: в случае, если я буду находиться в столице любого европейского государства, где еще существует монархия, и захочу пообедать с королем и королевой, то должен о своем желании предупредить министра двора за сутки.

Как ни парадоксально, но я этим правом, которое действует и по сей день, не воспользовался. Честно говоря, сам не знаю почему…

Дружба с моим названым сыном продолжалась до последнего дня его жизни. У Дона был прекрасный почерк. Его письма — всегда разборчивые — служили мне поддержкой: перечитываю их в трудные минуты жизни.

Вспоминаю забавный эпизод, который произошел при нашей встрече с Донегалем на школьном празднике.

Мы — почти одновременно — вспомнили, что однажды, катаясь на санях по горным улочкам Шаи, врезались в забор частного дома и были страшно обруганы его хозяином.

— Давай пройдемся по этой улочке? — предложил Дони. Я охотно согласился.

Можете представить себе наше удивление: спустя 50 лет в проломленном нами месте забор так и не был починен.

— Зайдем, извинимся? — сказал я.

— Конечно!

Нас встретил хозяин возгласом:

— Смотри! — обратился он к жене. — Эти хулиганы вернулись!

Отмахнувшись от наших извинений, он достал бутылку доброго швейцарского вина и угостил двух «хулиганов».

Прошу меня извинить и впредь за нарушение хронологии повествования! Но все же стоит рассказать, каким образом школа узнала о моем существовании…

Как я уже упоминал, в начале 60-х годов в Советский Союз приехал швейцарский журналист. Он прибыл по приглашению Иностранной комиссии Союза советских писателей для налаживания взаимосвязи между нашей и швейцарской литературной общественностью.

Совершенно естественно, зная о моем длительном проживании в этой альпийской стране, именно меня командировали на аэродром для встречи гостя.

Я встретил журналиста у трапа самолета, приветствовал на его родном языке, используя при сем несколько специфических женевских и лозаннских выражений. Когда мы добрались до Союза писателей, то были уже близкими друзьями, ибо я успел многое ему поведать о том человеческом кладе, который оставил в Швейцарии.

По возвращении на родину он опубликовал 12 репортажей, в которых дословно приводились мои воспоминания о жизни в Швейцарии, в частности, о дорогой мне Эколь Нувэль и многих моих друзьях и близких.

Последующие события развернулись почти молниеносно: в Союз писателей СССР прибыло письмо от директора Эколь Нувэль, в котором говорилось, что в этом учебном заведении существует закон или, вернее, твердо укоренившийся обычай: каждый окончивший школу обязан, если, благодаря Богу, он еще жив, предстать перед Советом учащихся и преподавательского состава с отчетным докладом о том, как он использовал полученные в школе знания.

В данном случае речь идет о 50-летии вступления в Эколь Нувэль учеников того класса, который окончил Жозеф Прут. А посему Совет просит направить Жозефа Прута, естественно за счет школы, в Швейцарию.

В Союзе писателей отнеслись несерьезно к столь необычному предложению.

Прошло всего лишь 12 лет после смерти Сталина, и мало кто

из писателей ездил за границу, да еще, видите ли, «с отчетом»!..

Но тогдашний Первый секретарь Союза писателей — Алексей Сурков — посмотрел на предложение иначе.

Он сказал на Секретариате: «Неужели, вы не понимаете, что такая поездка — наш козырь! Прут успел многое сделать в области театра и кино, а это значит, что в советской стране можно плодотворно работать! Заслуга нашего коллеги заключается в том, что его фильмы и пьесы отображают жизнь простых людей без особого восхваления ушедшего в прошлое сталинского режима. Поэтому совершенно естественно, что Прут будет тепло принят литературными кругами Швейцарии. (К слову сказать, Сурков не ошибся, и впоследствии меня избрали членом-корреспондентом Общества писателей Женевы.) Я лично займусь организацией его поездки!» — завершил свое выступление наш Первый секретарь.

И действительно, на следующий день Алеша поехал в ЦК КПСС, и ровно через две недели я получил заграничный паспорт и билет до Женевы.

Суркову я рассказал, что по некоторым сведениям сестра моей матери, вышедшая замуж в 1908 году за соученика по Женевскому университету — доктора Леона Хельга, — по сей день проживает в небольшом городке Монтрё на берегу Женевского озера.

Сурков порекомендовал не останавливаться у родственников, а жить именно в школе. Тетю и ее семью можно лишь посетить (очевидно, сталинское прошлое все-таки влияло на моего товарища и он побаивался, что его обвинят в потворстве «связи Прута с иностранцами»),

В тот — первый — приезд на аэродроме Женевы меня встречали мои дорогие соученики по классу: Фредерик Сиордэ — заместитель Председателя Международного Общества Красного Креста; Ренэ Барбэ — главный архитектор Женевы и Фернан Трамбле — представитель американских банков в Швейцарии. Как помните, Фернан отозвался на статьи обо мне в швейцарской прессе письмом в Союз советских писателей, где он высказывал желание встретиться «с бывшим хулиганом Жозефом Прутом, который в школе разбил ему физиономию своими часами».

Когда самолет приземлился и я появился на трапе, одетый в новый плащ, а на моей голове красовалась каскетка, одолженная «для поездки в Европу» генералом Микулиным, — ветер, дувший в мою сторону, донес реплики:

— По-моему, он там — у них — тренер по боксу, — сказал Трамбле.

— Ну да! Ты так говоришь, потому что когда-то он разбил

тебе морду, — заметил Сиордэ. — Мне известно, что он писатель для театра и кино.

— И возможно, дублирует Жана Габена. — Это уже произнес Барбэ.

— Вот я спущусь и скажу, кто из вас прав! — крикнул я, спускаясь по ступенькам.

Ах, как мы долго обнимались! Какая это была радостная встреча!

Чтобы читателю стало ясно, в какой обстановке существовали в СССР люди даже привилегированные (а к ним относились писатели и артисты), приведу без сокращения мой *отчет* в Союз писателей, ибо таковы были обязанности каждого, возвращавшегося из загранпоездки. Одновременно написанное проиллюстрирует встречу с моей второй родиной — Швейцарией — спустя много лет.

Итак, я докладывал:

> «Дирекция и Совет бывших учеников Новой Школы Французской Швейцарии (Ecole Nouvelle de la Suisse Romande — ENSR) пригласили меня принять участие в праздновании 50-летия поступления в школу учеников моего класса.
>
> Эту поездку я совершил, получив разрешение пребывать в Швейцарии 10 дней.
>
> Я вылетел 2 октября утром по маршруту Москва — Прага — Цюрих — Женева, куда прибыл в тот же день. Бывший соученик, близкий школьный друг — вице-президент Международного Общества Красного Креста, отвез меня в отель “Рив-Рэн” в 50-ти метрах от его дома в местечке Ла Тур-де-Пэль (на берегу Женевского озера, между Вэвэ и Кларан), где для меня им был снят номер.
>
> Почему друг не поселил меня у себя? Таково было распоряжение Иностранной комиссии Союза писателей СССР: останавливаться я имел право только у близких родственников или в гостинице. А так как мои тетя и дядя (Анна и Леон Хельги) были в отъезде — проводили свой отпуск на юге Швейцарии в Лугано — и возвращались к себе в Монтрё (10 километров от моего отеля) только 8 октября, я вынужден был выполнить приказ Союза и ввести моего друга Сиордэ, оплатившего номер, в большой расход!..
>
> Конец дня мы провели в телефонных переговорах с дирекцией школы, Советом бывших учащихся. В ту пору из моего класса в живых остались: Фредерик Сиордэ,

Фернан Трамбле и Ренэ Барбэ. За пределами Швейцарии: Вида Галиновска — профессор глазных болезней — Быдгощ (Польша); Пьер Дитерлан, Бернар Раппар — Франция; Рэмон Делор — миссионер — Того (Африка); Юрий Кирков — пенсионер — София (Болгария).

Кстати, о Фредерике Сиордэ. Со слов профессора Митерева — Председателя Общества Красного Креста СССР и его заместителя — Зои Сергеевны Майоровой, Фредерик Сиордэ — международный дипломат, всегда поддерживающий предложения советской делегации.

Узнав о том, что мы близкие товарищи, профессор Митерев сказал:

— Вы можете гордиться дружбой с таким человеком.

Счастлив подтвердить это: Сиордэ действительно умный, разумный и абсолютно доброжелательный к нам человек.

В субботу — 3-го — мы встретились в полдень у Сиордэ. Присутствовали: Сиордэ, Трамбле, Ренэ Барбэ и я. То есть все мои бывшие соученики, проживающие в Швейцарии. После долгих взаимоотчетов мы — уже под вечер — нанесли визит школе: обошли все классы, посидели за своими партами, проделали зарядку в гимнастическом зале и закончили тем, что прошли в здание интерната.

Был субботний вечер, педагоги отсутствовали, а ученики почти не обращали внимания на четверых седых чудаков, восторженно осматривающих спальни, столовую, душевую и комнаты, где готовят уроки.

Воспользовавшись любезностью кастелянши, мы позвонили господину Дантану — нашему преподавателю английского языка, старейшему педагогу школы.

Дома его не оказалось. Девяностолетняя супруга сообщила, что господин Дантан (а ему исполнилось 92 года!) по субботним вечерам — в порядке “общественной нагрузки” — работает в публичной библиотеке Лозанны.

Мадам Дантан сказала, что и она, и ее супруг будут очарованы, если вся наша четверка нанесет им визит. Мы договорились, что заедем за стариком в библиотеку, и тронулись в путь.

Встреча на площади Святого Франциска была удивительной: четыре седых человека, сдернув головные уборы, стояли навытяжку перед маленьким старичком, который разглядывал их с ироническим любопытством. Он произнес:

— Смотрите, каких славных малых я воспитал! Никогда не думал, что из вас получится какой-либо толк! Самым способным был Сиордэ. Затем ты, Жозеф (кивнул он на меня). Барбэ был отличным рисовальщиком — я даже сохранил один свой карандашный портрет, сделанный им. А Фернан Трамбле никогда не знал урока…

Тогда Трамбле обратился к Дантану на безупречном современном языке деловых кругов Нью-Йорка.

Старик усмехнулся и сказал:

— Я пытался научить тебя языку английскому. А ты — без моей помощи — изучил какой-то непонятный мне, американский. Но если на этом жаргоне тебя там понимают, не переучивайся!

Мы поехали к Дантану. Жил он в 10 километрах от Лозанны, у берега Женевского озера на третьем этаже старинного дома.

Старик выставил нам бутылку вина из своего собственного крошечного виноградника. Расстались мы около полуночи, счастливые, как малые дети.

Дантан взял на себя миссию договориться с дирекцией и Советом бывших учеников об организации моего доклада на общем собрании школы.

Воскресенье, 4 октября, и понедельник, 5-го, — на машине, любезно предоставленной Фредериком Сиордэ, я совершил путешествие по Западной Швейцарии, посетив города Фрибур, Мора, Бьенн, Делемон, Ля Шо-де-Фен, Невшатель, Ивердон. Вечером 5 октября состоялась встреча с Арманом Брюном — генеральным секретарем Общества “Швейцария — СССР”. Он предложил в пятницу — 9 октября — провести ряд мероприятий, а именно: выступить по радио, затем — пресс-конференция в Доме печати для журналистов Лозанны и доклад в Обществе “Швейцария — СССР”. Я согласился.

Во вторник — 6 октября — мы с Фредериком Сиордэ поехали в Женеву: заказывать билет на обратный путь. Посетили контору и дом нашего друга архитектора Ренэ Барбэ, а также бывшего директора нашей школы — Леопольда Готье.

По Женеве нас сопровождал Фернан Трамбле. Вечер закончили просмотром фильма “Покорение Запада” — сверхбоевика, в котором главным образом массами уничтожают индейцев.

Среду — 7-го и четверг — 8-го (до пяти вечера) я посвятил осмотру Швейцарской национальной выставки: ко всему русскому — от Суворова до В. И. Ленина — здесь относятся с подчеркнутым уважением.

В 5 часов вечера 8 октября я направился — через весь город — пешком в школу: старик Дантан известил, что меня ждут к шести часам в четверг.

Сначала в мою честь — бывшего ученика, который поступил в школу 50 лет назад — был дан концерт теперешними учениками, а затем — после ужина (меня пригласили за стол педагогов) состоялось мое выступление.

Я рапортовал моим старым учителям и молодежи о пути, пройденном после того, как я получил диплом — свою “путевку в жизнь”.

Поверьте, это было самое трудное выступление: никогда я так не волновался, никогда сердце так не билось. Казалось, сил не хватит дотянуть до конца!

Я рассказывал, как участвовал в Гражданской войне; как вступил на путь журналиста (сначала переводчика газетных статей из иностранной прессы, а затем — репортера и фельетониста); как начал с ученичества у сценариста Олега Леонидова; затем — о первых самостоятельных шагах в кинематографе; о первой пьесе для театра; о нашей большой и дружной семье работников литературы и искусства; о внезапном нападении гитлеровских полчищ.

Я сказал, что советские люди любят свою Родину не меньше, чем швейцарцы свою. А любить Родину больше швейцарца почти невозможно… Но я, мне кажется, любил свою Россию вдвойне: будучи верным ее сыном, я к тому же имел возможность в детстве видеть, как мои швейцарские педагоги беззаветно любят свой прекрасный край… Они и заложили во мне великий фундамент патриотизма. Они обучили меня разным наукам, разным языкам, которые так помогли мне на войне, когда Родине грозила смертельная опасность.

Не хотел долго задерживаться на военной теме. Рассказал лишь об одном эпизоде: мы принимали военную присягу у дуба, о ствол которого зондеркоманда гестапо разбила тысячи детских головок. А так как многие из нас сами являлись братьями или отцами, присяга наша была крепкой. Закончил я отчетом о своей работе послевоенного периода.

Когда смолкли аплодисменты, встал господин Лассер, бывший директор нашего интерната (86-ти лет), наш повседневный воспитатель. Он произнес:

— Мальчик мой! Когда-то Понтий Пилат сказал Христу фразу, которую я хочу повторить, обращаясь к тебе: “Ты победил, галилеянин!” А ты, Жозеф, победил потому, что не было случая, чтобы ученики нашей школы слушали кого бы то ни было больше десяти минут. Тебя слушали, затаив дыхание, ровно полтора часа. Сто пятьдесят мальчиков сидели не шелохнувшись, а вместе с ними, как завороженные, слушали и мы — педагоги, старые и молодые. Мы смеялись, когда ты вынуждал нас смеяться, и плакали, когда это нам приказывало сердце. И все потому, что все мы чувствовали лишь одно: ты говоришь правду!

И то, что я держу в руках книгу написанных тобой пьес, и то, что слушал твою речь, произнесенную на языке, которому я тебя учил (а говорил я почти без ошибок), заставляет меня поверить, что, выпустив в жизнь такого ученика, и я свою жизнь прожил недаром.

Затем поднялся господин де Мариньяк, директор школы в описываемое мною время. Он низко поклонился мне и сказал:

— Милостивый государь! Прошу вас, когда вы вернетесь в Советский Союз, поклониться ему так же низко, как поклонился вам я, и от моего народа поблагодарить ваш великий народ за то, что он спас мою маленькую страну от нацизма!

Еще один эпизод, о котором не могу умолчать…

Когда мальчики стали расходиться, ко мне подошел красивый юноша лет шестнадцати. Слезы текли по его бледным щекам, подбородок дрожал…

Я спросил у него взволнованно:

— Что с тобой, дружок?

Он пробормотал:

— Месье! Мой отец — немец и воевал против Советов! В будущее воскресенье я увижу своего отца и расскажу ему о встрече с вами. А у вас я покорнейше прошу прощения!..

Я обнял парня, расцеловал его, сказав, что наш народ самый добрый на свете и не питает ненависти и зла ни к какому другому народу. Мы ненавидели гитлеровский фашизм, а к великому немецкому народу,

к трудовым людям у нас самое сердечное уважение.

Парень, счастливый, расстался со мной.

Когда меня провожали, все педагоги единодушно подтвердили, что у меня и моей страны теперь в Швейцарии почти 200 самых верных друзей — учеников и преподавателей Эколь Нувэль.

В пятницу 9 октября в 8 утра я покинул гостиницу и переехал в Монтрё, где меня ждали тетя и дядя, вернувшиеся накануне поздно вечером.

Встреча была радостной, омытой слезами: ведь я до 19 лет был сыном этим чудесным людям. А не виделись мы 46 лет!

Тете Нюсе — этой красивой женщине — было уже 80. Дяде — 82 года. Их дети жили отдельно и далеко от родителей: старшая дочь — Симон (52-х лет) — со своей семьей во Франции, а младший сын — Жан-Рок (47-ми лет) — на севере Швейцарии — в Делемоне.

Все утро мы провели вместе; пообедали в полдень, а затем поехали в Лозанну. Там мною был сделан двухчасовой доклад о современной советской литературе, поэзии и драматургии для “Радио Швейцарии” — на французском языке. Доклад полностью транслировался в двухсерийной передаче.

Во время часового перерыва я поужинал в “Рабочем доме” с членами Президиума и председателем Общества “Швейцария — СССР”; затем — вечером — большое информационное сообщение для активистов Общества на тему “Советские пьесы и сценарии”.

Беседа продолжалась и после моего доклада: задавались вопросы. Я старался отвечать с предельной точностью. Аудитория друзей нашей страны осталась довольна, потому что, как высказался председатель: “Докладчик хвалил не все подряд, отдавая должное хорошему, критикуя произведения слабые…”

Вернулся в Монтрё к своим.

В субботу — 10 октября — опять Лозанна, где состоялась длительная пресс-конференция в редакции “Ля Фёй д’ави де Лозанн” — самой распространенной газеты в Романской (франкоязычной) Швейцарии. Это не был доклад. Встреча строилась на вопросах и ответах. Я должен отметить: ни разу, ни на одном из всех собраний не было задано вопроса, который мог бы меня задеть как писателя Советской страны, оскорбить в той или иной

форме достоинство гражданина СССР. На все вопросы, касающиеся Б. Пастернака, Е. Евтушенко, А. Вознесенского, И. Бродского я отвечал достаточно убедительно, чтобы дискуссия не разворачивалась.

Единственное, на чем пришлось задержаться, это на точке зрения многих советских людей об абстрактной живописи и… о твисте!

Ответ был краток: основным покупателем произведений живописи является государство. Как всякому покупателю в любой стране мира — ему предоставлено право выбора по своему вкусу. Наши государственные организации предпочитают приобретать для своих учреждений, клубов, театров, дворцов культуры и других общественных помещений произведения реалистического направления: ясные по форме и содержанию, привычные для глаз советского человека. А я лично отношусь к абстрактной живописи весьма терпимо. Лучшие образцы ее считаю возможным использовать для раскраски тканей, линолеумов, для декоративных красочных сочетаний при оформлении стен и заборов.

Что касается твиста, то он у нас пока не очень популярен потому, что этот, очевидно красивый, танец должен исполняться только отлично. Но так как твист танец, к тому же трудный, на его изучение надо потратить большое количество свободного времени, которым не всегда располагает наша молодежь. (Напомню, что речь шла о 60-х годах, когда в СССР еще не было безработицы, молодые люди служили, работали на заводах и в колхозах, а в свободное время учились, занимались спортом и самодеятельностью. В ту пору не было ни дискотек, зачастую оболванивающих, приводящих в экстаз людей, ни рокеров, гоняющих на мотоциклах, пугая прохожих; американские боевики с убийствами и насилием еще не заполонили наши экраны; а видеосалонов просто не существовало. Так что я не лукавил, говоря: — Наша молодежь впитала с материнским молоком любовь к театру, кино, музеям, литературе и спорту. А на танцы остаются один-два часа в неделю, во время которых молодежь хочет танцевать легко усваиваемые танцы, а не изучать такие сложные, как твист…).

— Вы пишете только по государственному заказу? — спросил меня один пожилой журналист. — Ведь у вас все

оплачивается государством. Значит, оно и выбирает за вас тему?

— Нет, — ответил я. — За свою долгую жизнь мне темы никто не навязывал! Хотя нет ничего зазорного, если государство подскажет тебе тему, как было, скажем, с Фадеевым, которому предложили ознакомиться с материалами об организации “Молодая гвардия”… Я всегда сам выбирал свою тему и свой сюжет. Другое дело, что эти темы и сюжеты были просоветскими, ибо я гражданин своей страны, желаю ей только процветания и величия. Кстати, полагаю, что в этом отношении не отличаюсь от вас, месье, если имею дело с добрым швейцарцем. Среди ваших литераторов мне не известны такие, которые бы писали антишвейцарские пьесы и романы.

— Но Гоголь, Салтыков-Щедрин, Достоевский, Горький писали же антиправительственные вещи…

— Да, писали. Но тогда во главе правительства был царь и его вороватые консервативные чиновники. А теперь у нас хозяин — народ, его представители. (В те блаженные времена я, как и миллионы моих соотечественников, искренне верил в это. А безобразия и антидемократические действия по отношению ко многим моим знакомым относил за счет рудиментов сталинизма, но никак не социалистической системы!)

— Сколько лет вы состоите в коммунистической партии?

— Я не член коммунистической партии.

— Разве так сложно вступить? У нас это очень просто.

— А у нас — сложно: это удел избранных!

— Значит, вас считают недостойным? Почему вы не вступаете в партию?

— Не обижайтесь, дорогой коллега, но я чувствую, что ваш вопрос праздный. Вам же совершенно безразлично: вступлю я в коммунистическую партию или не вступлю. Кроме того, это вопрос деликатный. У меня на Родине никто его не задавал. Там мои товарищи-коммунисты рассуждают так: “Если старик Прут не подает нам заявления, значит, он не готов к этой высокой миссии…”

— И вы считаете, что они рассуждают правильно?

— Совершенно! Партия — это прежде всего организация, передовой авангард рабочего класса,

коллектив с железной дисциплиной. Я — по своему строю характера и поступкам — чудовищный индивидуалист, человек предельно недисциплинированный. До сих пор единственная дисциплина, которой я беспрекословно подчинялся, была военная. Просить принять меня в партию, не будучи уверенным, что ее устав станет мною выполняться на все сто процентов — нечестно. Поэтому я стараюсь ни в чем не отставать от моих товарищей — коммунистов, оставаясь при этом беспартийным.

— Вы верите в Бога?

— Да.

— Ага! Значит, вы верующий!!

— Не совсем в того Бога, как вы себе представляете — во Всевышнего. Я не верю в вашего Бога — старого дядю, сидящего на тучке. И я не тот верующий, который въезжает в храм на спинах своих рабов. Я верю в Бога, который есть моя совесть, который подсказывает мне добрые мысли, помогает делать добро. Я верю в Бога, который, сокрушает зло, который — плечом к плечу — шел с нами в атаку против фашизма, верю в Бога разума и справедливости. Мой Бог — это хороший парень; он, если нужно, не постесняется даже набить морду любому грубияну. Я мог бы продолжить с вами этот теологический спор, мой дорогой, но боюсь, извините, что вы для меня не очень сильный оппонент.

Мой собеседник первым зааплодировал мне. Его примеру последовали остальные.

Вторую часть субботы 10 октября я посвятил семье моего друга — Фредерика Сиордэ. В 4 часа дня его дочь — Кристиана, диспетчер авиационной компании “Эйр Индия”, выходила замуж за своего сослуживца, летчика Мишеля Гужона.

После бракосочетания в церкви, очень скромного (жених и невеста — протестанты), в саду дома Сиордэ был устроен большой прием на 250 человек.

Присутствовала вся плутократическая знать кантона Во и “патриции” Женевы. Из моих школьных были Фернан Трамбле, Ренэ Барбэ, его брат — Алек (он был на несколько классов младше нас) — знаменитый женевский банкир. (Алек и его сын — Симон — стали моими гостями в Москве летом 1963 года.)

Я познакомился со многими крупными

промышленниками. Каждый считал своим долгом пригласить меня к себе на воскресенье, но я принял, естественно, только приглашение Алека Барбэ.

Много было интересных бесед. Разошлись поздно ночью.

Воскресенье, 11 октября. Поездка в Женеву с Фредериком Сиордэ и его женой Мадлен (молодожены — дочь и зять — улетели в свадебное путешествие. “Эйр Индия” предоставила им два бесплатных места в своем самолете Женева — Бомбей — Женева и двухнедельный отпуск).

Алек Барбэ пригласил на обед своего брата — Ренэ с женой и Фернана Трамбле (он доводится Алеку и Ренэ кузеном). Кроме того, пришел наш бывший директор Леопольд Готье и оба сына Алека — Рожэ (с женой) и Симон. И еще несколько человек из финансового мира.

Алек представил всем свою новую жену (первая — мать сыновей — погибла 9 лет назад в автомобильной катастрофе). Она оказалась русской. Родилась в Риме в 1920 году, зовут ее Еленой, урожденная графиня Батищева, княжна Лобанова-Ростовская. Чудесно говорит по-русски. Произнесла тост за нашу страну, сказала, что все русское ей дорого с детства, и, несмотря на то, что ее отец был слугой царя, он во время Второй мировой войны всегда желал успехов только Советской Армии. Приучил дочь любить мать-Родину. Елена Барбэ великолепно знает русскую прозу: у нее много наших книг, журналов.

Прощаюсь… Просит, чтобы я поцеловал от ее имени землю, где покоятся ее предки.

В понедельник 12-го я доставлен моими дорогими друзьями — Мадлен и Фредом Сиордэ — на женевский аэровокзал. Здесь уже ждали Трамбле и оба брата Барбэ. Прощание было очень трогательным: ведь прощались люди, которые — по возрастному цензу — не располагали резервом времени для следующих встреч… Делали вид, что расстаемся ненадолго, но лица были грустны потому, что расставались мы, возможно, навсегда.

Вот что сказали мои товарищи у трапа самолета:

— Мы не виделись почти полвека. Но дружба наша — навеки! Дружба — несмотря ни на что. Твой приезд, те десять дней, что ты провел среди нас, твои выступления в школе, по радио и в печати, сделали

больше для дела швейцарско-советской дружбы, чем многолетние официальные дипломатические отношения между нашими странами.

Мы сердечно расцеловались, и я улетел домой».

Продолжая воспоминания о шестидесятых годах, когда еще живы были элементы сталинского «порядка», привожу дословный отчет о второй моей поездке в Швейцарию в сентябре 1966 года. Отчет, написанный для Союза писателей СССР — организации, ходатайствовавшей о получении мною разрешения на эту поездку:

«Совет бывших учеников Эколь Нувэль — школы, в которой я учился с 1914 по 1918 год, пригласил меня принять участие в торжествах, связанных с 60-летием основания этого учебного заведения, любезно взяв на себя все расходы по моему двухнедельному пребыванию в Швейцарии.

“Совэкспортфильм” дал мне с собой кинокартину “Девичья весна”, поставленную по моему сценарию. Таким образом, я ехал на свой школьный праздник не с пустыми руками.

Прибыв за четыре дня до начала торжеств, я имел возможность повидаться с дирекцией школы, с представителями прессы, которым было поручено освещать в печати этот юбилей; подготовить аппаратуру и демонстрационный школьный зал, наладить радиофицирование для перевода мною текста на французский язык во время показа фильма. Но затем было решено — в связи с огромным количеством желающих — перенести место демонстрации в большой гимнастический зал соседней районной школы, способный вместить до семисот человек. Пришлось повторить заново — в этом, новом, помещении — всю уже проделанную в моей школе работу.

Из 986 человек, окончивших школу, прибыло 362. Это были представители многих стран, люди, занимающие сейчас очень высокие государственные и общественные посты.

Встречи прошли радушно и тепло.

Из моего класса прибыли: Надин Гольдстайн из Ниццы — участница движения Сопротивления, потерявшая мужа, убитого в боях с карательным отрядом, Фредерик Сиордэ — вице-президент Международного Красного Креста, Фернан Трамбле —

генеральный представитель в Швейцарии объединения американских банков, Реймон Делор — пастор из Монпелье; Пьер Дитерлан — экономический советник Министерства торговли Франции и я.

Праздник начался в пятницу, 9 сентября, вступительной речью Генерального директора школы Алоиза де Мариньяка.

Затем слово было передано одному из старейших преподавателей — Жану Инебниту. Он говорил об Организации Объединенных Наций как о единственной силе, способной сохранить мир на Земле. Этот милый старик призывал всех последовать его примеру и стать добровольцами на службе ООН.

Речь эта вызвала добрые улыбки, а вопросы, которые задавались после ее окончания, убеждали в несостоятельности ООН: бессилии перед грубой силой (война во Вьетнаме, Анголе, расовое неравенство и т. д.).

Лишь много лет спустя, когда объединились великие (в ту пору еще существовал СССР) державы, ООН сыграла решительную роль в прекращении экспансии Ирака в Кувейт. Но, увы, эта организация оказалась бессильной остановить кровопролитие и в африканских странах, и в Югославии, да и на территории бывшего Советского Союза…

Обмен мнениями был откровенен и зачастую для некоторых — нелицеприятен: швейцарская территория, я имею в виду ее французскую часть, позволяла говорить свободно.

Затем был сервирован чай, после чего бывшие и нынешние учащиеся школы последовали в зал для просмотра советского фильма “Девичья весна”.

Сеанс закончился долгими аплодисментами и решением всех присутствовавших избрать меня — пожизненно — членом Общества бывших учеников Эколь Нувэль. Мне тут же был вручен специальный билет (за что все другие платят по 25 долларов в год), а также галстук, который надевают ученики школы в торжественных случаях.

На этом бывшие ученики расстались с теперешними, которые отправились по домам.

Мы же, вернувшись в школу, были приглашены на ужин: в чугунных кастрюлях подали знаменитый расплавленный сыр — фондю.

Так закончился первый день моего пребывания в

школе, и мы пошли спать в свои дортуары. Утром — встали в 7 часов. Сделали зарядку вместе с учениками, живущими в интернате, позавтракали и разошлись по секциям легкой атлетики. Я участвовал в соревновании по поднятию шестнадцатикилограммовой гири и толканию ядра.

Так как многим было непонятно: каким образом человек накануне своего 66-летия может достичь таких выдающихся для своего возраста результатов, я объяснил свой успех следующим:

— Надо дышать воздухом Советского Союза (право же, это оказалось истинной закалкой), каждое утро упражняться со стулом одну минуту (и я продемонстрировал упражнение, которое смог повторить, да и то с трудом, лишь преподаватель физкультуры — гигант грек двадцати восьми лет).

После большой перемены мы — бывшие ученики — разошлись по классам и присутствовали на двух последних субботних уроках. (В субботу, как и в среду, там занимаются только до полудня.)

Я был на уроке швейцарской и древнегреческой истории и — по словам педагогов — оказался вполне осведомленным учеником.

В полдень была торжественная раздача призов за успехи в спортивных достижениях. Мне вручили графин и стопки с гербом Эколь Нувэль — за поднятие тяжести и толкание ядра.

После запуска воздушных шаров в саду состоялся пикник, где каждый из нас, как новый ученик, должен был сам обеспечить себя едой и вином.

После пикника начались футбольные матчи: между бывшими учениками (до 35 лет) и современной школьной командой; а затем — между бывшими учениками (от 50 лет) и педагогами школы.

Мне, как единственному представителю Советского Союза, была предоставлена честь сделать первый удар по мячу. (Врачи не допустили нас к участию в игре, хотя мы на этом настаивали.)

В 17.00 началась Генеральная Ассамблея. Обсуждались отчеты разных комиссий Общества бывших учеников, прошли довыборы членов Правления.

А в 19.30 — после аперитива — парадный обед: угощала школа. Здесь были речи…

Попросили выступить и меня. Я начал с того, что

напомнил присутствующим, какими великолепными качествами нас наделила школа, когда выпускала в жизнь: гуманное начало, справедливые суждения, служение идее добра, высокий патриотизм, прекрасное образование — вот с чем мы уходили в самостоятельное плавание. Я сказал, что многие, окончившие нашу школу, не присутствуют среди нас. На то есть разные причины, но сейчас я хочу вспомнить о тех, кто погиб на войне, будучи союзниками моей Родины. А Родина моя понесла самые тяжелые потери, защищая мир от величайшего зла — гитлеризма. Я отлично понимаю, что среди наших бывших учеников, не вернувшихся с полей брани, были и немцы. Их память я тоже прошу почтить, ибо уверен, что они были противниками честными, воинами достойными и благородными. Я убежден, что ни один из них не осквернил себя подлым поступком, твердо уверен в этом потому, что они были *учениками нашей школы.*

После такого выступления меня благодарили обе стороны. А мой бывший директор Леопольд Готье отметил мудрость своего ученика Жозефа Прута, мудрость, которая “как свет — идет с Востока”!

Торжества закончились обозрением, в котором была показана в диапозитивах история школы, ее, так сказать, героический период: первые шаги.

Пояснения давала мадемуазель Витто, та, которая была педагогом и приняла первых воспитанников 10 сентября 1906 года.

Затем мы просмотрели фильм о школе, снятый в 1939 году. После этого была записана пластинка в честь 60-летия школы и, наконец, воздана хвала теперешнему директору Алоизу де Мариньяку, который руководит школой уже 20 лет. Он поделился с нами своими соображениями на тему: “Какой должна быть наша школа в 2006 году”.

Так завершились эти удивительные дни. А в заключение были бальные танцы. Они продолжались до глубокой ночи.

Прощание было предельно душевным. У моих педагогов Д. Лассера и Г. Дантана, на глазах были слезы. Их почтенные жены просили от имени швейцарских женщин поцеловать землю моей великой Родины, которая спасла их маленькую страну от нацизма.

Выводы: принят был я в этой архибуржуазной стране

с необычайным почетом.

Господин Доминик Микели, вице-мэр города Женевы, устроил прием в мою честь.

Я посетил Ш.-А. Фавро — известного писателя и путешественника, одного из редакторов “Газетт де Лозанн”, издателя серии “Встречи” (в частности, он выпустил книгу Поля Тореза — сына покойного Мориса Тореза — о Москве); я был гостем многих выдающихся деятелей финансового, промышленного и литературного мира.

Убежден, что нет такой *просоветской* статьи, которую я не мог бы поместить либо за своей подписью, либо в виде интервью — в любой из газет французской Швейцарии.

Телевидение предлагало мне выступить в третьей декаде сентября с речью о советском театре, я вынужден был поблагодарить и отказаться, так как уже 17-го возвращался в Москву.

Мое выступление по радио, записанное еще в предыдущий приезд — о величии советского искусства и литературы, — передавалось за эти два года *шесть* раз: факт, немыслимый для Швейцарии.

Журналисты Пьер Дантан, Клод Валлон, Шарль-Анри Фавро предлагали страницы своих газет. Я дал общее интервью о правовом положении советских прозаиков и драматургов, о переводчиках, о личных творческих планах.

Надо учитывать, что в Швейцарии встречаются влиятельные представители всех стран, ибо многие из них там учились, а многие владеют поместьями, где живут большую часть года. Кроме того, хозяева страны — местная буржуазия, банковские деятели — имеют большое влияние в соседних странах. А нашего влияния в Швейцарии — никакого.

Достаточно сказать, что там даже нет представителя “Совэкспортфильма”: после событий 1956 года в Венгрии Союз швейцарских прокатчиков отказался от демонстрации наших картин. И до сих пор это не удается наладить. Я выяснил причины: немецкая часть Швейцарии — пока — непробиваема. Французская — могла бы быть “завоевана”, но в ней всего пять с половиной кантонов: рынок проката небольшой. Значит, специально этим может заниматься лишь материально независимое, а еще лучше благотворительное

объединение-организация. Казалось бы: почему не взяться за это Обществу “Швейцария — СССР” в Лозанне? В руководстве Общества много русских эмигрантов. Когда я выступал там с докладом, то почувствовал теплое отношение членов Общества швейцарцев и некоторый холодок членов Общества русских[9].

Беседы же с отдельными лицами — разных социальных положений — говорят о большом и всеобщем интересе к советским фильмам.

Мне кажется, что монопольное право проката на самых льготных условиях надо предложить Международному Комитету Красного Креста с тем, чтобы весь доход шел в его благотворительную кассу (сказанное более 20 лет назад имеет актуальность и поныне.) Либо иметь человека, для которого представительство не было бы средством наживы, а служило минимальным прожиточным минимумом.

К сожалению, за недостатком времени я не мог предпринять необходимые шаги и добиться какого-либо реального успеха. А мне хотелось хоть как-нибудь отблагодарить “Совэкспортфильм” за любезно предоставленную возможность демонстрации в школе “Девичьей весны”[10].

За две недели, проведенных в Швейцарии, я ознакомился с рядом местных газет, беседовал со многими представителями разных стран и специальностей. С чего бы мы ни начинали разговор, он немедленно кончался “китайским вопросом”.

Ясно одно: в Европе ужасно боятся китайцев и смотрят на Советский Союз как на великий заслон, на силу, которая сумеет остановить “желтую опасность”[11].

Естественно, интересовались и моим мнением. Я неизменно отвечал одно: вместе с моей страной очень сожалею об антисоветском курсе, взятом китайскими руководителями. Убежден, что великий китайский народ еще скажет свое решительное слово в пользу мира во всем мире.

Однако даже маленькая Швейцария тратит огромные деньги на вооружение.

Когда я спросил:

— Зачем нейтральной стране нужна такая мощная авиация?

То услышал в ответ:

— Против китайцев!

Поручение, данное мне Иностранной комиссией, сводилось к уточнению следующего вопроса: готов ли швейцарский Союз писателей в этом году обменяться делегациями с Союзом писателей СССР — на основе уже достигнутой договоренности. Для этого мне надо было встретиться с проживающим в Цюрихе членом Президиума швейцарского Союза писателей — господином Отто Штайгером: он вел предварительные переговоры с СП СССР. Поймать его оказалось делом нелегким: Штайгер живет почти постоянно у себя на даче. Однако беседа между ним и мною все же состоялась (правда, буквально в предпоследний день моего пребывания в Швейцарии, когда я готов был уже связаться с председателем Союза — Цибиндоном — фигурой мрачной и реакционно настроенной).

Вот почти дословная запись той беседы (взаимные представления и поставленный мною вопрос — опускаю):

«Штайгер:

— В этом году — нет. Причины тому две. О второй из них могу сообщить вам доверительно.

Я:

— Чем обязан такому теплому ко мне отношению?

Штайгер:

— Тем, что соединил меня с вами господин Фредерик Сиордэ, человек, которого я глубоко уважаю. Он отрекомендовав вас как своего лучшего друга.

Я:

— Благодарю за доверие. Постараюсь его оправдать.

Штайгер:

— Итак, первая причина. Сейчас — конец года и все средства, отпущенные на финансирование представительных организаций, уже расписаны и израсходованы. Я объяснил это сотруднику по культуре вашего посольства господину Лукашеву, ибо эта причина является официальным мотивом.

А вторая — категорическая позиция нашего Союза, исключающая возможность посылки делегации после процесса Даниэля — Синявского.

Я:

— Прошу прощения, господин Штайгер, но мне не совсем понятно: какое отношение имеет Союз писателей

Швейцарии к судопроизводству в Советском Союзе? Каждая страна живет своими законами. Я же — в знак протеста — не покинул Швейцарию после того, как побывал в суде Делемона. Там шел процесс двух негодяев, растливших девочек восьми и десяти лет. Вместо вполне заслуженной смертной казни или пожизненного заключения их приговорили к семи и десяти месяцам тюрьмы, а также небольшому денежному штрафу. Мне кажется, что надо сначала довести до идеала собственное судебное законодательство, а уж затем…

Штайгер:

— Я лично с вами вполне согласен… Мои товарищи и я категорически возражаем, считая идиотизмом вмешательство в чужие дела… Однако бороться с этими консерваторами чрезвычайно трудно.

Я:

— Что же мне передать председателю нашей Иностранной комиссии?

Штайгер:

— Скажите, что в будущем году обмен состоится. Мы это решили твердо. Делегации будут состоять из десяти — двенадцати человек. Троих из них называет приглашающая сторона. Мы хотим иметь у себя в гостях писателей, а не функционеров, то есть — государственных чиновников. Совершенно естественно, что когда мы приедем в Союз, вы также укажете нам, каких трех писателей желаете иметь в нашей делегации.

Я:

— Передам ваши слова в точности.

Штайгер:

— Благодарю вас, господин Прут. Надеюсь увидеть вас в будущем году дважды: и в Москве, и в Швейцарии.

Я:

— Поверьте, господин Штайгер, что мне будет это исключительно приятно.

На этом беседа закончилась».

Константин Гратцос И «Свадьба века»

Судьба Кости сложилась весьма удачно. После окончания школы, когда мы расстались, Гратцос поступил в высшее коммерческое учебное заведение. Окончив его, он принял участие в деятельности своего отца и впоследствии стал компаньоном одного весьма делового человека: Аристотеля Онассиса. Через несколько лет — они уже не только компаньоны огромного морского дела, но и очень близкие люди… Костя становится крестным отцом дочери Онассиса — Кристины.

А когда та стала полновластной хозяйкой дела, ибо отец умер, а старший брат — Александр — погиб в авиационной катастрофе, Кристина предложила своему крестному и главному компаньону должность Генерального директора всего ее миллиардного дела. Танкерная армада Кристины могла соперничать с нефтеналивным флотом любого крупного государства.

Обо всем этом я узнал, когда встретился с моим дорогим названым братом в мой второй приезд в Швейцарию в 1966 году в одну из последних суббот сентября на праздник основания Эколь Нувэль. С Костей мы увиделись и в 1967 году. Такое могло произойти лишь после поднятия «железного занавеса»!..

На мой вопрос: женат ли он? — Костя ответил уклончиво. Я понял, что у моего брата есть близкая женщина, с которой юридически еще не оформлены отношения. И к этой теме больше не возвращался. Я рассказал Косте о моей жизни в России, о моем труде, о моей семье… Получив приглашение посетить его в Америке, я тут же предложил ему приехать ко мне — в Москву.

Мы долго беседовали о прошлом, и я напомнил Косте случай, происшедший с его отцом.

Старшему Гратцосу удалось приехать в Швейцарию повидать сына за год до окончания Первой мировой войны.

Он остановился в одной из лучших гостиниц города: «Лозанн-Паласе».

На второй день между отцом и сыном состоялась встреча, и старший Гратцос пригласил Костю и меня выпить вместе кофе с мороженым в кафе на площади Святого Франсуа.

Мы с другом прибыли на встречу в точно назначенный час, наелись редких в ту пору сладостей до отвала и, попрощавшись с гостеприимным греком, отправились обратно в школу. А папа

Гратцос пешком направился в гостиницу… Но тут произошло неожиданное. Дело в том, что отец Кости страдал недержанием мочи. Не желая покидать столик в кафе и оставлять нас одних, он отложил выполнение естественных потребностей до гостиничного номера.

Старший Гратцос надеялся быстро пересечь площадь, но этому воспрепятствовала демонстрация студентов.

Старик с трудом протиснулся через толпу и, вбежав в «Лозанн-Палас», не успел добраться до туалета. Он облегчился в коридоре.

Этот странный факт заметила горничная и, несмотря на то, что греческий судовладелец щедро расплатился с ней за уборку, все-таки доложила начальству.

Через полчаса в номер Гратцоса-старшего явился директор гостиницы и резко высказал свое удивление, подчеркнув, что, если коридоры отеля будут использоваться для отправления нужд, гостиницу придется переименовать из «Лозанн-Паласа» в «Лозанн-писсуар».

Последнее высказывание особенно задело старика. Но он не подал виду, извинился и сказал директору гостиницы, что просит познакомить его с хозяином этого прекрасного дома. К нему у Гратцоса имеется срочное и важное дело!

Встреча между судовладельцем и хозяином «Лозанн-Паласа» состоялась на следующий день. Она оказалась весьма деловой, ибо в результате ее Гратцос-старший приобрел эту гостиницу в собственность. Став ее хозяином, он тут же уволил директора, который позволил себе сделать ему замечание.

Впоследствии гостиница была Гратцосом продана, и на этом мои воспоминания о лучшем отеле кантона Во заканчиваются.

В последующие годы мы встречались каждый раз в последнюю субботу сентября — в школе.

Костя действительно оказался настоящим другом.

Мою предпоследнюю жену звали Эммой. У нее обнаружилось тяжелое малоизученное заболевание. Диагноз советские врачи поставить не могли.

Тогда Костя — за свой счет — вызвал нас в Париж, где Эмма немедленно была устроена в американский госпиталь. Изучать ее болезнь взялись четыре крупных врача, приглашенных Костей: два швейцарца и два американца. Костя, медики и я в течение сорока дней проживали в гостинице напротив больницы. За этот срок врачи разобрались в страшном недуге, который постиг мою жену. Они установили болезнь, назвав ее фибробластозом: заболевание мышц и мускульной ткани, состоящих из клеток —

фибробластов. Клетки обычно развиваются, как и всякий живой организм: молодые нарождаются, старые — умирают. В организме Эммы молодые клетки стали разрастаться, пожирая старые. Это вызвало, грубо говоря, исчезновение мяса… Обнаружив болезнь, врачи, к сожалению, не знали, как с ней бороться.

Мы вернулись в Москву, и вскоре моя жена умерла.

Все огромные расходы, вызванные попытками ее спасти, Костя взял на себя.

В том же парижском госпитале, в то самое время лежал с воспалением легких Аристотель Онассис. За сорок дней, что мы провели там, его жена, Жаклин Кеннеди, ни разу не приехала его проведать. Не смею утверждать, но думаю: причиной его скорой смерти явились гибель единственного сына — Александра и равнодушие жены. Внимание отцу уделяла лишь дочь Кристина. С этой молодой женщиной, крестным отцом которой, как я уже говорил, был Костя Гратцос, у меня установились теплые дружеские отношения.

Кристина органически не переваривала свою мачеху, хорошо понимая, что вдову американского президента интересует богатство Онассиса. Чтобы не находиться в семье, досадить отцу и новой «маме», Кристина вышла замуж, можно сказать — за первого встречного. И через очень короткий срок с ним разошлась.

Второй брак Кристины состоялся уже тогда, когда отец лежал в парижском госпитале. Умирающий Аристотель попросил дочь создать себе семью еще при его жизни. На что Кристина ответила:

— Дорогой папа, для того, чтобы выполнить твое желание, надо, чтобы я кого-то полюбила… Ведь без любви — счастья не будет!

— Любовь — придет! А я знаю достойного, — и Аристотель назвал имя молодого грека, работавшего в его деле и уже занимавшею довольно видный пост.

Кристина согласилась со всеми перечисленными отцом положительными качествами этого человека, но пыталась объяснить Онассису, что относится к этому юноше как к брату, ибо училась с ним в одном классе…

Однако Аристотель настоял на своем: брачный контракт был заключен, и Кристина проводила отца в лучший мир, уже будучи вновь замужем. К судьбе этой богатейшей, но несчастной женщины вернусь позже…

Итак, Генеральным директором огромного хозяйства фирмы Онассиса остался Константин Гратцос. Он имел полную доверенность своей крестницы, но — как довольно часто говорил

мне — уважал ее деловые качества. Поэтому готовил Кристину к самостоятельному управлению делом, предвидя необходимость своего ухода на отдых.

Когда в Париже состоялся всемирный съезд работников морского фрахта, Костя порекомендовал Кристине присутствовать на нем.

На заседаниях дочь Онассиса познакомилась с представителем Совфрахта Сергеем Каузовым. Как она мне неоднократно говорила впоследствии, ее поразили ум, деловитость и высокое знание дела, столь тонкого в международном морском обиходе.

Они оба потянулись друг к другу.

Первый приезд Кристины в Москву был якобы деловым: ее встречали представители Совфрахта и я, поскольку Костя позвонил из Нью-Йорка и попросил меня оказать Кристине внимание и помочь, если ей это понадобится, в Москве.

На аэродроме Кристину удивило отсутствие репортеров. На ее вопрос: «Что бы такое значило?» — я ответил шуткой: «У них перерыв на обед!» Но потом все-таки объяснил, что для советской прессы ее персона не представляет интереса.

В следующий раз Кристина приехала поездом с двумя телохранителями. Снова — по просьбе Кости — я, конечно, ее встречал, не подозревая, что, помимо дел по фрахту, у этой женщины в Москве появился и сугубо личный интерес.

К этому времени Кристина развелась со своим вторым мужем, сохранив с ним дружеские и деловые отношения.

Как выяснилось позже, Каузов тоже развелся с женой (дочерью пушкиноведа Бонди), от которой у него была дочь. Девочка осталась с матерью.

Спустя несколько дней, придя к нам домой, Кристина заявила, что один из ее телохранителей пропал. Я стал жутко нервничать и начал было звонить, чтобы объявить розыск.

Моя жена Елена — человек, чувствующий ложь «кожей», — резко сказала гостье:

— Прекрати врать и не волнуй моего мужа! (В ту пору Лена еще недостаточно хорошо владела французским и изъяснялась «на эсперанто».)

Кристина поняла, что зашла несколько дальше положенного и что с моей женой ее «штучки» не пройдут. Она рассмеялась и подтвердила, что охранника не забрало кагэбэ, а она отпустила его погулять по городу.

Возможно, после этого случая неприязнь к дочери богатого грека так и осталась у моей жены…

Через пару дней Кристина уехала. Вскоре Костя сообщил, что едет в Москву со своей женой Анастасией. Кристина должна была прибыть в этот раз снова, но отдельно от Гратцосов.

Едва переступив порог нашего дома, Костя отвел меня в кабинет и попросил не надевать медаль за взятие Кенигсберга, так как его жена — Анастасия — урожденная принцесса Кенигсбергская…

Кстати, Анастасия оказалась милой, умной и заботливой по отношению к мужу женщиной.

Потом, несколько замявшись, Костя попросил пригласить к нам домой Кристину и ее друга, который, возможно, станет ее мужем, несмотря на то, что никто не одобряет этот выбор.

Гратцос сказал, что избранника зовут Сергей, а фамилия его Каузов, что работает он в Совфрахте, и попросил меня узнать об этом человеке подробнее.

Я был очень дружен с заместителем министра флота Георгием Пясецким. Разумеется, тут же позвонил ему. Пясецкий дал очень хорошую характеристику деловых качеств своего служащего и сказал, что я, возможно, знаком с его матерью. Ею оказалась Мария Сергеевна Филимонова — второй режиссер на мосфильмовских картинах Юлия Райзмана.

Будучи старым кинематографистом, я, естественно, знал Марию Сергеевну.

Костя извинился, объяснив мне, что встречаться и знакомиться с избранником Кристины в общественном месте ему неудобно: брак с «советским» и без того плохо отразится на делах фирмы. Поэтому ему — Генеральному директору — не хотелось бы показываться с претендентом на руку дочери Онассиса.

Если ни ему, ни Анастасии не удастся отговорить крестницу от столь опрометчивого поступка (в чем — зная ее непредсказуемый нрав — он далеко не был уверен), он просит меня на будущей свадьбе, вернее, на церемонии официального бракосочетания, представлять сторону невесты.

Вот почему впоследствии Кристина стала называть меня папа́ (отец).

А в тот памятный вечер я позвонил Филимоновой по телефону, который без труда нашел в нашем кинематографическом справочнике, и пригласил ее сына в гости.

За ужином, когда наша Елена Яковлевна, живущая в семье более сорока лет, передавала Кристине еду, та ни разу не поблагодарила. На что моя жена (еще не будучи в курсе предстоящей женитьбы, но, знай она это, все равно не удержалась бы от реплики) сказала соседу по столу — Сергею:

— А она невоспитанная, эта капиталистка!

Я же обратился к Кристине:

— У нас, когда тебе что-то передают, принято благодарить. Тебе знакомо слово «мерси»?

На что та совершенно откровенно ответила:

— Дорогой дядя Иосиф, моим воспитанием никто не занимался, так что извините меня!

Скоро Гратцосы уехали, и роль представителя семьи Онассисов — на свадебной церемонии пришлось исполнять мне.

Церемония была назначена на полдень первого августа, а к шести часам нам с женой предстояло посетить швейцарское посольство — по случаю традиционного швейцарского праздника: на этот прием нас приглашали ежегодно, и игнорировать его мы не считали возможным.

Накануне Кристина с Сергеем обедали в нашем доме.

Моя Елена сказала, что в такую жару два официальных мероприятия ей не по силам и предпочла посещение посольства церемонии бракосочетания.

— У вас же приглашение на двоих, почему нет вашей жены? — задал мне вопрос дежурный милиционер, пропуская во Дворец.

Улица была оцеплена из-за огромного скопления народа. В основном это были корреспонденты иностранных газет и журналов.

— Жена осталась дома, — ответил я.

— Но это же — свадьба века! — не сдержал эмоций милиционер.

— Слушай, занимайся своим делом и не задавай вопросов, которые тебя не касаются! — уже сердито огрызнулся я и вошел в здание.

Надо заметить, что свадьба проходила более чем скромно. Невеста была одета так же, как накануне, когда приходила к нам: простенькое летнее платье без украшений, туфли на босу ногу. Короче — не по-свадебному.

С ее стороны кроме меня присутствовали жена посла и генеральный консул Греции.

Я спросил Кристину:

— Почему нет самого посла?

— Я его не пригласила.

— А чем он провинился?

— Он посмел меня спросить, хорошо ли я обдумала решение выйти замуж за русского, советского, да еще коммуниста? На что я заметила, что никому не позволю вмешиваться в свои личные дела и что бóльшая доля денег, на которые Греция содержит

посольство, принадлежит мне!

С такой логикой не поспоришь…

Сторону жениха представляли его мать — Мария Сергеевна Филимонова и товарищ Сергея по работе — крупный чин из Совфрахта.

Так как пробившиеся в здание корреспонденты делали фотоснимки каждые полминуты, они запечатлели забавный эпизод.

Честно говоря, зная о предстоящем файф-о-клоке в Швейцарском посольстве, я был заинтересован в быстрейшем окончании церемонии, чтобы успеть попасть домой и немного отдохнуть. Поэтому я попросил Каузова подняться этажом выше и поторопить местных чиновников.

— Куда пошел Серж? — спросила Кристина.

— На второй этаж.

— А зачем?

— Чтобы жениться. Ты разве не знаешь, что у нас полагается иметь вторую жену на случай командировки первой. Вот ты уедешь по делам в Штаты, с кем он будет спать? Со мной?!

Кристина на мгновение оцепенела: кто знает, какие странности могут твориться за «железным занавесом»?..

В этот момент ее и запечатлел фотограф.

Первым рассмеялся шутке представитель Совфрахта… Но церемонию все же ускорили, и ее детали тоже запечатлены на фотографиях.

Кристина и Сергей предполагали некоторое время провести в шикарном двухэтажном «люксе» гостиницы «Интурист».

Утром следующего дня у меня в кабинете раздался телефонный звонок. Звонила Кристина и плачущим голосом просила:

— Папа́, помогите избавиться от журналистов! Они не оставляют нас в покое, даже подглядывают в дверную щель!

— Чьи журналисты? Наши? — спросил я, уже обдумывая, кому бы позвонить, чтобы прекратить столь неуместное преследование молодоженов.

— Нет, наши…

— Ну, с вашими ты справляйся сама! На них мое влияние не распространяется…

Кристина справилась. Оставив за собой «люкс» — шикарные оплаченные апартаменты, она поселилась в девятиметровой комнате у своей бэль мэр — Марии Сергеевны. Помогала ей по хозяйству. Короче, вела образ жизни вполне советской женщины: мыла посуду, убирала постель, подметала пол (конечно, впервые в жизни!).

Мы с женой уехали работать в подмосковный писательский Дом творчества «Переделкино».

Вскоре туда приехали Сережа и Мария Сергеевна с просьбой сопровождать их в дом Нади Леже, который находился в том же поселке: вдова знаменитого французского художника собиралась этот дом продать.

По какой причине сделка не состоялась, уже не помню. Однако намерение Кристины иметь «базу» в Союзе все-таки было реализовано: на берегу Москва-реки, в поселке Николина Гора — разумеется, на деньги Кристины — Мария Сергеевна выстроила очень красивый дом в истинно русском стиле.

Кроме того, советское правительство на сей раз проявило понимание положительных сторон делового контакта с танкерной армадой Онассисов — и предоставило новобрачным (конечно, не бесплатно!) этаж в новом, выстроенном для писателей доме в Москве. Там разместились жилая квартира и офис.

— Почему бы тебе не пригласить Сергея в Грецию, чтобы познакомить с членами твоей семьи, с родней? — как-то спросил я Кристину.

— Папа́, вы знаете, сколько стоит на Западе жизнь человека? — в свою очередь задала вопрос она.

— Ну, это зависит от запросов каждого…

— Я говорю о цене на убийство. Оно стоит максимум десять тысяч долларов.

Несколько лет спустя прошел слух, что в Лондоне Сергей Каузов попал в автомобильную катастрофу, но остался жив. Тогда я и вспомнил этот разговор с Кристиной.

Отношения Советов с Западом теплели, и Каузову разрешили уехать с женой за границу.

Поселились они в Париже. Кристина продолжала практически руководить делом.

Как-то Мария Сергеевна обмолвилась о непредсказуемости поведения невестки:

— Мы можем сидеть за обеденным столом. Кристина вдруг вскакивает и уходит. Какое-то время спустя она уже звонит Из Нью-Йорка…

Костя не раз говорил мне, что эта молодая женщина по своим деловым качествам превосходит отца.

Разговор происходил в очередной приезд Кости в Россию. Он — пусть это не покажется странным — решил со мной посоветоваться по вопросу, весьма его волнующему. Дело в том, что после смерти отца Кристина еще больше возненавидела мачеху и хотела избавиться от ее участия в их огромном предприятии. По завещанию Аристотеля Жаклин участвовала в

прибылях от эксплуатации острова у побережья Греции, великолепной яхты и доходного дома-небоскреба в Нью-Йорке.

Сумма, получаемая Жаклин в год, составляла около двух миллионов долларов.

Через своих адвокатов Кристина выяснила, что вдова ее отца за отказ от этих доходов и выход из дела требует единовременную сумму в сорок миллионов.

Кристина категорически отказалась выплатить мачехе столь огромные деньги. Костя пытался уговорить крестницу, говоря: «Ведь она проживет еще минимум тридцать — тридцать пять лет! Значит, получит у тебя от шестидесяти до семидесяти миллионов, а просит сорок!.. По-моему, есть расчет, чтобы от нее отвязаться».

«Ни за что!» — решительно заявила Кристина, на чем разговор кончился.

Тогда я рассказал Косте случай, происшедший в Ростове-на-Дону со страховым агентом Шавиньером, о котором я уже поведал читателю. Костя искренне посмеялся, а я предложил, чтобы мой дорогой друг ознакомил с этой историей Кристину и попытался донести ее суть до Жаклин.

И вы, мой дорогой читатель, посмеетесь: Жаклин все обдумала и вышла из дела, согласившись на отступную в 24 миллиона долларов.

Если бы старик Шавиньер был жив, он имел бы право обратиться к Кристине с просьбой подбросить ему пару долларов — за идею! Я же, как вы понимаете, этой возможностью не воспользовался!

«Холодная война» продолжалась, и наличие советского мужа стало сказываться на делах наследницы Онассиса отрицательным образом.

В европейской прессе появилось сообщение о том, что Кристина и Сергей Каузов «разъехались».

Однако, по моим сведениям, Мария Сергеевна продолжала ездить на новогодние праздники в Париж по приглашению Кристины, и Новый год они там встречали все вместе.

Мои отношения с Кристиной оставались очень теплыми. Как-то летом, вернувшись в Москву из санатория, я обнаружил ее записку: «Папа́, Москва без вас — не Москва!» Вероятно, в очередной приезд в Советский Союз Кристину встретили как «обыкновенную иностранку»: ее не проводили с трапа через депутатскую комнату к машине, что делалось при мне, благодаря моим наградам «Отличник погранвойск» I и II степеней и юбилейным медалям в честь празднования годовщин этой части армейской элиты… А пришлось дочери Онассиса выстоять вместе со всеми очередь паспортного контроля, ждать свой багаж,

проходить таможенный досмотр и так далее и тому подобное.

Характерным примером деловитости моей названой «дочурки» явился ее телефонный звонок в Шаи возле Кларана в Швейцарии, где я отдыхал с Еленой на загородной даче моего двоюродного брата Жан-Рока Хельга.

— Алло! Папа́?

— Да, — ответил я, узнав голос Кристины.

— Вам нужны деньги?

— Нет, спасибо.

И трубка была ею тут же повешена. Столь лапидарная беседа мне показалась странной. Я позвонил женевскому директору банка Кристины, приказал разыскать хозяйку и просить ее позвонить мне снова.

Когда раздался повторный звонок, я спросил:

— Почему ты повесила трубку? Не кажется ли тебе, что наша беседа была слишком краткой? Ты могла бы, по крайней мере, поинтересоваться моим здоровьем…

— А вы говорили совершенно здоровым голосом. Какие-то дела, о которых следовало бы поговорить?!

— Нет.

— Не понимаю! — удивилась Кристина. — Вы здоровы и в деньгах не нуждаетесь. Какие могут быть еще дела? И потом, папа́, я же звоню за свой счет.

— Да-а… — заметил я. — Твой отец был прав, когда говорил мне: «Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, кто мало тратит!» Ты, моя «дочь», всегда будешь богатой!

Костя умер внезапно. Он страдал диабетом, но был еще полон сил, и смерть его оказалась абсолютно неожиданным ударом.

Анастасия позвонила нам ночью… Она, вероятно, что было естественным, ждала моего немедленного вылета на похороны, не представляя сложной и тягучей бюрократической машины нашего недавнего прошлого: чтобы попасть в Америку, следовало иметь официальное письменное приглашение. Его в течение 2–3 месяцев рассматривали бы в ОВИРе, затем, в случае получения разрешения на выезд, требовалась американская виза — это тоже заняло бы (возможно, несколько меньшее) время. И наконец, получение билета на самолет… Короче, попасть на похороны друга в тогдашней ситуации было нереально.

Мое отсутствие Анастасия восприняла очень болезненно, и наши отношения совершенно прекратились. На несколько писем с соболезнованиями вдова Кости не ответила, и я перестал ей писать.

От наших общих знакомых мы узнали и о других ударах

судьбы, которые пришлось пережить этой женщине: на похороны не приехал не только я, но и крестница Гратцоса — Кристина. Возможно, ей помешала болезнь, но факт остается фактом.

Убитая горем, Анастасия машинально выбрасывает в мусоропровод небоскреба все свои драгоценности, которые хранила возле мусорного ведра; кроме того, завещанный ей Костей танкер — почти в ту же пору — терпит крушение и тонет…

Слава Богу, что у этой женщины была жива сестра и имелся дом во Флориде, где она, вероятно, по сей день находится.

Очень жаль моего друга — Костю! И жаль эту хорошую немецкую женщину, бывшую верной спутницей Гратцоса долгие послевоенные годы.

Расскажу два запомнившихся эпизода, связанных с приездом Анастасии Гратцос в Москву.

Со своей американской знакомой она решила посетить один из имевшихся тогда в Москве магазинов для иностранцев «Березка».

Несмотря на привилегированность и престижность такой точки советской торговли, стиль, свойственный большой части нашей молодежи шестидесятых — семидесятых годов, и пренебрежительное отношение продавцов к покупателям не миновали и этот магазин: несколько покупательниц терпеливо ждали, когда две продавщицы закончат свой личный, не имевший никакого отношения к их работе разговор.

Не привыкшая к подобной системе обслуживания, Анастасия решительно прошла за прилавок и, указав продавщицам на место покупательниц, сказала по-английски:

— Вы будете стоять там, а я — работать здесь!

Девушки не на шутку растерялись: дело могло кончиться скандалом, а терять столь престижное место работы не хотелось. Поэтому, извинившись, продавщицы быстро обслужили Анастасию и ее спутницу, в финале подарив им по значку с надписью «Березка», снятому со своей рабочей одежды.

Когда же Анастасия вернулась в отель, швейцар задержал ее, указав на значок:

— Проходить сюда могут только проживающие в отеле иностранцы!

Потребовалось вмешательство администратора, чтобы уладить недоразумение.

Второй эпизод носил затяжной характер, и будь то при жизни нашего «великого диктатора», мне наверняка приписали бы все

возможные грехи, вплоть до шпионажа…

Дело в том, что в большом коктейле кровей моей жены течет и кавказская. Поэтому, когда, встречая гостей в лазоревом кружевном платье собственной вязки, Елена услышала восторженные комплименты Анастасии, она немедленно сняла с себя это платье и преподнесла гостье.

С того момента и началось!..

Костя и Анастасия, решив, что Елене не следует портить свои руки такой работой, захотели подарить ей вязальную машину. И… из Америки в Россию пошли телеграммы, которые в блаженной памяти тридцатые годы наверняка приняли бы за шифровки. Эти телеграммы, по 10–20 слов каждая, — я храню в своем архиве по сей день.

К примеру: «Мы считаем, что японские машины хороши, но лучше — фирма “Зингер”».

В другой телеграмме (я как раз собирался ехать в Швейцарию) говорилось: «Надо посоветоваться с мадам Сиордэ (женой Фреда Сиордэ — нашего соученика по Эколь Нувэль). Она поможет в Женеве выбрать машину «Зингер», которая выполняет много операций». И так далее и тому подобное.

Закончилось дело тем, что Костя перевел немалую сумму фирме «Зингер» в Женеве.

Когда я с дочерью Фреда Сиордэ зашел в магазин, та сказала:

— Чтобы вязать на этой машине, Елене придется приехать в Швейцарию и в течение месяца обучаться в фирме, как пользоваться этим агрегатом.

Сопровождавший нас работник Аэрофлота тоже смущенно заметил:

— Для вас, Иосиф Леонидович, мы, конечно, сможем освободить отсек в самолете… но как вы разместите эту трехметровую махину у себя в доме?! Ведь она предназначена для цеха большого завода…

Короче говоря, я угостил шикарным обедом служащих фирмы «Зингер» и получил наличными деньги, переведенные Костей из США за машину. Зная о горячем желании жены «утеплить» меня на зиму, я на эти деньги купил себе в Швейцарии дубленку, которая греет меня по сей день.

Чтобы не обидеть Гратцосов, мне пришлось съездить в Ленинград и оттуда привезти менее громоздкое, нежели у «Зингера», сооружение: вязальную машину отечественной фирмы «Нева». Эти две длинные коробки так и покоятся неоткрытыми то ли на антресолях, то ли под диваном: для «отдыха мозгов» жена предпочитает ручную вязку. Но на случай приезда Кости имелось доказательство, что их с Анастасией желание было выполнено и

вязальная машина приобретена.

Однако больше увидеть ни моего милого друга, ни его жену нам так и не довелось.

Дядя Лёля Леонидов, Пабло Пикассо и Марк Шагал

В конце шестидесятых я стал ездить не только в Швейцарию, но и во Францию. В Париже, кроме Розенталей и близких мне Юдовичей, жил мой дядька Лёля Леонидов. В первые годы советской власти он был импресарио Художественного театра и вывозил его за границу. Потом — остался жить во Франции со своей женой, бывшей прима-балериной Киевского театра — Юлией Бекефи.

Несмотря на то что у них родился сын Константин — мой двоюродный (или троюродный) брат, старики очень переживали разрыв с Родиной. И уже в столетнем возрасте дядя Лёля одолевал меня телефонными звонками и телеграммами о том, что он хочет передать России свою (уникальнейшую) библиотеку по театру и ряд произведений живописи.

Министром культуры в семидесятые годы был Демичев. С его «разрешения» — за свой счет — я многократно мотался туда и обратно, чтобы вывезти эти книги.

Короче: из наших бесконечных телефонных бесед французское правительство узнало о предполагаемой акции и воспротивилось, мотивируя тем, что Леонид Леонидов уже давно — гражданин Франции.

С большим трудом удалось втолковать, что книги написаны на русском языке и имеют прямое отношение к русскому театру… Короче, подключилось наше посольство и… бóльшая часть книг исчезла (между домом дяди и тогдашними деятелями советской дипломатии). В результате мне удалось доставить в Бахрушинский музей лишь малую толику богатейшей театральной библиотеки Леонидова. Ни о какой компенсации затрат на мои поездки поездом и полеты самолетом, конечно, не было и речи.

Единственной для меня «пользой» оказалось общение с Шагалом и Пикассо. С ними дружил дядя.

Так как оба художника терпеть друг друга не могли, то обеды бывали либо с одним, либо с другим.

Пикассо был более демократичен, менее расчетлив и больше мне нравился.

Обедаем втроем.

— Ну, как Москва? — спрашивает Пабло.

— Стоит на своем месте, — отвечаю.

— Говорят ли у вас обо мне?

— Как же! Чтут великого художника!

— А анекдоты тоже рассказывают? Только не этот, что сочинил Евтушенко…

— Какой именно?

— Будто сидит девица в кино. Сосед начинает лезть в темноте к ней под юбку. А девица тихо говорит: «Зря стараетесь! То, что вы ищете там — у меня за ухом! Я — модель Пикассо».

— Остроумно, но не очень…

— А вы знаете лучший?!

— Полагаю, что да.

— Давай, давай! — подбадривает меня дядя Лёля, уверенный, что племянник не разочарует.

— Приходит к вам покупатель. Естественно, дело было давно, до вашей всемирной славы.

— И что? Художник пишет полотно чаще всего для того, чтобы его продать.

— Я не закончил… Смотрит покупатель на предложенный вами холст и говорит: «Даю десять франков». — «Как?! — возмущаетесь вы. — Я только за холст заплатил двадцать!» — «Возможно. Но тогда он был чистым».

— Один-ноль в твою пользу, Оня! — Подвел резюме Леонидов.

— А кто-нибудь покупает мои работы?

— Конечно. Недавно мне предложили. Но это оказалось фальшивкой: так сказали искусствоведы.

— А что было на полотне?

— Цветы. И внизу подпись: П. Пикассо.

— И вы не купили?! Дурак!

— За что столь сурово? — спросил я.

— Вы же знаете, что я дружу с вашим дядей. Привезли бы картину сюда. Я бы на ней написал: «Это не Пикассо». И подписался бы: Пабло Пикассо. Вот вам и большие деньги!

— Два-ноль в твою пользу, — ткнул в художника пальцем дядя Лёля.

Когда Марк Шагал был в Москве, он подарил мне книгу со своими гравюрами.

— Подписать? — спросил Шагал.

— Нет, — ответил я. И зная о чрезвычайной скаредности великого художника, объяснил: — Тогда я не смогу ее продать!

Историю из юности Шагала, как и несколько его работ, мне передала моя мама. Наш родственник из семьи Собсовичей жил в Витебске и дружил с Шагалом не в лучшую для художника пору. Работы живописца были непонятны, и никто их не покупал.

Собсович, который сам занимался живописью, подал Марку идею:

— Дай мне несколько твоих работ. Я их «подправлю» и стану всем говорить: «Безобразие! Находятся же такие типы, что подделываются под Шагала!» Это — вне всякого сомнения, вызовет к тебе интерес и твои картины станут покупать!

Так началась слава Марка Шагала!

А теперь, когда не стало этого великого живописца, его наследница организовала «Фонд Шагала» и, чтобы поднять цену на оставшиеся в ее владении произведения (к сожалению, дочь унаследовала не лучшую черту своего родителя!..), она все, что не хранилось в музеях или не было заявлено в частных коллекциях при жизни Марка Захаровича, объявляет «фальшивками» и повелевает сжечь! Однако, как недавно выяснилось, одну из таких якобы подделок не сожгли и она, хотя и была изъята у владельца и ошельмована, находится… в запасниках этой дамы!

И еще о других

В старом здании нашего Центрального Дома работников искусств после Нового года и детских елок, когда кресла из зала выносили и освобождался весь партер, по бокам уставленный столиками и со свободной площадкой посредине, — мы в Старый Новый год — 13 января — устраивали для членов Президиума и их гостей «Посиделки». В эти дни — развлекали сами себя, часто выступая в ролях несвойственных. Так, Зыкина — плясала, кто-то из драматических артистов — пел. Короче — веселились…

В один из таких вечеров Сережа Образцов — мой сверстник и товарищ юных лет — рассказал об одной новогодней ночи с 1917 на 1918 год в Питере. Сидя в своей нетопленой квартире, они с мамой и братом дрожали в ожидании обыска: их предупредили, что большевики обыскивают квартиры всех «буржуев»…

Дрожали они потому, что в доме имелась шпага — «оружие»! А за это грозил расстрел. Шпага же находилась в доме потому, что папа — горный инженер по профессии — должен был облачаться при торжественных случаях в мундир со шпагой.

Ну, большевики пришли, сделали обыск, ничего предосудительного не обнаружили, и добрая дама — мать Сережи Образцова, предложила им — замерзшим солдатам и рабочим — чаю. Чай они выпили и ушли.

Я же потом ругал себя, что не дополнил этот рассказ Сережи, кляня себя за «л'эсприд д'эскалье» — «остроумие на лестнице», то есть что-то остроумное вспоминается, когда уже прошло время его высказать…

Мне надо бы продолжить рассказ Образцова. Что, мол, в тот вечер я мог тоже быть в составе отряда… И зашли мы в этот дом, потому что я знал: мадам Образцова непременно предложит чай, а мне очень хотелось пить! Но это конечно же была бы фантазия, так как именно в ту пору я был во Франции в Русском Экспедиционном корпусе…

Как-то — уже под вечер Юрий Карлович Олеша «перебрал». Я вывел его в вестибюль. Навстречу шел адмирал Холстовиков. Олеша, шатаясь, берет его за лацкан:

— Швейцар! Такси!

— Юрий Карлович, — с уважением к любимому писателю, обращается Холстовиков, — вы ошиблись. Я — не швейцар, я — адмирал…

— Тогда катер! — немедленно прореагировал Олеша. (К слову сказать, уже многие уважаемые мною конферансье и

сатирики «переделали» этот факт и, не упоминая имен действующих лиц, рассказывают эту историю как анекдот…)

Однажды восторженный почитатель говорил Юрию Олеше:

— Когда вы назначили мне встречу в холле гостиницы «Москва», я был озадачен, так как прежде никогда вас не видел. Поэтому спросил у мужчины, который, мне казалось, ждал кого-то:

— Вы Юрий Олеша?

Тот мне ответил:

— Нет, увы!

Тогда с тем же вопросом я обратился к другому, а тот сказал:

— Нет, упаси Господи!

Это доказывает, что, по крайней мере, один из них вас читал.

— Да! — ответил мечтательно Олеша. — Но который?..

Мы писали друг другу эпитафии: на всякий случай — авансом.

Юрий Олеша — Катаеву:

Здесь лежит на Новодевичьем
Помесь Бунина с Юшкевичем.

С живыми Валентин Катаев, пожалуй, не связывался, всю желчь он выливал на тех, кто не мог ему дать сдачи… Поэтому Юрий Олеша однажды прилюдно изрек:

— Если пропустить большой шампур через подъезд, где живет Катаев, — получится отличный шашлык из мерзавца!

Очень многие читатели, в основном интеллигенция, которая еще помнила персонажей катаевского «Алмазного венца», скандировали:

Он из семи венцов терновых
«Алмазный» сплел себе венец!
И нам явился гений новый —
Завистник старый и подлец!

Последний эпитет он заслужил хотя бы потому, что в неприглядной роли «Дружка» изобразил еще живую тогда жену Виктора Шкловского — Серафиму Густавовну.

Виктор Борисович сетовал на свою физическую немощность, не позволявшую уже ему набить обидчику морду. А Серафима

Густавовна вскоре тяжело нервно заболела и умерла…

В Переделкино визави Дома творчества была дача Чаковского. Его внучки — девочки лет пяти — в сопровождении огромного пса часто меня навещали.

— Дядя Оня, — спросила однажды малышка, — почему вы не гуляете по нашей улице?

Я — не совсем дипломатично — ответил:

— Потому что рядом с вами живет Мариэтта Сергеевна Шагинян. Она плохо видит и ходит с большой палкой. Так я боюсь, что она примет меня за Валентина Петровича Катаева и станет бить…

В этот момент из калитки своего сада «выруливает» Мариэтта. Девчушки бросаются к ней с криком:

— Тетя Мариэтта Сергеевна! Это не Катаев! С нами гуляет дядя Оня Прут!

Не хочется занимать ваше время этой персоной, обласканной Советской властью многократно и столько же эту власть презиравшей… Мало кто знает моего покойного друга — друга нашей страны нефтяника — француза Зорю Юдовича — участника движения Сопротивления, кавалера ордена Почетного легиона. Моя вина, что познакомил с этой семьей Валентина Петровича. Зоря был с ним откровенен, описав свою личную жизнь, а Катаев в повести «Святой колодец!» щедро «отплатил» моему другу. После чего Юдовичи отказали Катаеву от дома.

Нехорошо говорить плохо о покойном, но он действительно был человеком нечистоплотным…

На одном заседании Комиссии нашего творческого объединения в Союзе писателей, председательствующий спросил мое мнение об уровне современной драматургии.

Я сказал:

— Хотите знать об уровне — пожалуйста! Но начну издалека… Надо вам знать, дорогие коллеги, что в Серебряном бору имелся Дом отдыха Большого театра. Все было в нем отлично, но отсутствовала городская канализация. Фекальные массы отдыхающих поступали в бетонный резервуар. Степень его наполнения показывал прибор с гирькой. Когда она начинала качаться, это означало, что уровень массы в резервуаре дошел до края. Тогда директор вызывал ассенизаторов. Они увозили содержимое, и резервуар становился пустым. Позвольте по этому поводу процитировать Александра Галича: это и будет ответом на ваш вопрос:

Все было пасмурно и серо.

И лес стоял, как неживой,
Лишь только гирька говномера
Слегка качала головой…
Не все безмерно в этом мире,
Хотя и грош ему цена!
Не все безмерно в этом мире,
Покуда существуют гири
И виден уровень говна!..

Союз писателей командировал несколько человек в Закавказье, чтобы приветствовать великого тамошнего писателя Дмитрия Гулиа, отца нашего коллеги Георгия.

Надо отметить, что, пожалуй, единственный, кто ссылался на первоисточник, был именно Георгий Гулиа, который вел в «Вечерней Москве» рубрику: «Рассказы моих друзей».

Был, правда, случай, когда Юра Борев в своей книжке о Сталине, рассказав о моей встрече с вождем, не забыл упомянуть, что это ему рассказал Иосиф Леонидович Прут.

Да еще Аркаша Райкин, произнося мои репризы, если я находился в зале или ложе, — демонстративно кланялся мне… Остальные же не просто пересказывают мои «хохмы», они рассказывают эпизоды из моей жизни, не только не упоминая обо мне, но сильно перевирая от меня услышанное…

Моя Леночка как-то — со свойственной ей прямотой — довольно резко высказала это Зяме Паперному, которого лично я уважаю и люблю…

Итак, группа писателей — на юбилее аксакала кавказской литературы. Делегацию возглавлял Александр Евдокимович Корнейчук.

Старик принял нас за обильно накрытым столом. Корнейчуку предложили вести застолье. Он, как тамада, должен был предлагать тосты…

— Так выпьем же, друзья, за виновника торжества — великого писателя…

Старик Гулиа привстал, ожидая славицы в свою честь.

Но гость, забыв о ком идет речь:

— Георгия Гулиа!..

Старик сел, промолчав. Гости зашумели, зазвенели бокалы… Сын Дмитрия нагнулся к тамаде и прошептал:

— Товарищ Корнейчук, моего отца зовут Дмитрием!

— Конечно, конечно, дорогой! Я же в курсе!..

Выступили еще несколько человек. Слово снова берет тамада:

— Так выпьем же, друзья, еще один бокал за юбиляра!

Старик снова привстает. Но память вновь подводит говорящего:

— За писателя солнечной Абхазии — Георгия Гулиа!

Тут старик не выдержал:

— Извини, гость дорогой! Ты хотел услышать народные притчи? Так я вам расскажу одну нашу!.. Когда у горцев рождается ребенок… мальчик, конечно, ангел-хранитель целует его в уста, и он вырастает великим оратором! Если ангел поцелует новорожденного в грудь — тот вырастет великим воителем. Если ангел поцелует ребенка в глаза — он будет великим провидцем. Я не знаю, куда ангел-хранитель поцеловал нашего тамаду, но из него получился замечательный председатель!

В мрачную пору конца сороковых — начала пятидесятых годов мы как-то собрались играть в преферанс у Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Пришли Александр Абрамович Менделевич и я. Но Коля был не в настроении…

— Послушайте, друзья! — сказал он. — Не могу спокойно существовать, когда мой давний администратор — Абрашка Поздняк — сидит в кутузке! Я сейчас иду к своему знакомому — следователю НКВД на Кузнецкий — хлопотать за Абрашку: вам — евреям — этого делать не следует, а мне — русскому — можно и нужно. Иначе что мы за товарищи? Но прошу вас не уходить до моего возвращения!

Мы пообещали. Сидим разговариваем… Попили чаю. Прошло больше часа, и мы стали волноваться уже не за Абрашку, а за Николая Павловича.

Наконец Смирнов-Сокольский вернулся — бледный как смерть.

— Что случилось, Коля?! — набросились мы на него. — Почему так долго?!

— Долго — потому что у следователя шло совещание. Когда он вернулся и пригласил меня в кабинет, на его столе лежал пухлый том «Дела Поздняка». И вот этот милый человек говорит мне, указывая на «Дело»:

— Дорогой Николай Павлович! Вы уважаемый и известный артист. Я прошу вас забыть, что когда-то вы работали вместе с Поздняком! Вам — он незнаком и вы его никогда не видели! Вы знаете, в чем он обвиняется? В полной дискредитации нашего вождя — товарища Сталина!

Наступило тягостное молчание. Вдруг тишину нарушил ироничный вопрос Менделевича:

— Что же это за говно — наш вождь, если его может

дискредитировать Абрашка Поздняк?..

Уже после XX съезда, в шестидесятых годах, я вновь побывал в Одессе. И, как всегда, зашел к Березиным.

Обедаем… Вдруг входят сестра и младший брат Ефима — Семен, страшно разгневанные. Только что сообщили из Москвы: тело Сталина вынесли из Мавзолея.

— Как?! Такого великого человека?! Они там с ума сошли!!! — негодовали молодые.

— Ша! — стукнул кулаком по столу отец Березин. — Что всполошились?! Ведь это Мавзолей, а не общежитие!!!

Я был дружен с Фаиной Георгиевной Раневской. Однажды она позвонила и сказала:

— У меня — прибавление семейства!

— Что, приехал кто-нибудь из родных? — поинтересовался я.

— Нет. Я завела собаку.

— Какой породы? Как назвала?

— Порода — неизвестна. Назвала — Мальчик.

— Несколько странное имя для собаки…

— Н-надо же, чтобы в доме был хоть один мужчина!.. — ответила великая актриса.

Последние годы Раневская часто болела. Я воспользовался телефоном, чтобы справиться о ее самочувствии.

— Понимаешь, оказывается, у меня камни в почках… Написал бы ты, любимый, для меня пьесу «Дама с каменьями!»

Поскольку я был членом Президиума Центрального Дома работников искусств, то довольно часто — на совещаниях — встречался не только с актерами, режиссерами, но и с архитекторами, с художниками. В моем кабинете висят шаржи на меня и Кукрыниксов, и Бори Ефимова, работы Верейского, портрет кисти моего близкого друга — Сережи Лучишкина. (К слову сказать, на портрете я запечатлен раскладывающим пасьянс.) Сергей Алексеевич на своей персональной выставке хотел повесить и эту работу, но тогдашний министр культуры — Екатерина Алексеевна Фурцева — не разрешила: «Как?! Советский писатель играет в карты?!»

Лучишкин не сумел ей втолковать, что игра в карты и пасьянс вещи совершенно разные…

У меня ощущение, что с Колей Жуковым, дорогим мне человеком, мы пили чай в его мастерской на прошлой неделе… А

минуло несколько десятилетий, как нет этой удивительной, неповторимой личности.

Николай Николаевич Жуков был художником. Не собираюсь делать анализ его творчества, ибо не являюсь специалистом — знатоком живописи…

Могу утверждать, что я не совсем уж полный «лопух» в этой области: за свою долгую жизнь мне неоднократно выпадало счастье посещать и Лувр, и Британский музей, а также хранилища картин Вены, Берлина. Ну и, конечно, все художественные музеи маленькой, но такой богатой в этой области Швейцарии. Кстати, последние лет шесть — вплоть до 1996 года — мы останавливались в… Музее современного швейцарского искусства, собиратель которого, господин Андрэ Л'Юилье отдавал в наше с Леной распоряжение весь третий этаж своего дома. Там во всех шестнадцати комнатах располагалась часть его богатейшей коллекции. Шестнадцать комнат на пятом этаже, где живут сами Л'Юилье — фактически тоже являются музеем: тут и работы знаменитого Жана Тэнгли; фотоколлажи Жеральда Минкова; прелестные фотографии, сделанные его женой; коллекция весов (пожалуй, всех времен и народов) и, конечно, сигары — от полутораметровой до самой маленькой (страсть самого Андрэ…).

Стало быть, кое-что видел. И — немало!..

Но с Рембрандтом и Рубенсом, Тицианом и Джорджоне, Франком Гальсом и другими великими — тамошними и нашими — лично знаком не был.

А вот Колю Жукова знал хорошо! Я был старше его на восемь лет. И любил всей душой, как только можно любить младшего брата. Это, конечно, если твой младший брат обладает теми душевными качествами, кои были присущи Николаю Жукову.

Любил я его за многое.

Во-первых, за его исключительную доброту и отзывчивость: не было случая, чтобы Коля не помог не только близкому человеку, но и любому, кто к нему за помощью обращался.

Любил его за открытость души, которой он никогда не кривил!

Любил за его творчество, ибо Николай Жуков писал не только красками, но главным образом своим огромным сердцем.

И в этом сердце художника — имевшем форму палитры — расположились широко все цвета, существующие в доброте и благородстве.

А какой это был муж и отец!

В моей архивной, где покоится все, что сделано за долгие годы литературного труда: десятки папок с моими — порой не

сбывшимися — надеждами. Все это размещено под тремя висящими там великолепными работами Николая Жукова.

И от яркости этих картин в архивной становится светлее, потому что от них исходит неповторимое сердечное тепло моего друга, частицы его души, вселяющие в меня веру, любовь и надежду на будущее…

Когда, почти после полувекового перерыва, я приехал в Швейцарию, решил пройтись по местам своего детства в Лозанне. Зашел в писчебумажный магазин Пайо и попросил провести меня к директору.

Человек средних лет спросил: чем он может быть полезен?

— Пятьдесят лет тому назад я учился в Эколь Нувэль и приобретал нужное мне в вашем магазине. Тогда директором был почтенный господин…

— Это мой дед.

— Он ко мне тепло относился и всегда делал скидку.

— Чем могу служить вам я?

— Хочу выбрать полдюжины хороших мягких карандашей.

— Как вы сказали, месье: «выбрать»?

— Да. Я — писатель и работаю карандашом.

— А надолго ли месье у нас?

— Нет. Уезжаю через неделю.

— Тогда — ничего не получится! Вам не хватит времени.

— Почему?

— Потому что у нас больше шестидесяти тысяч карандашей различных марок и стран.

Я показал швейцарской писательнице Коринне Биль, когда она была у меня в гостях в Москве, басню Сергея Михалкова «Заяц во хмелю», присланную мне Сергеем на фронт с трогательной надписью: «Маршалу советской драматургии, солдату Иосифу Пруту — с братской любовью».

С той поры Коринна прозвала меня «генералом» и под этим «титулом» вывела в своих книгах о поездках в СССР.

Этот «чин» прилип ко мне настолько крепко, что и по сей день мои швейцарские друзья и люди из Швейцарии, Франции и даже Англии, мало мне знакомые, обращаются ко мне, употребляя такой титул.

Я действительно был приравнен к этому званию в последние годы войны Гражданской…

Ну вот, пожалуй, — хватит!

Однажды под одной статейкой я хотел подписаться: «Иосиф Прут, между прочим — драматург».

Но жена Лена сказала:

— Нет! Ты драматург не «между прочим»!

Иллюстрации

Родители – Флора Аптекман и Леонид Прут.

«Мама почему-то любила одевать меня в девчачье платье. Правда, до тех пор, пока я не почувствовал себя «мужчиной». 1904 г.

Эколь Нувзль.
«Считаю эту школу
самой лучшей на свете».

Профессор школы
Леопольд Готье.

Выпускники-бакалавры.
И.Прут – третий слева во втором ряду.
В первом ряду слева – Фредерик Сиордэ.
1918 г.

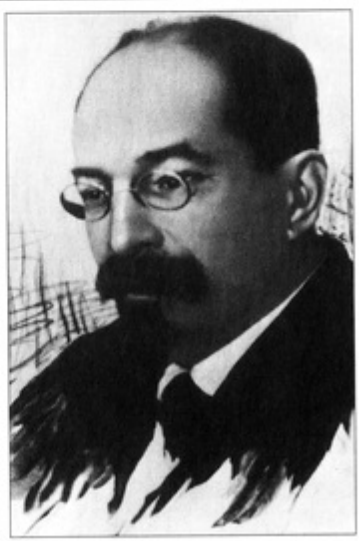
В этом доме в Швейцарии
жили В.И.Ленин и Н.К.Крупская, находясь в эмиграции.
Там И.Прут с ними и познакомился.

В Первую Конную армию И.Прута принимал сам Семен Михайлович Буденный.

«И после Великой Отечественной я дружил как с Семеном Михайловичем, так и с его братом Леонидом, который прислал мне эту фотографию». С.Тимошенко, С. и Л.Буденные.

Л.Леонидов (крайний справа) и его труппа.
В центре – К.С.Станиславский.

«В двадцатые годы
мой дядя Леонид Леонидов
был импресарио
Художественного театра
и вывозил его за границу».



В 1930 году А.В.Луначарский
выступил инициатором создания
Клуба мастеров искусств,
где собирались
все ведущие актеры Москвы.

«Я любил беседовать
со стариками МХАТа».

Василий Качалов и
Ольга Книппер-Чехова.

Юрий Юрьев.

Александра Яблочкина.

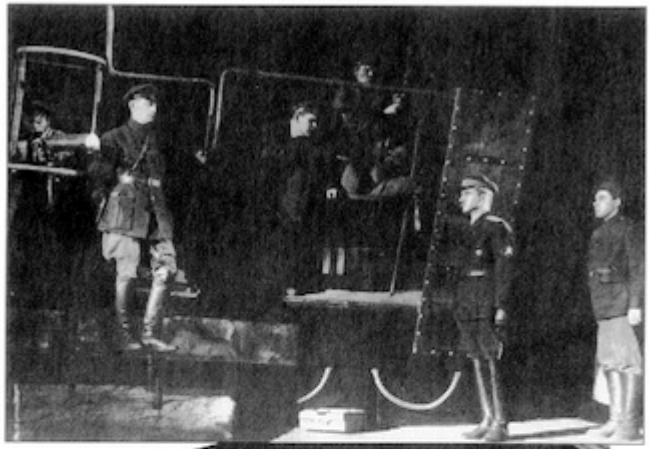
«Лично я называю Театр Красной Армии – своим.
С ним связана моя творческая жизнь...
семь моих пьес поставлены в этом театре».

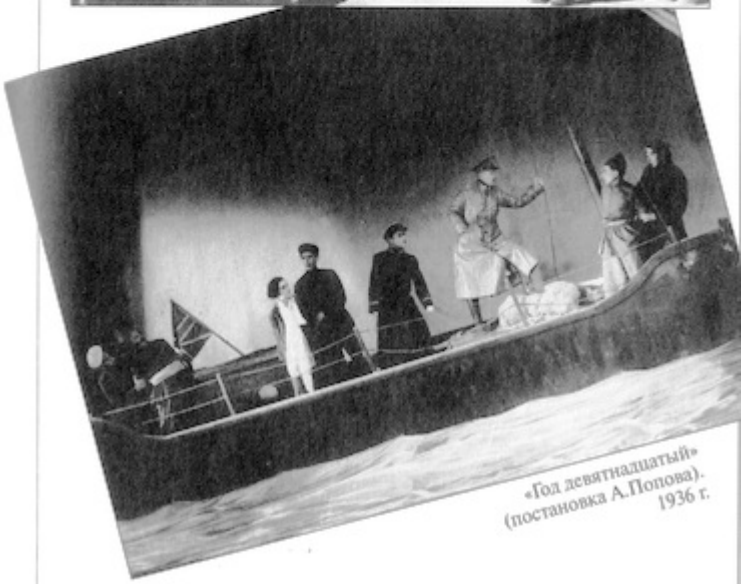
Юрий Завадский.

Алексей Попов.

Сцены из спектаклей:

«Князь Мстислав Удалой» (постановка Ю.Завадского). 1932 г.



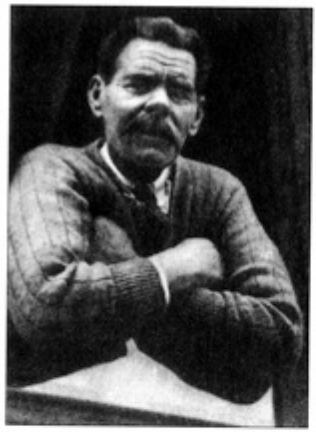


«Год девятнадцатый» (постановка А.Попова). 1936 г.

Вс.Мейерхольд, Н.Эрдман, В.Маяковский.

Сидят (слева направо): Э.Триоле, Л.Брик, Р.Кушнер,
Е.Пастернак; стоят (слева направо): В.Маяковский,
О.Брик, Б.Пастернак, В.Шкловский.

Максим Горький.



Юрий Олеша *(рис. Ю. Збарского).*

Исаак Бабель *(рис. В. Милашевского).*

Борис Корнилов.

«Это было давно, и многое ушло
из памяти, но сохранилось чувство
глубокого уважения к этим
непревзойденным художникам,
великим труженикам,
верным рыцарям киноискусства».

Яков Протазанов.

Всеволод Пудовкин
и Сергей Герасимов.

Михаил Ромм.

Исаак Дунаевский.

Кадры
из фильмов,
снятых
по сценариям
И.Прута:

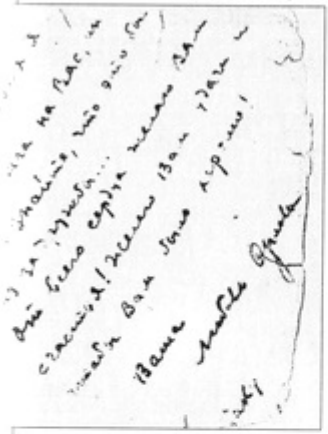
«Моя любовь»,
1940 г.

«Тринадцать», 1937 г.

«Застал я войну
в самом разгаре».

Лидия Русланова
выступает
перед бойцами
у здания Рейхстага.

Провожая И.Прута на фронт, Любовь Орлова вложила в карман его гимнастерки эту фотографию.



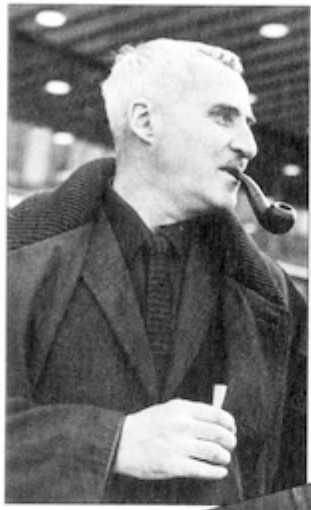
«Все виденное лично, рассказы партизан, ночные беседы с ними дали мне возможность написать сначала пьесу, а затем и сценарий «Секретарь райкома».

Кадр из фильма. Полковник Макензу — М.Астангов, секретарь райкома — В.Ванин.

Сергей Михалков с сыном Андреем.

Михаил Светлов.

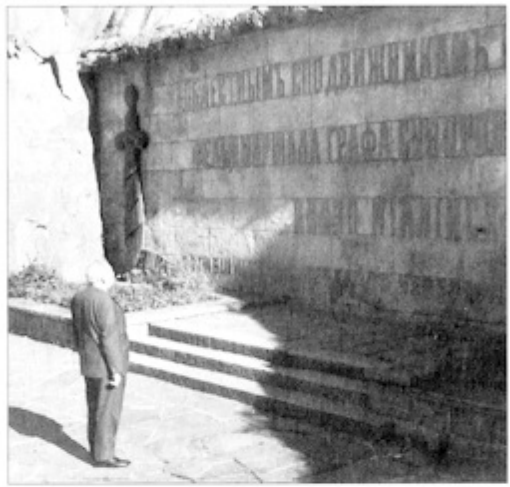
Константин Симонов.

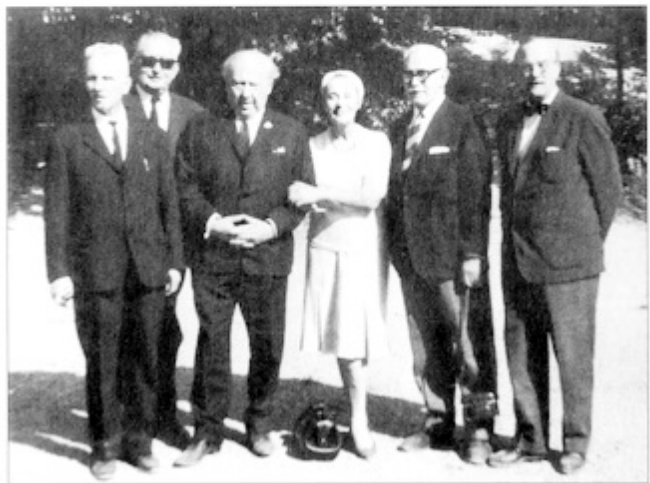


Александр Фадеев.

Иосиф Прут и Владимир Соловьев.

На Сен-Готардском перевале
у памятника героям войны 1812 года. 1969 г.





«Многих выпускников Эколь Нувэль судьба разметала по свету.
Спустя долгие годы мы встретились». 1968 г.

Константин Гратцос – школьный друг Иосифа Прута, компаньон Аристотеля Онассиса и крестный отец его дочери Кристины.

На свадьбе Кристины Онассис И.Прут был посаженым отцом.

Пьеса «Катрин» в Театре Оперетты. Катрин – Т.Шмыга, Лефевр – В.Барынин.

С Иваном Козловским.

С Клавдией Шульженко.

С Л.Утесовым, М.Грином, А.Райкиным.

«Отдаю дань мудрости моей жены, ее благородному терпению
в нашей совместной жизни, ибо я – не конфета!»

Таким И.Прута видели друзья.

notes

Примечания

1

Столетия (увы) не было. Прут умер в Бресте 16 июля 1996 г. в возрасте 95 лет и восьми месяцев: скоропостижно. Лишь неделю спустя после блистательного выступления на Съезде литераторов, пишущих о пограничниках. — *Здесь и далее примеч. Е. Черняк.*

2

К моменту завершения этой книги Жан Розенталь уже умер.

3

В прокате — фильм «Запах великой империи».

4

Рубен Симонов.

5

ФЭКС — Фабрика эксцентрического актера.

6

ГОМЭЦ — Государственное объединение музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий.

7

Я помню рассказ об этом событии очевидца — Сэма Вениаминовича Цихоцкого. Дело было днем. Человек на ничейной полосе простонал:

— Вы… Прут Иосиф!.. Неужели оставите меня здесь?!

И Прут — при дневном свете — на глазах у немцев вынес раненого к нашим.

8

ПУР — Политическое Управление Армии — в Москве.

9

Сейчас существует Российско-Швейцарский бизнес-клуб. Сопредседателями являлись: с российской стороны — И. Прут, со стороны Швейцарии — В. Муравьев-Апостол.

10

«Совэкспортфильм» сам «отблагодарил» себя, выпустив три прутовских фильма и сделав субтитры на плохом французском — без ведома автора, не привлекая его к субтитрированию и даже не предупредив о своем деянии. В Париже в магазине «Космос» в разделе «Шедевры советского кино» уже лет десять, как продаются кассеты фильмов «Секретарь райкома», «Моя любовь» и «Тринадцать». (Последнюю кассету Пруту подарил мэр Анси Бертран Непля.)

11

Речь идет о конце 60-х годов.